

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2018

№ 43

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Щербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сукушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглезнев В.В.** (Томск, Россия) доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопап Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief
Rykun A.U. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology)
Shcherbinin A.I. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science)
Agafonova E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor
Sukhushina E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology)
Skochilova V.G. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science)
Borisov E.V. (Tomsk, Russia)
Ogleznev V.V. (Tomsk, Russia)
Syrov V.N. (Tomsk, Russia)
Chernikova I.V. (Tomsk, Russia)
Ladov V.A. (Tomsk, Russia)
Uzhaninov K.M. (Tomsk, Russia)
Shcherbinina N.G. (Tomsk, Russia)
Kashpur V.V. (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K. E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M. S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor Rafal** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Столярова О.Е. Может ли эмпирическая наука служить обоснованием метафизики?	5
Суховой В.И. Ментальные репрезентации, вычислимость и интенциональность: подход Дж. Фодора.....	19
Целищев В.В. Итерированные модальные операторы и условия выводимости Гильберта – Бернаиса.....	33

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Аванесов С.С. Личность в персонализме: определённости и трансгрессия.....	44
Ардашкин И.Б. Смарт-технологии как феномен: концептуализация подходов и философский анализ. Являются ли смарт-технологии действительно умными?.....	55
Корниенко А.А. Экспертное знание в обществе порожденного риска: концептуальный аспект.....	69
Куликов М.В. Американская философия: попытка идентификации через категорию «рынка»	80

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Корниенко М.А. Лингвофилософия Ноама Хомского: от картезианской традиции к генеративной грамматике.....	88
Ладов В.А. Б. Рассел и Ф. Рамсей о проблеме парадоксов	101
Стрельцов А.М. Аксиологическая проблематика призвания философа в «Сократических достопримечательностях» И.Г. Гамана.....	111

СОЦИОЛОГИЯ

Булатова Т.А., Глухов А.П. Состояние межэтнических отношений в Томске в оценке образовательных мигрантов	117
Гудкова Т.Б. Концептуализация второго демографического перехода: эвристический потенциал и ограничения теории	125
Закутина Е.С. Боль: медицинская история и предпосылки социологического анализа	137
Зубок Ю.А., Чупров В.И. Рискогенность социокультурной среды обитания как фактор формирования социальных настроений.....	148
Мартыненко Т.С. Трансформация социального неравенства в «эпоху доступа».....	161

ПОЛИТОЛОГИЯ

Бирюков С.В., Кисляков М.М., Щеглова Д.В., Прокопенко С.А. Электоральный абсентеизм в контексте современных социально-политических трансформаций.....	171
Мартынов В.С. Политические субъекты позднего капитализма: от экономических классов к рентоориентированным меньшинствам	181
Матвеева Е.В., Митин А.А., Алагоз А.В. Институт общественного контроля в региональном политическом пространстве: современное состояние и перспективы развития.....	191
Писарчик А.С. Положение Республики Беларусь в структуре современного глобального социально-политического пространства	203

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Микиртумов И.Б. Формальная философия аргументации: логико-когнитивная теория Елены Лисанюк.....	213
--	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	224
----------------------------------	-----

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Stoliarova O.E. Can empirical science provide a justification for metaphysics?	5
Sukhovyi V.I. Mental representations, computability and intentionality: Jerry Fodor's approach.....	19
Tselishchev V.V. Iterated modal operators and Hilbert – Bernays derivability conditions.....	33

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Avanesov S.S. Personality in personalism: definiteness and transgression.....	44
Ardashkin I.B. Smart technology as a phenomenon: conceptualisation of approaches and philosophical analysis. Are smart technologies really smart?.....	55
Kornienko A.A. Expert knowledge in the generated risk society: the conceptual aspect.....	69
Kulikov M.V. American philosophy: an attempt of identification through the category “market”	80

HISTORY OF PHILOSOPHY

Kornienko M.A. The linguistic philosophy of Noam Chomsky: from the Cartesian tradition to generative grammar	88
Ladov V.A. Russell and Ramsey on the problem of paradoxes.....	101
Streltsov A.M. Axiological problems of the philosopher's calling in Hamann's <i>Socratic Memorabilia</i>	111

SOCIOLOGY

Bulatova T.A., Glukhov A.P. The state of inter-ethnic relations as assessed by education migrants.....	117
Gudkova T.B. Conceptualisation of the Second Demographic Transition: heuristic potential and limitations of theory	125
Zakutina E.S. Pain: medical history and premises of sociological analysis.....	137
Zubok Yu.A., Chuprov V.I. Riskogenics of the sociocultural habitat as a factor of social sentiment formation	148
Martynenko T.S. Transformation of social inequality in the “Age of Access”	161

POLITICAL SCIENCE

Biryukov S.V., Kislyakov M.M., Shcheglova D.V., Prokopenko S.A. Electoral absenteeism in the context of contemporary socio-political transformations	171
Martianov V.S. Political subjects of late capitalism: from economic classes to rent-seeking minorities.....	181
Matveeva E.V., Mitin A.A., Alagoz A.V. Institution of public control in the regional political landscape: current state and prospects for development.....	191
Pisarchyk A.S. The position of the Republic of Belarus in the structure of the modern global socio-political space	203

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSION

Mikirtumov I.B. Formal philosophy of argumentation: the logic-cognitive theory of Elena Lisanuyk.....	213
--	-----

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	224
---	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 111

DOI: 10.17223/1998863X/43/1

О.Е. Столярова

МОЖЕТ ЛИ ЭМПИРИЧЕСКАЯ НАУКА СЛУЖИТЬ ОБОСНОВАНИЕМ МЕТАФИЗИКИ?¹

Рассматривается проблема научного обоснования метафизики. В качестве примера обоснования метафизики посредством естественно-научного знания избрана аргументативная стратегия, которая апеллирует к эмпирическому открытию мира-без-человека. Сопоставляются два вида онтологии, каждый из которых способен поддержать утверждение о возможности метафизики. Этим двум видам онтологии противопоставляется скептическая точка зрения, которая настаивает на их равноправии.

Ключевые слова: метафизика, реализм, эмпиризм, скептицизм, мир-без-человека.

Возвращение метафизики и задача ее обоснования

В Новое время произошел раскол между эмпирической наукой и метафизикой. Ньютон призывал естествоиспытателей не «измышлять гипотезы», а изучать связь явлений и делать выводы исходя из фактов. Кант призывал философов не нагромождать выводы «беспочвенной философии», а развивать критическую философию, т.е. исследовать субъективные (трансцендентальные) условия познания связи явлений. Принцип эмпиризма в соединении с принципом критицизма отодвинул метафизику в область маргинального, изолировав ее от опытного знания и оставив в неустойчивом и весьма сомнительном положении на ненадежном фундаменте культурных традиций, психологических потребностей и изменчивых мнений. Метафизика, однако, не желала сдавать позиций, и она была бы недостойна называться философией, если бы не стремилась к рациональному самообоснованию.

После Канта, в XIX–XXI вв., метафизика выступает в разных обличиях. К метафизической традиции можно отнести спекулятивную философию немецкого идеализма, научный реализм англо-саксонской мысли XX в., философию процесса, онтологический конструктивизм STS, неотомизм и новый платонизм, холистические системные теории, объектно-ориентированную онтологию начала XXI в., некоторые течения персонализма и экзистенциализма и пр. Чтобы говорить о метафизике в целом, отвлекаясь от содержательного и методологического разнообразия этих философских школ и направлений, нам следует выделить основополагающую характеристику, которая их объединяет.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Эмпирическая метафизика и условия ее возможности № 16-03-00033.

Нужно сказать, что заниматься метафизикой отнюдь не то же самое, что быть метафизиком. Кант *занимался* метафизикой, сделав ее предметом философского анализа. Он исследовал ее возможности и в результате отказал ей в праве на существование. Заниматься традиционными проблемами метафизики не означает формулировать метафизическое решение этих проблем. Предметом «аналитической метафизики», принадлежащей школе аналитической философии, являются традиционные метафизические проблемы, такие как принцип причинности, законы природы, возможные миры, часть и целое, абстрактные объекты и т.д., однако далеко не все предложенные аналитической метафизикой решения метафизических проблем можно считать метафизическими. Хорошо известный перевод метафизических проблем в проблемы логического и лингвистического анализа (так называемый «лингвистический поворот») был предпринят с целью доказать невозможность или бессмысленность решения традиционных метафизических проблем традиционными метафизическими средствами, а именно с помощью спекулятивных теорий. Принцип эмпиризма и дух скептицизма (критицизма), вдохновляющие традицию аналитической метафизики, накладывают такие ограничения на метафизическое мышление, в рамках которых оно не может оставаться подлинно метафизическим. Именно поэтому «неаналитические метафизики» столь часто обвиняют «аналитических метафизиков» в искажении принципов и духа метафизического философствования. Действительно, защищаемый Патнемом «внутренний реализм» или защищаемое Расселом структурное соответствие между предложениями языка и фактами опыта накладывают запрет на метафизическое познание мира как целого и в силу этого не могут считаться метафизическими решениями главной метафизической проблемы – познаваемости скрытой структуры мира, лежащей за пределами чувственных данных.

Следуя характеристике Канта, источники метафизического познания «по самой сути понятия не могут быть эмпирическими... принципы этого познания никогда не должны быть взяты из опыта, так как оно должно быть познанием... лежащим за пределами опыта» [1. С. 79]. Другая сущностная характеристика метафизического познания – это его содержательный характер. Оно должно быть спекулятивно-теоретическим мышлением в понятиях, иначе оно ничем не отличалось бы от формальных наук – логики и математики («...порождение априорных синтетических положений составляет главное содержание метафизики» [Там же. С. 86]). Характеристики метафизического познания, предложенные Кантом, должны быть дополнены еще одной, возможно, менее строгой, но исторически оправданной характеристикой: метафизическое познание означает целостный взгляд на мир и не может обойтись без претензии на системное мышление. Поэтому подлинный дух метафизического познания реализует себя прежде всего посредством положительного ответа на предельно общий вопрос познаваемости мира как целого и лишь вслед за этим в частных исследованиях метафизических проблем. Именно реализм как фундаментальная позиция с его постулированием независимого от нашего восприятия и познания существования мира, который тем не менее может быть познан и понятийно выражен, является минимально необходимым условием метафизики как системного мышления.

Кант поставил перед метафизикой и метафизиками задачу (впрочем, с его точки зрения, априори невыполнимую) «обосновать свои притязания»

[1. С. 92] на то, что они могут знать «что-нибудь, лежащее за пределами всякого возможного опыта» [Там же. С. 93]. До тех пор, пока они не дадут в этом отчет, они «торжественно и закономерно освобождены от своих занятий» [Там же]. Попытки метафизики ответить на этот вызов в XX в. приобретают особую актуальность¹. Во второй половине XX в. и аналитические, и континентальные философы говорят о возрождении метафизики. Аналитические философы связывают это возрождение с крахом логического позитивизма, аргументами Куайна в защиту онтологии, развитием модальной логики [5. Р. XIX]. «Неаналитические» метафизики указывают на усложнение естественно-научной картины мира. Это усложнение, по мнению «неаналитических метафизиков», расширяет границы эмпиризма, выводя его за пределы механистической трактовки материи, которая подпитывала «антиметафизический эмпиризм», начиная с Нового времени [6. Р. 309; 7. Р. 103]. Континентальные метафизики часто апеллируют к тому, что восходящая к Канту традиция субъективизма, подменившая реальный мир миром текстов, дискурса, языка, культуры и т.п., дошла до своего логического предела и не в состоянии ответить на вызовы Новейшего времени. При этом континентальные метафизики полагают, что потенциал спекулятивной традиции немецкого идеализма еще далеко не исчерпан и может быть обращен в поддержку реализма [8. Р. 7].

Констатация возвращения метафизики, однако, не равносильна ее удовлетворительному обоснованию. Указать на наличие метафизики и на способствующий ее возрождению интеллектуальный климат не значит доказать ее правомерность. Перчатка, брошенная Кантом последующим метафизикам, по-прежнему мобилизует их на защиту метафизического предприятия.

Наука поддерживает метафизику?

Одним из распространенных и наиболее весомых аргументов в защиту реализма и, соответственно, метафизики становится аргумент, обращающийся к научному открытию *мира-без-человека*. К нему прибегают как аналитические, так и неаналитические метафизики, а также метафизики континентальной традиции [9; 10. Р. 89–90; 11. Р. 9–27]. Этот аргумент, следовательно, можно считать универсальным и наиболее радикальным. Радикальность его состоит в том, что он не ограничивается указанием на подходящий для метафизики интеллектуальный контекст, а говорит о мире-самом-по-себе, объективная очевидность которого оправдывает метафизику. Тщательную разработку данного аргумента предпринял Квентин Мейясу, приняв его за точку отсчета своих рассуждений в защиту спекулятивного реализма. Начиная с 30-х гг. прошлого века датировка архе-ископаемых приобретает «абсолютный» характер (ранее датировка считалась «относительной», поскольку ископаемые данные в основном датировались по глубине залегания относительно друг друга). Основываясь на радиоуглеродном анализе и методе термолюминесценции, а также других новейших методах, современная наука способна определить продолжительность существования ископаемых объектов Земли, возраст процессов ее формирования, время возникновения звезд и даже возраст Вселенной. Эти уточненные данные говорят о том, что жизнь на Земле

¹ В отечественной литературе обсуждение современных проблем научного и метафизического реализма представлено, в частности, в работах [2–4].

зародилась задолго до появления первых гоминидов, что возраст звезд превышает возраст Земли и что, следовательно, появление человека познающего, влекущее за собой установление познавательного отношения между человеком и познаваемым миром, – это достаточно позднее событие объективной истории универсума [11. Р. 9]. Научно подтвержденное существование мира-без-человека, таким образом, свидетельствует в пользу того, что *мир как он есть на самом деле* не зависит от нашего познания этого мира и может быть познан в качестве такового, т.е. в пользу реализма и метафизики. Это означает, что философ, исповедующий критическую позицию, является продуктом мировой истории, а не трансцендентальным конструктором мира. И дело здесь не в том, как подчеркивает Мейясу, что наука сформулировала знание о мире-без-человека раз и навсегда. Содержание научного знания может измениться в будущем, как это уже не раз бывало в прошлом. Но сегодня, пока оно таково, мы не можем им пренебречь и вынуждены согласиться с ним, если не хотим обесценить саму рациональность [Там же. Р. 2–13].

Итак, спекулятивная мысль ищет и находит свое обоснование в эмпирическом научном открытии мира-без-человека. Правомерна ли такая апелляция к эмпирической науке для утверждения метафизики на безупречном фундаменте объективного знания? Проанализировав некоторые существенные характеристики этой аргументативной стратегии, мы постараемся ответить на данный вопрос.

С эпистемологической точки зрения парадоксальность такой апелляции бросается в глаза. Правомерно ли защищать априорное знание, с которым прочно ассоциируется метафизика, посредством демонстрации результатов апостериорного знания? Во времена Платона и Аристотеля метафизика не нуждалась в обосновании. Обоснование заключалось в ней самой: если знание есть состояние разума, мыслящего бытие, то вызов должен быть брошен не метафизикам, а тем, кто по наивности пытается отыскать знание в чувственном опыте, которому доступно лишь становление (не-бытие)¹. Отголоском античного самообоснования метафизики является формулировка Спинозы: «...как свет обнаруживает и самого себя и окружающую тьму, так и истина есть мерило и самой себя и лжи» [13. С. 440]. В Новое время отношение к чувственному опыту принципиально изменилось. Экспериментальная наука, чьи успехи были очевидны, а обещания воодушевляли, сделала чувственный опыт первым источником и судьей знания о природе. Новый статус чувственного опыта требовал философского обоснования, и метафизика как традиционное философское орудие обоснования чего бы то ни было, была поставлена на службу этому требованию. Хорошо известны попытки философов-рационалистов предоставить опытной науке такое обоснование, и не

¹ Историки философии часто утверждают, что Аристотель реабилитировал чувственный опыт и выступил в защиту эмпирического познания. Но в философии Аристотеля чувственное познание частного подчинено рациональному познанию общего в понятиях, и поэтому она с полным правом может именоваться метафизикой: «*Эмпиризм* Аристотеля является целостным именно потому, что он всегда сводит его снова к умозрению... ибо эмпирическое, взятое в его синтезе, есть спекулятивное понятие» [12. С. 222]. Если же мы отвергнем определение Гегеля как устаревшее, то метафизика Аристотеля останется метафизикой даже и в свете современного определения научного (метафизического) реализма. Согласно современному определению научный (метафизический) реализм стремится к каузальному объяснению наблюдаемых явлений, постулируя существование ненаблюдаемых сущностей, отсылая к которым реалист отвечает на вопрос, почему явления, вещи и процессы являются тем, чем они являются. Конечно, Аристотель развивает метафизику, если исходить из этого определения.

менее хорошо известно, что эти попытки были признаны последующими философами неуспешными именно в силу того, что обоснование апостериорного знания как единственного законного источника науки посредством априорного, т.е. ненаучного, знания является логически неправомерным («решение» Канта было по сути снятием проблемы, так как он не считал априорное знание содержательным и вообще вывел метафизику за пределы рациональной аргументации). Сегодня ситуация обратилась в прямо противоположную: авторитет опытного знания естественных наук поставлен на службу обоснованию сверхопытного знания метафизики. Но такая перемена ролей вряд ли решает проблему логической противоречивости данной аргументации.

Например, Бас ван Фраассен последовательно критикует эту точку зрения, доказывая, что наука является в чистом виде эмпирическим предприятием, цель которого – производство теорий, «спасающих явления», а не знание о «мире самом по себе» [14. Р. 4]. Как утверждает ван Фраассен, научный реализм, постулирующий существование ненаблюдаемых сущностей и отводящий им фундаментальную роль в научных объяснениях устройства мира, является нелегитимным, потому что наука не предоставляет и не может предоставить никаких доказательств в пользу реализма. Наука ищет и формулирует истинные заключения только об эмпирическом мире, т.е. о том, что является действительным (actual), или наблюдаемым. Она намеренно и систематически отвергает требование метафизического реализма объяснять наблюдаемый порядок явлений посредством отсылки к реальности, которая лежит за пределами наблюдаемого, т.е. действительного (actual) [Там же. Р. 203]. Да, наука достаточно часто вводит в свои описания ненаблюдаемые сущности, но лишь в качестве своеобразных костылей, фикций, сконструированных с единственной целью дать оптимальное описание наблюдаемого, «спасти явления». Соответственно, научно обоснованной метафизики нет и не может быть.

Таким образом, если мы согласимся с ван Фраассеном, то попытку обосновать метафизику с помощью эмпирических открытий естественных наук следует признать несостоятельной. Если же использовать для защиты метафизики не сами естественные науки с их эмпирическими методами и эмпирическими результатами, а определенный философский образ (модель) естественных наук – *научный реализм*, который полагает, что научные теории дают истинное описание мира и что наука открывает мир-без-человека как внеположенную сознанию и опыту метафизическую сущность, то, нетрудно заметить, что, выбирая *такую* стратегию обоснования метафизики, мы уже занимаем метафизическую позицию, которую хотим обосновать. Иначе говоря, защищать метафизику с помощью научного реализма равносильно тому, чтобы защищать метафизику с помощью метафизики.

Если же развести метафизику и научный реализм как две относительно самостоятельные позиции, как это сделал, например, Аньян Чакраварти в книге *Метафизика для научного реализма: познание ненаблюдаемого* [15], выделяя и защищая метафизические основания научного реализма, то не вернемся ли мы в ситуацию метафизического обоснования науки вместо того, чтобы добыть научное обоснование метафизики? С точки зрения Чакраварти, научный реализм представлен в основном вариациями определенной эпистемологической позиции, онтологические основания которой остаются

по большей части скрытыми как от ее защитников, так и от ее критиков. Отстаивая свои позиции, реалисты основываются на таких понятиях, как причинность, закон природы, структура мира. Однако онтологическая природа этих понятий ускользает от внимания защитников реализма и принимается на веру. Прояснив онтологические (метафизические) основания научного реализма и убедившись в их рациональности, считает Чакраварти, мы реабилитируем и сам научный реализм. Поэтому книга о научном реализме, говорит Чакраварти о своей работе, написана не столько о научном реализме, сколько о его метафизических основаниях [15. Р. XI, 27].

То, что научный реализм обладает собственной метафизикой, которую он заранее принимает и которая способна поддерживать его выводы, нам представляется совершенно верной идеей, ибо история философии, равно как и ее современное состояние, учат нас тому, что у любой философской доктрины и методологии существуют онтологические (метафизические) предпосылки, которые, если они оставались неявными, с удовольствием отыскиваются и вскрываются последующими критиками. К тому же метафизика вообще не имела бы права именоваться метафизикой, если бы удовлетворилась только эпистемологическими предпосылками и только эпистемологической аргументацией. Но из этого не следует, что обоснование метафизики не может быть найдено в практиках и результатах естественных наук. Из этого, на наш взгляд, следует то, что, прибегая к естественным наукам для защиты собственной метафизической позиции, метафизики должны ориентироваться именно на научную онтологию, т.е. на предельно общие суждения о мире, которые ученые, будучи членами историко-культурных человеческих сообществ, разделяют с этими сообществами. Иными словами, если вообще вести речь о научном обосновании метафизики, то это обоснование будет не эмпирическим, а онтологическим. Означает ли это, что мы собираемся защищать метафизику с помощью метафизики? Ответ зависит от того, проводим мы различие между метафизикой и онтологией или нет. Далее мы развернем и уточним наш ответ.

Материализм и идеализм спасают явление мира-без-человека

Присмотримся к эмпирическому результату архе-ископаемых, архе-наблюдаемых и их датировке. Согласно новейшим методам датирования и принятому летоисчислению человек умелый (*homo habilis*) появился на нашей планете около 2,5 млн лет назад. Сегодня мы получаем эмпирические данные, которые интерпретируются учеными как следы физических процессов, происходивших на Земле и в космосе задолго до появления человека (возраст возникновения жизни на Земле, возраст планет Солнечной системы и звезд исчисляется миллиардами лет по возрастающей), который оказался способен познавать их. Оставим в стороне возможные ошибки и погрешности методов и результатов датирования, которые являются предметом внутринаучного обсуждения, и, приняв полученные данные за более или менее достоверные, зададим вместе с Мейясу следующий вопрос: при каких условиях эти датировки и их интерпретации приобретают смысл объективных результатов? Что касается Мейясу, он задает этот вопрос тем, кого он именуется корреляционистами [11. Р. 10], т.е. тем философам, которые вслед за Кантом принципиально не допускают познание вещей-в-себе, но говорят только о познании *познавательного отношения* между объектом и субъектом,

утверждая, что, когда мы познаем нечто, мы познаем нечто-для-нас, но не само по себе [11. Р. 5]¹. Таким философам трудно ответить на вопрос Мейясу, не прибегая к трансценденталистским ухищрениям, но можно адресовать его ученым, а также тем метафизикам, которые стремятся найти обоснование своей позиции, ссылаясь на результаты естественных наук. И те и другие вынуждены будут признать, что осмысленная интерпретация датировок архе-ископаемых и архе-наблюдаемых объектов и процессов возможна только при определенных аксиоматических допущениях, которые так или иначе принимаются на веру. В данном случае речь идет о допущении того, что реальные физические процессы протекают всегда с определенным постоянством, что причинно-следственные связи конвертируются во временную последовательность событий, что материя (что бы под ней ни разумелось) – это устойчивая реальность, обладающая математической структурой, что, наконец, появление человека – это событие одного и того же причинно-следственного ряда, совпадающего с темпоральностью природных процессов вследствие каузальной замкнутости физического. Только при этих онтологических допущениях датирование космической и ранней земной истории приобретает научный смысл, который может быть использован метафизиками для доказательства объективной очевидности мира-без-человека. Если бы мы вместе с автором *Омфалоса* помыслили мир, который был создан Богом только вчера, но создан с уже имеющейся в нем в свернутом виде историей, развернуть которую – задача человека, мы тут же превратили бы наше научное доказательство мира-без-человека в трансценденталистскую иллюзию, незаконно подкрепленную метафизической отсылкой к божественному волонтаризму. Таким образом, если мы хотим использовать результаты эмпирической науки для легитимизации метафизики, нам нужно отдавать себе отчет в том, что мы используем определенную онтологию, которая придает *научный* смысл научным результатам.

Следует ли из этого то, что выбор онтологических предпосылок сам по себе является произвольным выбором той или иной метафизики, вновь возвращающим нас к беспочвенным антиномиям спекулятивного разума? Этот вопрос отсылает нас к истории мысли, к античному скептицизму как философской традиции, которая, столкнувшись на заре философии с разнообразием онтологий, приходит к выводу о принципиальной непознаваемости реальности, лежащей за пределом онтологических нарративов. Позитивным результатом скептицизма и скептиков было то, что они в отличие от догматически мыслящих философов², отождествивших разнообразие мнений с небытием, приняли это разнообразие всерьез, как нечто определенно данное. Продолжая традицию философского объяснения, они попытались раскрыть онтологические условия возможности этого разнообразия. Если бы скептицизм не следовал традиции философского объяснения, он остался бы только доксграфией, фиксирующей разнообразие мнений без попытки их объяснить посредством отсылки к тому, что, скрываясь за ними, их обеспечивает.

¹ Далее, Мейясу выстраивает сложную аргументацию, вводя понятие *конtingентности* самого познавательного отношения между объектом и субъектом, признание необходимости которой, с его точки зрения, и может служить искомым условием осмысленности заключений науки о существовании мира-без-человека.

² Конечно, в любой догматической системе содержатся элементы скептицизма, без которых философия не философия, так как ее задача состоит в том, чтобы подвергать сомнению (критически исследовать) общепризнанное, принимаемое на веру.

Задачей скептиков было, соответственно, построение таких онтологий, которые приспособивались к новому явлению разнообразия онтологических концепций. И хотя из этих онтологий следовал отрицательный метафизический вывод – вывод о непознаваемой реальности, это не отменяет их существования как спекулятивных схем, спасающих явления онтологических нарративов. Так, большинство античных скептиков явно или неявно опиралось на учение Гераклита о том, что вся природа находится в движении, и эта «онтология становления» служила предпосылкой их агностических выводов. Создавая собственные философские доктрины, скептики так же дополняли мир явлений (онтологических концепций как явлений), как это делали их предшественники, догматические философы, за что скептики были неоднократно обвинены последующими философами в догматизме¹.

Если же, как в случае скептиков, онтология поддерживает антиметафизический вывод, т.е. вывод о непознаваемости самого по себе мира и невозможности метафизики, то она тем более обладает ресурсами для поддержания положительного метафизического вывода о познаваемости мира как он есть на самом деле. Именно к этим онтологическим ресурсам, о чем мы говорили выше, апеллируют метафизики для обоснования собственной позиции. Поэтому правомерно различать онтологические предпосылки и следующие из них выводы – метафизический вывод о познаваемости мира или антиметафизический вывод о непознаваемости мира. Вывод о непознаваемости мира, если только он не является пустым, т.е. абсолютно бессодержательным, нигилизмом, не имеющим никакого философского значения, всегда опирается на ту или иную онтологию, скажем, на онтологию непрерывного становления. С одной стороны, такая опора скептической позиции на онтологию очевидно противоречива, но, с другой стороны, именно онтологическая обоснованность и «спасает явление» самого скептицизма от провала в пустоту бессодержательного ничто. Скептицизм как явление имеет онтологические причины и вследствие этого заслуживает внимания².

¹ К примеру, Секст Эмпирик считает Протагора «догматически мыслящим философом», потому что Протагор утверждает, «что причины всего того, что является, лежат в материи, так что материя, поскольку все зависит от нее самой, может быть всем, что только является всем (нам)» [16. С. 110].

² Против скептицизма часто выдвигают возражения эпистемологического характера: высказывая суждение о том, что мы не обладаем и не можем обладать знанием истинного положения дел, скептик тем не менее утверждает это, а утверждая это, отменяет собственное отрицательное высказывание о знании. Или, иначе говоря, если тезис о том, что противоположные мнения имеют равное значение, истинен, то он одновременно ложен для тех, кто имеет противоположное мнение, и следовательно, он не может быть доказан. Современная критика скептицизма и релятивизма преимущественно строится на эпистемологических основаниях. См., например, [17. Р. 1987]. Как пишет А.Ф. Лосев по поводу ответа скептицизма на такого рода критику, «Секст Эмпирик прекрасно знает подобного рода возражения догматиков против его основного аргумента и потому прямо так и говорит, что сам он тоже воздерживается от своего же собственного основного скептического тезиса» [18. С. 358]. Аналогичную тактику избирает один из самых бескомпромиссных релятивистов XX в. Дэвид Блур, выдвигая принцип рефлексивности сильной программы в социологии научного знания: сильная программа должна *применить к себе* тот же самый тип объяснения, согласно которому, как утверждает сильная программа, истинное и ложное знание являются эпистемологически равноценными [19. Р. 5]. Но к вопросу обоснования метафизики эпистемологическая критика скептицизма относится в меньшей степени. На наш взгляд, гораздо существеннее онтологическое противоречие скептицизма, т.е. опора скептицизма на онтологию, призванную объяснить признаваемое скептиком равноправие явлений мысли. Однако существенность и важность онтологических предпосылок скептицизма состоят не в том, что их наличие опровергает скептицизм, а в том, что их наличие парадоксальным образом предохраняет скептицизм от несуществования.

Не путаем ли мы «причины» и «предпосылки»? Не совершаем ли мы неправомерной подмены одного другим? Истинные причины скептицизма могут остаться нам неизвестны, а онтологические предпосылки скептицизма могут оказаться ложными. Мы не считаем эту подмену неправомерной, поскольку все известные «причины» в теоретическом (научном) дискурсе являются онтологическими «предпосылками», а появление «ложных предпосылок» означает замещение одних причин другими, но не отменяет существование причин. «Причины» и «предпосылки», как онтология и эпистемология, связаны друг с другом неразрывно. Знание зависит от реальности, но знание реальности не может не зависеть от мысли.

Вернемся к вопросу об обосновании метафизики посредством онтологии, поддерживающей эмпирическое открытие мира-без-человека. Мы сопоставили так называемую «научную онтологию» с «онтологией омфалоса» (назовем ее так). Последняя объясняет эмпирические данные, указывающие на существование мира-без-человека, волюнтаризмом Бога, создавшего мир с придуманной историей и причинно-следственной связью событий, никогда не происходивших в материальной реальности (точнее, происходивших в *придуманной Богом и воображаемой нами* материальной реальности). Обе данные онтологии способны поддержать метафизику, хотя и с помощью различных объясняющих схем. Первую объясняющую схему назовем материалистической, вторую – идеалистической. Первая говорит о материальном мире, существовавшем *до* человека с его трансцендентальным сознанием, вторая – о божественном разуме, создавшем по собственной прихоти трансцендентальное сознание вместе со всем доступным этому сознанию опытом материального мира (вместе с историческим открытием законов природы). Причем вторая не изменяет конкретное содержание первой и не добавляет к содержанию первой ничего принципиально нового. Она использует первую онтологическую модель в целом виде и ставит ее в целом виде в зависимость от внешней причины (божественного волюнтаризма).

Научная онтология, реализм и скептицизм

Признав равноправие данных объясняющих схем по отношению к эмпирическому научному открытию мира-без-человека, мы заняли скептическую позицию, а заняв таковую, определили обе данные позиции как явления. Ничто не мешает нам определить материализм и идеализм в качестве явлений, поскольку обе эти позиции так или иначе *фактически* представлены в истории мысли. Наше определение материализма как явления в общем согласуется с тем определением, которое дал материализму ван Фраассен в книге *Эмпирическая позиция* [20]. Ван Фраассен исходит из того очевидного факта, что доктринальное содержание материализма меняется от эпохи к эпохе. «Материализм – это устойчивая философская позиция, которая является в разные философские периоды в различных воплощениях» [Там же. Р. 58]. Эпохальные научные открытия переопределяют материализм (точнее, его онтологическую основу – *материю*) таким образом, что защитники той или иной материалистической доктрины оказываются перед выбором: или остаться материалистами, отказавшись от науки, которая расширяет и видоизменяет понятие материи настолько, что от прежней «материи» ничего не остается,

или сохранить приверженность науке, отказавшись от того, что принято считать «материализмом»¹. В действительности материализм всегда приспосабливается к науке, сохраняя дух («spirit of materialism» [20. P. 58]), а не буквальные формулировки. «Наша главная путеводная нить – это очевидная способность материалистов пересматривать свой основополагающий тезис по мере того, как наука изменяется» [Там же].

Итак, в истории науки материализм предстает в качестве весьма трудно-уловимого явления мысли. Ровно то же самое можно сказать и в отношении (метафизического) идеализма, поскольку без отсылки к идеализму материализм вообще теряет смысл, который следовало бы защищать. Идеализм «автоматически» становится ненаучной оппозицией онтологии, которую нужно отбросить если мы хотим найти научное обоснование метафизике. По сути, оппозиция материализма (научной онтологии) и идеализма (ненаучной онтологии) – это оппозиция внутренней причины, или внутреннего закона, реальности, с одной стороны, и внешней причины, или извне налагаемых на реальный мир принципов его существования – с другой².

Эмпирическая наука, следовательно, ограничивает (хотя и не эмпирическим способом³) выбор онтологии, способной поддержать метафизический вывод о познаваемости мира. Но она не гарантирует этот выбор. Философия привлекает науку в качестве аргумента в поддержку не только метафизической (реалистической), но и антиметафизической (скептической), позиции. Если философия апеллирует к науке с целью разрешить спор о возможности метафизики, то она привлекает *научную онтологию* как непосредственно данное, доступное для дальнейшей (метафизической или антиметафизической) интерпретации. Это очевидно так, поскольку метафизическая и антиметафизическая интерпретации относятся к *ненаблюдаемым* объектам и свойствам, постулируемым научными теориями, и возможной связи (отсутствию связи)

¹ Это наблюдение ван Фраассена подтверждается, в частности, на материале русской философской традиции. В 20-х – начале 30-х гг. XX в. в России развернулась полемика между «механистами» и «диалектиками», вызванная попытками философской (материалистической) адаптации результатов второй научной революции, прежде всего теории относительности. Механисты связывали новую научную онтологию с реставрацией идеализма, отстаивая содержательную зависимость материализма от классической физики. Диалектики же демонстрировали приспособляемость материализма к новому пониманию материи, движения, пространства и времени. Так, возражая механисту А.К. Тимирязеву, диалектики Б.М. Гессен и В.П. Егоршин пишут: «Если материализм связывать с механикой Ньютона, это значило бы чересчур низко оценивать материализм... Мы, в отличие от этого (взглядов Тимирязева. – О.С.) думаем вслед за Лениным и Энгельсом, что «с каждым, составляющим эпоху, открытием даже в естественно-исторической области» («не говоря уже об истории человечества») «материализм должен изменять свою форму» [21. С. 194].

² Метафизический идеализм в противоположность материализму утверждает то, что открываемые наукой природные регулярности (законы) налагаются на природу извне, в то время как метафизический материализм утверждает каузальную замкнутость природной реальности и имманентность ее законов. Но даже такое, почти лишенное конкретного содержания, различие материализма и идеализма не остается инвариантным. Например, метафизику Аристотеля приходится поместить между материализмом и идеализмом, если исходить из различия их по принципу внутреннего или внешнего закона универсума. С одной стороны, Аристотель полагает, что в основе всего лежит материя (hyle) и имманентный ей формообразующий принцип, превращающий материю в конкретную физическую субстанцию (элементы, вещи). С другой стороны, Аристотель выделяет первый принцип организации всего материального космоса – Ум как чистую действительность, энергию, не причастную материи. Ум образует сферу божественного, которая есть предмет теологии, а не физики. Рационалисты же Нового времени предпочитали трактовать божественный закон как естественный (деизм).

³ Поскольку научные открытия онтологически нагружены, наука не может выступать непредвзятым судьей, принимающим решение в пользу той или иной онтологии.

этих объектов и теорий с внетеоретической реальностью. Предельный же ненаблюдаемый объект научных теорий – это мир как совокупность всех объектов, свойств и процессов. Признав материализм явлением, мы признаем, что эта научная онтология так же беспочвенна, как и ее ненаучная онтологическая оппозиция – идеализм, а выбор между ними зависит от наших «научных» или «ненаучных» предпочтений (или от иных эстетических предпочтений, как, например, от принципа экономии мышления).

Тогда мы вынуждены будем согласиться с ван Фраассеном (и с Кантом) в том, что эмпирическая наука не может предоставить метафизике рационального обоснования. Научная онтология, спасающая явления археископаемых, сама есть лишь явление мысли, сущность (или инвариантное содержание) которого состоит в его *научном* характере. Однако мы можем расширить нашу скептическую перспективу и включить в нее как метафизический, так и антиметафизический выводы из научной онтологии. Если считать метафизику явлением мысли, то научная онтология способна предоставить нам ресурсы для ее «спасения». Единственным ограничением этого спасения метафизики будет то, что научная онтология с равным успехом спасает и антиметафизическую позицию.

Заключение

Мы рассмотрели аргумент мира-без-человека в пользу научного (эмпирического) обоснования метафизики и показали, что это обоснование имеет смысл только в рамках онтологической позиции, которую мы характеризуем как метафизический материализм. Мы показали также, что не только метафизический материализм, но и метафизический идеализм в полном согласии с добываемыми наукой фактами способен выступить в поддержку метафизики. Противоречие между научным (материалистическим) и ненаучным (идеалистическим) обоснованием метафизики, притом что обе эти онтологические модели могут быть использованы для спасения явления мира-без-человека, привело нас к скептической позиции относительно двух видов обоснования метафизики, как научного, так и ненаучного. Важно то, что скептическая позиция сама является выводом из научной онтологии, которая оказывается, с точки зрения скептика, *всего лишь* спасением явлений. Наука, говорит современный скептик, сообщает нам о реальности, которая является результатом приспособления наших теоретических конструкций к эмпирическим открытиям. Единственная реальность, которой мы вправе располагать, это научная реальность. Отличить эту реальность от «ненаучной реальности» мы можем только в рамках онтологических интерпретаций опыта, трактуя опыт либо «научным», либо «ненаучным» образом. Следовательно, антиметафизический вывод скептицизма сам является интерпретацией научной онтологии. Скептицизм (будь то античный или современный) носит не эмпирический, а теоретический характер. Поэтому, отвечая на вопрос, вынесенный в название этой статьи, скажем следующее. Наука может служить обоснованием как метафизики, так и антиметафизической, скептической, позиции. Обоснование метафизики – это прежде всего философский вопрос. И ответ на него зависит не только и не столько от самой науки, сколько от избранной по отношению к науке философской позиции.

Литература

1. Кант И. Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // Собр. соч. : в 4 т. М., 1965. Т. 4, ч. 1. С. 67–310.
2. Порус В.Н. Рациональность, наука, культура. М. : Университет РАО, 2002. 351 с.
3. Макеева Л.Б. Язык, онтология и реализм. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 310 с.
4. Фурсов А.А. Проблема статуса теоретического знания науки в полемике между реализмом и антиреализмом. М. : МГУ, 2013. 240 с.
5. Zimmerman D.W. Prologue: Metaphysics after the Twentieth Century // Oxford Studies in Metaphysics / ed. by D.W. Zimmerman. Vol. 1. Oxford University Press, 2004. P. IX–XXII.
6. Whitehead A.N. Process and Reality. New York : The Free Press, 1978. 413 p.
7. Rescher N. Process Metaphysics. State University of New York Press, 1996. 213 p.
8. Bryant L., Srnicek N., Harman G. Towards a Speculative Philosophy // The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism / ed. by L. Bryant, N. Srnicek, G. Harman. Melbourne : Re.Press., 2011. 440 p.
9. Boghossian P. “Reality”. Lecture // Things in Themselves: Metaphysics and Realism Today. November 16–19, 2016. Paris [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ICYVoR7EcbY> (дата обращения: 26.10.2017).
10. Whitehead A.N. Science and the Modern World. New York : The Free Press, 1967. 224 p.
11. Meillassoux Q. After Finitude: An Essay on Necessity of Contingency. London; New York : Continuum, 2009. 148 p.
12. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн. 2. СПб. : Наука, 1994. 423 с.
13. Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей // Избр. произв. : в 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 359–618.
14. Fraassen B.C. van. The Scientific Image. Oxford : Clarendon Press, 1980. 235 p.
15. Chakravartty A. A Metaphysics for Scientific Realism: Knowing the Unobservable. Cambridge University Press, 2007. 272 p.
16. Лосев А.Ф. Античная философия истории. М. : Наука, 1977. 207 с.
17. Siegel H. Relativism Refuted: A Critique of Contemporary Epistemological Relativism. Springer-Science+Business Media, B.V., 1987. 217 p.
18. Лосев А.Ф. История античной эстетики : Ранний эллинизм. М. : Искусство, 1979. 815 с.
19. Bloor D. Knowledge and Social Imagery. Routledge, 1976. 156 p.
20. Fraassen B.C. van. Empirical Stance. New Haven & London : Yale University Press, 2002. 282 p.
21. Гессен Б.М., Егоров В.П. Об отношении тов. Тимирязева к современной науке // Под знаменем марксизма. 1927. № 2/3. С. 188–199.

Olga E. Stolarova, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

E-mail: olgastolarova@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 5–18.

DOI: 10.17223/1998863X/43/1

CAN EMPIRICAL SCIENCE PROVIDE A JUSTIFICATION FOR METAPHYSICS?

Keywords: metaphysics; realism; empiricism; skepticism; world-without-man.

The article discusses the problem of justification of metaphysics. The following characteristics of metaphysical thinking are distinguished: (1) it must be a speculative-theoretical conceptualisation, otherwise it would not differ in any way from formal logic and mathematics; (2) it is a holistic view of the world and can not do without a claim to systemic thinking. Kant set the task for metaphysics and metaphysicians to justify their claims. The contemporary answer to Kant’s challenge acquires particular urgency. The metaphysical justification of science, destroyed by Kantian criticism, is now replaced by attempts of a scientific justification of metaphysics, and it comes to the metaphysical position of scientific realism. Discussions about the revival of metaphysics and its scientific justification are conducted both in analytic and continental philosophical traditions. An example of the justification of metaphysics through natural science is the argumentative strategy that appeals to the empirical discovery of the world-without-man. Quentin Meillassoux undertakes a thorough elaboration of this argu-

ment and takes it as the starting point of his reasoning in defence of speculative realism. This empirical argument indicates that a philosopher who adopts a critical position is a product of world history, or a part of the world, but not its transcendental constructor. However, a meaningful interpretation of the dating of arche-fossil and arche-observable objects and processes is possible only under certain axiomatic assumptions that are somehow taken for granted. These axiomatic assumptions form materialist and idealist ontologies, each of which saves the phenomenon of the world-without-man and thus is capable of supporting the assertion about the possibility of metaphysics. These two kinds of ontology can be contrasted with a skeptical point of view that speaks about their equality and thus denies metaphysics. But we can also ask the question of the ontological foundations of the skeptical position itself. We can distinguish ontological presuppositions and their subsequent conclusions – a metaphysical conclusion about the knowability of the world or an anti-metaphysical conclusion about the unknowability of the world. The conclusion about the unknowability of the world always rests on this or that ontology; otherwise it would be an empty nihilism of no philosophical significance whatever. What is important is that the skeptical position itself is a conclusion from the scientific ontology, which, from the point of view of the skeptic, is needed to ‘save the phenomena’. Science, says a modern skeptic, tells us about reality, which is the result of adapting our theoretical constructions to empirical discoveries. The only reality that we have the right to have is a scientific reality. We can distinguish this reality from “unscientific reality” only within the framework of ontological interpretations of experience, interpreting experience either a ‘scientific’ or ‘unscientific’ way. The anti-metaphysical conclusion of skepticism itself is an interpretation of scientific ontology. Thus, science can provide a justification for both metaphysics and anti-metaphysical, skeptical, conclusions. The justification of metaphysics is first and foremost a philosophical question. And the answer to it depends not only and not so much on science itself, but on the philosophical position chosen in relation to science.

References

1. Kant, I. (1965) *Sobraniye sochineniy v 4 t.* [Collected works in 4 vols]. Vol. 4. Translated from German. Moscow: Mysl'. pp. 67–310.
2. Porus, V.N. (2002) *Ratsional'nost', nauka, kul'tura* [Rationality, Science, Culture]. Moscow: Universitet RAO.
3. Makeyeva, L.B. (2011) *Yazyk, ontologiya i realism* [Language, Ontology, and Realism]. Moscow: HSE.
4. Fursov, A.A. (2013) *Problema statusa teoreticheskogo znaniya nauki v polemike mezhdurazimom i antirealizmom* [The Problem of Status of Theoretical Knowledge in Polemics Between Realism and Antirealism]. Moscow: Moscow State University.
5. Zimmerman, D.W. (2004) Prologue: Metaphysics after the Twentieth Century. In: Zimmerman, D.W. (ed.) *Oxford Studies in Metaphysics*. Vol. 1. Oxford University Press. pp. IX–XXII.
6. Whitehead, A.N. (1978) *Process and Reality*. New York: The Free Press.
7. Rescher, N. (1996) *Process Metaphysics*. State University of New York Press.
8. Bryant, L., Srnicek, N. & Harman, G. (2011) Towards a Speculative Philosophy. In: Bryant, L., Srnicek, N. & Harman, G. (eds) *The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism*. Melbourne: Re.Press.
9. Boghossian, P. (2016) *Things in Themselves: Metaphysics and Realism Today*. November 16–19, 2016. Paris. [Online] Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=ICYVoR7EcbY>. (Accessed: 26th October 2017).
10. Whitehead, A.N. (1967) *Science and the Modern World*. New York: The Free Press.
11. Meillassoux, Q. (2009) *After Finitude: An Essay on Necessity of Contingency*. London; New York: Continuum.
12. Hegel, G.W.F. (1994) *Leksii po istorii filosofii* [Lectures on the History of Philosophy]. Translated from German. Book 2. St. Petersburg: Nauka.
13. Spinoza, B. (1957) *Izbrannye proizvedeniya v 2 t.* [Selected works in 2 vols]. Translated from Latin. Vol. 1. Moscow: Gospolizdat. pp. 359–618.
14. Fraassen, B.C. van (1980) *The Scientific Image*. Oxford: Clarendon Press.
15. Chakravartty, A. (2007) *A Metaphysics for Scientific Realism: Knowing the Unobservable*. Cambridge University Press.
16. Losev, A.F. (1977) *Antichnaya filosofiya istorii* [Ancient Philosophy of History]. Moscow: Nauka.
17. Siegel, H. (1987) *Relativism Refuted: A Critique of Contemporary Epistemological Relativism*. Springer-Science+Business Media, B.V.

18. Losev, A.F. (1979) *Istoriya antichnoy estetiki. Ranniy ellinizm* [History of Ancient Aesthetics. Early Hellenism]. Moscow: Iskusstvo.
19. Bloor, D. (1976) *Knowledge and Social Imagery*. Routledge.
20. Fraassen, B.C. van (2002) *Empirical Stance*. New Haven & London: Yale University Press.
21. Gessen, B.M. & Yegorshin, V.P. (1927) Ob otnoshenii tov. Timiryazeva k sovremennoy nauke [On the attitude of comrade Timiryazev to contemporary science]. *Pod znamenem marksizma*. 2/3. pp. 188–199.

УДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/42/2

В.И. Суховой

МЕНТАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ, ВЫЧИСЛИМОСТЬ И ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ: ПОДХОД ДЖ. ФОДОРА

На суд читателя выносится классическая модель устройства человеческой психики Джерри Фодора. Показывается, какое место в ней занимает понятие ментальной репрезентации, как оно взаимосвязано с идеей вычислимости и насколько такая модель способна разрешить проблему интенциональности. Оцениваются перспективы данной теории с точки зрения современного состояния философии сознания и когнитивной науки.

Ключевые слова: *ментальные репрезентации, вычислимость, интенциональность, классическая модель.*

Введение

Джерри Алан Фодор – современный американский философ и когнитивист, оказавший огромное влияние на развитие как философии сознания, так и когнитивной науки, – наиболее известен широкому кругу людей благодаря своей концепции «языка мысли». Эта теория встретила широкий отклик среди философов и когнитивных ученых. Ее популярность во многом объясняется доминированием в западной мысли 1960–1980-х гг. так называемого классического подхода, связанного с именами таких исследователей, как Алан Тьюринг, Алонзо Черч, Ноам Хомский и др. Сформировавшись в рамках этого подхода, Фодор развил его, разработав оригинальную модель психики. В последние десятилетия появилось несколько альтернатив классическому подходу, но несмотря на это, он сохраняет привлекательность для исследователей. Не в последнюю очередь это произошло благодаря Джерри Фодору и его интерпретации этого подхода.

В классической модели ключевое место занимают понятия ментальной репрезентации и вычислимости, которые служат основой в объяснении и моделировании психических процессов. Однако, как отмечают критики классического подхода, он не отдает должного таким принципиально важным особенностям психических явлений, как интенциональность, осознаваемость, субъективность и т.п. И если «трудная проблема сознания» действительно не включается сторонниками классического подхода в число вопросов, на которые можно получить ответ в ходе научного изучения психики, то к интенциональности они относятся иначе – для них этот аспект может и должен быть учтен в теоретическом объяснении психики. В этой статье я хотел бы рассмотреть, что представляет собой классическая модель психики в интерпретации Фодора и какое решение проблемы интенциональности он предлагает.

Классическая когнитивная модель

Классическая идея, идущая от Тьюринга, состоит в том, что уровень вычислений независим от уровня имплементации, т.е. независим от физической системы, на которой он реализован. Вычисления определяются за счет про-

граммы, задающей рамки возможных действий. Программа должна оперировать символами, т.е. синтаксическими, формальными объектами, взаимодействия между которыми происходят исключительно на основании правил, управляющих сочетаниями этих символов. Неважность содержания символов для процесса вычислений можно продемонстрировать на примере, предложенном русским лингвистом Л. Щербой: «Глѡкая кѹздра штѣко будланѹла бѡкра и курдѣчит бокрѣнка». Каждое слово в данном предложении бессмысленно, тем не менее мы с полным основанием можем утверждать, что предложение является грамматически правильным. Нам понятно, что в нем играет роль существительного, что – глагола, что является отглагольным наречием, что – прилагательным, относящимся к существительному, и т.д. и что все части речи связаны между собой грамматически верно. Из этого примера видно, что можно строить правильные сочетания символов без учета их содержания.

Как известно, бихевиоризм и гибсоновский реализм обходятся без понятия ментального уровня, но классический подход с его компьютерной метафорой возвращает в психологию и философию ментализм. Бихевиоризм строит свои обобщения только на основе связей между стимулами на входе и поведением на выходе. Но с точки зрения когнитивизма входные данные, поступающие в организм, запускают определенное ментальное состояние, которое, в свою очередь, может вызвать другое ментальное состояние, никак не отразившись на поведении. Это хорошо видно на примере машины Тьюринга. Еще Хилари Патнэм в знаменитой статье «Сознание и машины» 1960 г. показал, что уровень «логических состояний» машины Тьюринга отличается от ее физических состояний.

В частности, «логическое описание» машины Тьюринга не содержит никаких данных о *физической природе* этих «состояний» – и даже о физической природе машины в целом. (Неизвестно, состоит ли она из электронных реле, картона, клерков, сидящих за пультами, или чего-либо еще.) Иными словами, любая данная «машина Тьюринга» — это *абстрактная* машина, которая может иметь практически неограниченное число различных физических реализаций [1. С. 35].

Но машина Тьюринга или просто компьютер помимо логических или программных состояний обладает еще и структурными состояниями, характеризующимися устройством микросхем, хотя для понимания работы программы знание микросхем не имеет никакого значения. В соответствии с этой идеей классический подход предполагает, что устройство человека имеет два уровня: нейрофизиологический, соответствующий структурному описанию компьютера, и ментальный, соответствующий описанию компьютерных программ.

Это означает, что некоторые ментальные состояния должны иметь символичный характер, т.е. быть символами, по определенным правилам участвующими в различных взаимодействиях в психике. В связи с этим возникает закономерный вопрос – почему только некоторые состояния? Дело в том, что, к примеру, состояние боли мы также можем назвать ментальным, но оно не обладает символической природой, в отличие от идеи боли или суждения о боли. Два последних ментальных состояния являются репрезентациями потому, что отображают (репрезентируют) определенные состояния окружающего мира или организма, и эти символичные, т.е. дискурсивные, состояния философы называют концептами. Тем самым концепт *человек* является мен-

тальным состоянием, репрезентирующим всех возможных людей, а концепт *боль* – все возможные болевые ощущения.

Классическая модель: две интерпретации

С момента своего появления классический подход был представлен в двух различных вариантах. Так, согласно интерпретативистской трактовке Патнэма мы не можем выделить как отдельный уровень психологических законов, поскольку ментальные состояния «не образуют такую же причинно-замкнутую систему, какая имеет место в случае ‘конфигураций’ машины Тьюринга» [1. С. 37]. Это означает, что мы можем описывать человеческое поведение в виде реализации определенной программы или в виде совокупности логических состояний машины Тьюринга, но делаем это из соображений удобства, поскольку в реальности человек не следует никаким внутренним программам. Вместе с тем в соответствии с тезисом Черча с помощью машинной таблицы можно описать все то, что может быть строго представлено в виде множества шагов и тем самым может быть смоделировано на компьютере. А отсюда, отмечает Джон Серл, следует тривиальный вывод о том, что операции в мозге человека могут быть смоделированы на компьютере. Но таким же образом на компьютере можно смоделировать и систему погоды, и поведение нью-йоркской биржи, и движение планет в Солнечной системе и т.п. [2. Р. 87]. Но такой интерпретативистский подход не продвигает нас в понимании природы психики.

Фодора такая половинчатая позиция не устраивает, и он наряду с другими исследователями придерживается той точки зрения, что уровень человеческой психики *действительно* является аналогом программного уровня компьютера, что поведение человека *действительно* формируется на основании вычислений, происходящих в его психике, и что некоторые ментальные состояния *действительно* имеют символичный характер. В пользу этого у него есть ряд аргументов. С одной стороны, Фодор подчеркивает, что ментальные состояния должны быть продуктивными. Идея продуктивности берет свое начало в теории американского лингвиста Ноама Хомского, где она применяется к естественному языку, но Фодор распространяет ее на ментальные репрезентации. Продуктивность предполагает, что при наличии определенного конечного набора слов или концептов и правил, регулирующих их взаимные сочетания, можно построить неограниченное число всевозможных предложений или суждений. Так, имея в своем распоряжении три слова (концепта) «А», «В» и «С» и правило сочетания конъюнкцию, мы можем составлять все новые предложения, просто добавляя одно из слов (концептов) в конец имеющегося предложения: “А & В & С”, “А & В & С & А” и т.д. Таким образом, длина возможных предложений потенциально бесконечна и зависит от количества рабочей памяти: увеличивая память, мы можем увеличить количество возможных предложений.

Отсюда следует, что применительно к психике компьютерная метафора не означает простое предоставление наилучшего описания определенной программы, потому что такое описание всегда дается *post factum* и не учитывает продуктивности ментальных состояний. А это означает, что ментальные состояния должны быть аналогичны «вычислительным состояниям автомата, нежели его машинно-табличным состояниям» [3. Р. 58]. Тем самым компьютерная метафора предполагает, что психику не просто можно представить в

виде описания определенной компьютерной программы и смоделировать на компьютере, но что психика *действительно* является своего рода компьютером и различные ментальные операции имеют вычислительный характер.

Вычислимость и психика

Остановимся подробнее на характеристике вычислимости. Как следует понимать вычислительные процессы? Фодор выдвигает два требования: 1) вычислительные процессы являются *символическими*, т.е. они определяются на множестве репрезентаций; 2) они являются *формальными*, т.е. применяются к репрезентациям исключительно на основе их синтаксиса [4. Р. 226]. Но не всякий формальный процесс, по мнению Фодора, является синтаксическим, поскольку процесс определяется как синтаксический через его противопоставление семантике, т.е. через указание на то, что этот процесс не является семантическим, а значит, содержание символа или репрезентации не имеет для него никакого значения [Ibid. Р. 227]. Ведь к образам также приложимы формальные операции, они могут взаимодействовать друг с другом по определенным правилам, но в этом взаимодействии решающее значение будет иметь семантика образа, поскольку именно она является ключевым моментом, отличающим один образ от другого. Тем самым в вычислительной теории психики, как ее понимает Фодор, утверждается, что «две мысли отличаются по содержанию, только если они могут быть соотнесены с формально различающимися репрезентациями» [Ibid. Р. 227]. Это означает, что мысли, одинаковые по форме, не могут иметь различное содержание. Если, к примеру, в естественном языке имена собственные «Мадонна» (мать Христа) и «Мадонна» (певица) имеют одинаковую форму, но разное содержание и потому являются омонимами, то они обязаны иметь разные по форме ментальные репрезентации. Отсюда следует, что репрезентация не может существовать без соответствующей структуры, т.е. не обладая отдельным вычислительным уровнем, представленным в человеческой психике. И как указывает Фодор, операции с символами не могут существовать без самих символов, а точнее, «не может быть внутренней репрезентации без внутреннего языка» [5. Р. 55]. Этим последним не может быть наш естественный язык, поскольку тогда бы пришлось предположить, что младенцы, не овладевшие языком, не способны репрезентировать для себя окружающий мир. К тому же как бы они смогли овладеть языком при том условии, что он систематично организован, а нерепрезентативная психика младенцев – нет?

Систематичность является одним из важнейших свойств естественного языка (наряду с продуктивностью), она предполагает, что при наличии предложения «Дима любит Асю» всегда можно построить предложение «Ася любит Диму». По словам Брайана Маклафлина, «идея о систематичности мысли заключается в том, что любое существо, способное иметь определенную мысль, способно также иметь семейство связанных с ней мыслей. Это способность обладать мыслями, которые не являются в принципе точечными (punctate)», но собраны в кластеры [6. Р. 32]. Таким образом, если у нас есть предложение «Дима любит Асю», мы не можем не быть способными построить предложение «Ася любит Диму», поскольку все составные части обоих предложений одинаковы, различно только отношение между ними. Но если психика младенцев не обладает репрезентативной природой, значит, ей не свойственна систематичность, но как в таком случае может несистематиче-

ская психика обучиться систематическому языку, т.е. как может язык выражать пропозиции, которые психика не способна ввести? [7. Р. 26].

Подобного же рода соображения можно высказать и в отношении высших животных. По мнению Фодора, существует гомогенность между ментальными способностями невербальных организмов и обычных представителей человеческого общества, которую нельзя объяснить, не признав, что психология невербальных организмов гомогенна с нашей психологией. Вычислимость предполагает язык репрезентаций, но не предполагает, что он должен быть языком коммуникации, т.е. естественным языком [5. Р. 56–57].

Психика как репрезентативная система

Подобные рассуждения приводят нас к вопросу, уже затронутому ранее: не будет ли описание психики (или организма в целом) как репрезентативной вычислительной системы просто удобным предсказательным механизмом? А это, в свою очередь, ставит вопрос о том, что значит быть репрезентативной вычислительной системой?

С одной стороны, этот термин имеет максимально широкое применение и репрезентацией можно считать практически все что угодно. К примеру, «рисунки» на песке, оставленные ветром, репрезентируют движение воздушных масс, а следы, оставленные на земле человеком, репрезентируют форму его стопы. Но такое максимально широкое понятие репрезентации малопригодно для объяснения природы человеческой психики. Как отмечает когнитивист Зенон Пыльшин, не любой информационный процесс можно назвать репрезентацией. Нужно различать информационные процессы, в которых содержание информационного состояния играет роль в объяснении, и такие, в которых оно (если даже и присутствует) не играет никакой роли. Если мы не получаем преимущества в объяснении при указании, *что* именно репрезентирует данное конкретное состояние, тогда для нас не имеет смысла рассматривать это состояние как репрезентацию [8. Р. 74]. Что же в таком случае делает репрезентацию не просто исследовательским инструментом, но тем механизмом, который присущ самому организму? По мнению Пыльшина (и Фодор с ним солидарен в этом), для того, чтобы репрезентация была присуща самому организму, необходимо, чтобы характеристики данного конкретного информационного состояния *определяли поведение организма посредством кодируемых в этом состоянии свойств*. Другими словами, необходимо, чтобы *свойства информационного состояния функционировали для репрезентации организму свойств мира* [Ibid. Р. 74]. Это означает, что организм действует в мире в соответствии с тем, *как* этот мир ему репрезентирован. Планеты не репрезентируют законы Кеплера для того, чтобы двигаться по орбитам в Солнечной системе, но человек репрезентирует окружающий мир для того, чтобы эффективно в нем действовать.

Из вышесказанного видно, что позиция Фодора достаточно радикальна в том смысле, что для него компьютерная аналогия не является просто удобной метафорой, человек действительно обладает репрезентативной системой, состоящей из концептов. Но если это так, то как можно объяснить появление такой репрезентативной системы в процессе эволюции? Где в эволюционном развитии произошел скачок от нерепрезентативных систем к репрезентативной системе? Теоретически наличие такого скачка не является чем-то экстраординарным, например, его можно связать с появлением нервной системы или сложной

нервной системы (развитого головного мозга), способной имплементировать достаточное количество сложных программ. Если обратиться к развитию вычислительной техники, то и здесь можно наблюдать похожий скачок при увеличении ее сложности, к примеру при переходе от карманного калькулятора к современному сверхмощному компьютеру. Если калькулятор пользуется небольшим количеством простейших программ в силу небольшого объема памяти, то в современном компьютере объем памяти позволяет существовать разветвленной иерархии программ. Разве нельзя то же самое признать и в отношении животных, у которых при наличии простейшей нервной системы используются простейшие программы, а там, где есть очень сложная нервная система, существует и сложная иерархия программ. По аналогии с компьютерами зависимость количества программ от объема рабочей памяти становится важным требованием и при классическом подходе к психике.

Но если и в психике существует определенная иерархическая градация программ, то каким образом они будут представлены организму? Если определить наиболее сложную программу как язык мысли, то означает ли это, что она должна быть представлена для всего организма в целом?¹ В этой связи философ Дэниел Деннет и некоторые другие авторы критикуют Фодора за то, что его концепция предполагает наличие гомункулуса, внешнего по отношению к репрезентациям агента. В компьютере, утверждает Деннет, репрезентации функционируют как маленькие подрядчики и рабочие, каждый из которых выполняет определенную функцию. Поэтому, согласно Деннету, чем сложнее организм, тем больше соответствующих «рабочих» и «подрядчиков» должна содержать его «компьютерная модель». А это означает, что не может существовать единого уровня репрезентаций, который был бы представлен организму как целому. Наличие же такого уровня, по мнению Деннета, свидетельствовало бы о том, что наша психика является картезианским театром, на сцене которого происходит представление репрезентаций, наблюдаемое гомункулусом-зрителем. На языке компьютерной метафоры это означает, что это мы, интерпретаторы, выделяем уровень логических состояний машины, а для самого компьютера его как такового не существует. Таким образом, Деннет полагает, что не существует никакого онтологически реального репрезентативного уровня, где наши концепты были бы эксплицитно представлены, поскольку допущение такого уровня приводит к несуразным выводам [9. Р. 99–102].

На первый взгляд аргументация Деннета выглядит довольно убедительной, но в ней не учитывается то важное обстоятельство, что градация программ не означает их обязательной представленности организму как целому. Вполне можно допустить, что более примитивные и базовые программы будут представлены лишь субличностной части организма, в то время как наиболее сложные – даны организму как целому. Такой наиболее сложной программой как раз и может являться язык мысли. Кроме того, как будет показано ниже, отказ от гипотезы языка мысли делает классическую модель уязвимой перед аргументом «Китайская комната» Джона Серла.

¹ Представленность всему организму в целом означает, что она касается не только его субличностной части; к примеру, человек не контролирует во время ходьбы детали походки (активацию и взаимодействие всех мышц ноги и других частей организма), но управляет ею в целом. Представленность всему организму в целом можно сравнить с сознательным контролем человека над его действиями и реакциями, хотя привязка к сознанию не должна пониматься как необходимая в данном случае.

Синтаксис и семантика

Говоря о компьютерной аналогии, программах и символах, мы не касались их содержания, однако использование символов неизбежно предполагает, что они определенным образом проинтерпретированы, т.е. имеют определенное значение. Вместе с тем вычислительный подход в принципе не требует брать в расчет влияние внешнего мира на наши репрезентации. Тогда возникает вполне закономерный вопрос, репрезентациями чего являются в таком случае наши концепты? Рационалистическая психология предполагает, что большинство наших репрезентаций являются врожденными, а это позволяет допустить, что врожденной является не только их форма, но и содержание. Это означает, что вопрос о соотношении репрезентаций с внешним миром автоматически снимается. Организм человека снабжен органами чувств, сообщающими информацию о внешнем мире нашему мозгу. Но, как отмечает Фодор, «пока мы рассматриваем ментальные процессы как исключительно вычислительные, влияние информации из окружающего мира на эти процессы исчерпывается формальным характером того, что органы-посредники (*oracles*) пишут на ленте» (имеется в виду лента машины Тьюринга) [4. Р. 231]. Поэтому не имеет значения, является ли истинным то, что пишут эти органы-посредники, т.е. действительно ли они отражают состояние окружающей среды. Мы можем предположить, что они что-то отражают, но безотносительно к тому, что же именно. Эти положения равносильны признанию *методологического солипсизма*¹. Как отмечал Патнэм, для менталистских психологов со времен Декарта не имело особого значения, существуют ли вещи и индивиды за рамками сознания. По сути, они могут и не существовать, но тогда, по мнению Патнэма, описание ментальных состояний, в которых находится человек, будет выглядеть довольно странно. Ведь пребывание в ментальном состоянии ревности к у означает, по крайней мере, что у должен существовать [11. Р. 170–171]. Но Фодор полагает, что «если ментальные процессы являются формальными, тогда они имеют доступ только к формальным свойствам соответствующих репрезентаций окружающей среды, предоставляемых чувствами» [4. Р. 231]. Иными словами, они не имеют доступа к семантическим свойствам репрезентаций, таким как *быть истинными, иметь референты* или *быть репрезентацией* окружающей среды [Ibid. Р. 231]. Отсюда следует, что для того чтобы быть в состоянии ревности к у, совсем не обязательно, чтобы у существовал; главное, чтобы наши органы чувств передавали информацию о его наличии и у нас в психике имелся соответствующий концепт.

Вместе с тем согласно каузальной теории референции в случае, когда я думаю, к примеру, что Месси забил 55 голов, моя мысль имеет каузальное отношение к тому, как я и Месси встроены в окружающий мир, и поэтому только натуралистическая (в противовес рационалистической) психология может адекватно объяснить это обстоятельство, поскольку здесь мы вступаем в область отношений между миром и организмом [4. Р. 233].

¹ Этот термин использовал в свое время еще Рудольф Карнап («Логическое построение мира»). Карнап стремился реконструировать эмпирическое знание с соответствующих позиций, т.е. с феноменалистической перспективы, без возможных онтологических обязательств и некоторых эпистемологических амбиций, чтобы показать взаимозависимую и структурную природу нашей системы эмпирических понятий, выражающую единство и объективность [10].

Синтаксис и «Китайская комната». Проблема интенциональности

Более того, находясь в рамках методологического солипсизма, мы становимся легкой добычей для критики со стороны Джона Серла. Его знаменитый аргумент «Китайская комната» нацелен на то, чтобы показать несостоятельность вычислительного подхода к пониманию человеческой психики. Смысл этого аргумента в том, что человек, находящийся в комнате с окошком, получает через него запросы на китайском языке в виде наборов символов, которые он совершенно не понимает. Но в его распоряжении есть инструкции, объясняющие, каким образом формировать ответы на поступающие запросы. Человек производит манипуляции с символами, следуя инструкциям, и формирует другие наборы символов, служащие ответами на поступающие запросы. Но человек в комнате не понимает и сформированные ответы – он их создает, просто манипулируя символами в соответствии с инструкциями. Однако по формальным признакам его деятельность полностью отвечает требованиям носителя китайского языка: на все поставленные вопросы, просьбы, требования и т.п. он предоставляет адекватные ответы¹. Китайские выражения этого человека обладают семантикой, недоступной для него самого. Тем самым Серл хочет сказать, что вычислительная теория не способна объяснить устройство человеческого ума, поскольку синтаксис не способен объяснить семантику, значение или содержание символов, сформированных в ответ на запросы в китайской комнате, недоступно для понимания находящегося там человека. А значит, никакая программа, поскольку она имеет дело только с формальными характеристиками символов, не способна объяснить природу интенциональности.

Хотя понятие интенциональности, по мнению Серла и др., тесно связано с понятиями понимания и осознанности, не все современные аналитические философы признают эту тесную связь². Серл на примере «Китайской комнаты» стремится показать, что существуют два вида интенциональности: внутренняя (*intrinsic*) и интенциональность, приписываемая по аналогии (*observer-relative*). Так, когда мы приписываем интенциональность термостатам, мы в

¹ Изначально этот аргумент нацелен против теста Тьюринга. Смысл последнего состоит в том, что если программа будет давать на вопросы человека адекватные ответы, то мы вправе говорить о наличии у нее разума. Сам тест был задуман таким образом, что человек общается через компьютер, не зная, кто ему отвечает – реальный человек или программа. Пользователь не видит своего собеседника, все, что он имеет, – это его ответы и вопросы на выходе.

² Аргумент «Китайская комната» был призван показать, что машина не может обладать сознанием, поскольку она не обладает истинной интенциональностью. Но даже Серл, для которого понятия сознания и интенциональности имеют почти синонимическое значение, не отождествляет их. Поскольку для него интенциональные феномены должны обладать условиями выполнимости, т.е., чтобы понять, чем является какое-либо интенциональное состояние, нужно знать, при каких условиях оно является истинным. Серл в этой связи отмечает, что «некоторые наиболее важные логические особенности (*features*) интенциональности находятся за рамками феноменологии, поскольку они не обладают непосредственной феноменологической реальностью» [12. Р. 115]. Деннет в этой связи также отмечает, что мы, люди, часто не ведаем, как мы смогли осознать и понять новые вещи. Однако, по мнению Деннета, отличительным признаком понимания служит способность применять наши уроки к новым материалам, новым проблемам. «Идея о том, что индивидуальный организм обладает мобильными (*portable*), улучшающими собственное устройство умениями, является ядром нашего обыденного (*folk*) представления о процессе понимания. Она не зависит от предположения о сознательном опыте, несмотря на то, что оно (это предположение) является знакомой декорацией, идеологическим преувеличением по отношению к изначальному понятию» [13].

этом случае не считаем, что они обладают ментальной жизнью; мы приписываем им интенциональность по аналогии с собой, потому что спроектировали их для того, чтобы они служили определенным целям, чтобы осуществляли функции на основании нашей интенциональности. Истинная же интенциональность присуща только людям. Весь функционализм, по мнению Серла, строится на неспособности видеть это различие. Функциональные атрибуты всегда зависимы от наблюдателя, и потому не существует внутренних (intrinsic) функций в том смысле, в каком понимается внутренняя интенциональность [14. Р. 451–452], что и должен продемонстрировать аргумент «Китайская комната».

Возвращаясь к обсуждению позиции Фодора, сразу отмечу, что для него понятие осознанности не имеет никакого отношения к проблеме интенциональности¹. Фодор связывает интенциональность с семантикой, поскольку в рамках вычислительной теории психики проблема интенциональности – это в первую очередь проблема семантической ментальных репрезентаций [16. Р. 28]. Вместе с тем при натуралистическом подходе к психологии содержание ментальных репрезентаций должно быть локализовано во внешнем мире. Каким же образом понятие интенциональности соотносится с вычислительной теорией психики, которая является краеугольным камнем в теории Фодора?

Согласно Фодору интенциональные состояния нельзя считать логическими конструкциями телодвижений или состояниями нервной системы, ибо в первом случае мы будем иметь позицию бихевиоризма, а в последнем – теории психофизического тождества². И тогда или у нас будут проблемы с ментальной каузацией, поскольку бихевиористы игнорируют ментальные состояния, или нам придется отрицать номологическую возможность существования рациональных машин или существ с другой анатомией мозга, а это будет означать *несостоятельность вычислительной теории психики* [17. Р. 67]. Отказываясь от методологического солипсизма, Фодор заявляет, что интенциональным содержанием обладает синтаксически структурированная ментальная репрезентация объекта внешнего мира. Таким образом, интенциональность присутствует там, где есть репрезентации, *имеющие каузальную связь с репрезентируемыми ими объектами в мире*. Причем только объект в действительном мире может иметь каузальную связь с ментальной репрезентацией; возможные объекты, замечает Фодор, не обладают каузальной силой и не могут повлиять на содержание концепта [Ibid. Р. 141].

Здесь можно видеть, как блокируется критика функционализма, высказанная Серлом. Конечно, если мы понимаем символы в чисто формальном ключе, непонятно, что придает им содержание и откуда появляется у них интенциональность. Но символы, указывает Фодор, нужно брать семантически интерпретированными, т.е. находящимися в каузальной связи с объектами внешнего мира. Это означает, что и компьютерная программа будет обладать интенциональным содержанием, если мы установим связи между ее симво-

¹ Так, Фодор отмечает: «Том Нагель как-то написал, что именно сознание делает философию сознания (philosophy of mind) такой трудной. Это почти верно. По сути, это интенциональность делает философию сознания такой трудной, а сознание делает ее невозможной» [15. Р. 22].

² Это теория, согласно которой ваши ментальные состояния идентичны состояниям вашей нервной системы. Представители этого направления – Д. Армстронг, Дж. Сمارт, Д. Папино и др.

лами и внешним миром. Так, Зенон Пыльшин, позиция которого очень близка к позиции Фодора, пишет о том, что пока мы работаем с компьютерными программами в привычном смысле, у нас часто возникает возможность множественной интерпретации символов – то как чисел, то как слов или описаний. Но если мы снабдим компьютер органами-посредниками и позволим ему свободно взаимодействовать с естественной и лингвистической средой, то наши возможности интерпретации сильно сократятся [14. Р. 443], т.е. при установлении каузальной связи между символами и миром через органы-посредники возможность множественной интерпретации символов программ сузится настолько, что останется разве что люфт, обозначенный куайновским тезисом неопределенности перевода¹.

Заключение

Итак, привлекательность классической модели зиждется на том факте, что она свободна от привязки к определенной архитектуре носителя психики: будет ли это мозг или компьютер, мы всегда можем выделить уровень программ, который и характеризует психику. Работа этого уровня основана на идее вычислимости, т.е. переход из одного ментального состояния в другое является вычислительной операцией. А для ее характеристики имеет значение только форма наших состояний, мы можем не учитывать их содержание. Данные аспекты хорошо объясняют в первую очередь работу таких видов высокоуровневого когнитивного поведения, как язык, комплексное планирование и дедуктивное рассуждение.

И хотя сторонники классического подхода, отстаиваемого Фодором, апеллируют к идее Тьюринга и компьютерам, следует иметь в виду, что данный подход выходит за рамки простой и изящной идеи Тьюринга о вычислимости и имеет дополнительные предпосылки в своем основании. Во-первых, он опирается на предположение о концептах как фундаментальных кирпичиках, благодаря которым и происходят вычислительные операции. Во-вторых, в нем используется немного позже разработанная Фодором идея модулярности психики, которая означает, скажем, отличие процесса восприятия от познания и мышления. Отсюда следует, что релевантные для организма в целом вычисления происходят в когнитивном аппарате, в котором и хранятся концепты.

Эти две идеи взаимодополняют друг друга, поскольку из идеи вычислимости самой по себе еще не следует ответ на вопрос, чем являются минимальные элементы, участвующие в вычислениях. Классическая модель предполагает, что на этапе процесса восприятия также совершаются вычислительные операции, особенностью которых является инкапсулированность, т.е. непроницаемость информации из высших уровней или из других модулей на вычислительные процедуры в самом модуле восприятия. Уже просчитанная информация из модулей восприятия поступает в принципиально

¹ В.О. Куайн утверждал, что никаких эмпирических данных будет недостаточно для точного перевода с одного языка на другой, иллюстрируя это на примере радикального перевода с абсолютно неизвестного исследователю языка туземцев на его родной язык. Так, даже в случае остенсивного указания на кролика и произнесения слова на туземном языке «гавагай» у исследователя остается свобода перевести его не только как «кролик», но и как «неотъемлемая часть кролика», «временной срез кролика» и т.д.

немодулярную когнитивную систему, активируя соответствующие концепты. Так, чирикание воробья и визуальная информация о воробье (т.е. внешний облик воробья) поступают из аудиального и зрительного модулей в когнитивную систему, активируя уже имеющийся в ней концепт *воробей*.

Учитывая сказанное, правомерно задаться вопросом: почему релевантные для организма в целом вычисления происходят именно на уровне концептов, которые сами являются целостными и далее не разлагаемыми единицами? Ведь и на уровне модулей происходят вычисления, в которых участвуют другие единицы. Собственно, именно эта идея имеет свои корни в рационалистической психологии, идущей от Декарта и утверждающей врожденность многих наших понятий¹. Противоположная же идея – о том, что важна только интерпретация входных данных нашей системой восприятия, формирующей наши представления и понятия, – соответствует эмпиристской точке зрения, имеющей своим источником философию Локка.

Против эмпиристской идеи вполне уместно возразить, что она не может исключать наличия у субъекта врожденных свойств. К примеру, чтобы распознать глубину или контрастность, нам надо иметь соответствующие рецепторы, способные их распознавать; мы, скажем, не способны распознавать свет или звуковые колебания определенного спектра или диапазона, например инфракрасное излучение или ультразвук. Абсолютный эмпиризм в принципе невозможен, поскольку при взаимодействии окружающей среды и воспринимающего субъекта последний уже обладает определенной структурой.

Естественно задаться вопросом, можно ли считать адекватным решением для этой проблемы рационализм? Ведь помимо классической идеи есть немало альтернативных подходов (тот же коннекционизм), представители которых не признают наличия каких-либо врожденных или встроенных концептов, полагая, что наши представления формируются на основании распознаваемых рецепторами раздражителей. Но, что важно, и сам классический вычислительный подход может обходиться без идеи встроенных представлений или концептов, свидетельством чего может служить теория Дэниеля Деннета.

На мой взгляд, преимущество подхода Фодора состоит в том, что он предлагает изящное решение проблемы ментальной репрезентации. Данное понятие давно уже является своеобразным камнем преткновения в философии сознания. К примеру, Джон Серл в своей теории психики использует понятие ментальной репрезентации, не основанное на идее вычислимости. Он отрицает вычислительный характер психики, поэтому ментальные состояния понимаются им не-синтаксически. С точки зрения Серла, все, что реально имеет значение для соответствующего ментального состояния, это его содержание. Но как в таком случае без обращения к синтаксису мы могли бы адекватно определять это состояние? Выход из этого затруднения как раз и предлагает Фодор: путем трактовки ментального состояния как ментальной репрезентации, обладающей формальными и содержательными характеристиками. Такая репрезентация – концепт – определяется за счет каузальной связи с репрезентируемым ею в мире объектом. И благодаря этому шагу вычислительный характер психики хорошо сочетается с натуралистическим ее

¹ Строго говоря, это более современный (относящийся к Новому времени) вариант рационализма, потому что корни его мы найдем уже у Платона.

объяснением: свое содержание она получает через органы чувств от реальных объектов в мире. Остается еще вопрос о характере этой каузальной связи, но в классическом подходе он, по сути, приобретает техническое значение. Кроме того, признание вычислительной природы психики хорошо объясняет мыслительную деятельность человека, которая не может быть простой цепочкой ассоциаций, но является деятельностью, имеющей формальные характеристики: на основании посылок делаются определенные заключения.

Вдобавок классический подход, представленный Фодором, прекрасно инкорпорирует в себя понятие интенциональности, не пытаясь его свести к чему-либо или вовсе отбросить. Так, определенная ментальная репрезентация обладает интенциональностью в том случае, если между ней и репрезентируемым объектом устанавливается каузальная связь. Одно из преимуществ такого объяснения состоит в том, что интенциональность не понимается исключительно как биологический феномен. Она может существовать также и у роботов и компьютеров, если установлена каузальная связь между их символами и объектами мира.

В итоге можно признать, что классическая модель, отстаиваемая Фодором, несмотря на свои недостатки, неплохо справляется с объяснением высших когнитивных функций человека, способна дать удовлетворительное решение проблемы ментальных репрезентаций и интенциональности, а также не идет в разрез с представлениями современной науки и здравым смыслом.

Литература

1. Патнэм Х. Сознание и машины // Патнэм Х. Философия сознания. М., 1999.
2. Searle J. Is the Brain Digital Computer // Searle J. Philosophy in a New Century. Selected Essays. Cambridge : University Press, 2008. P. 86–107.
3. Block N., Fodor A.J. What psychological states are not? // Block N. Consciousness, Function, and Representation. Collected Papers. Vol. 1 : A Bradford Book. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2007. P. 45–63.
4. Fodor J. Methodological Solipsism Considered as a Research Strategy in a Cognitive Psychology // Jerry A. Fodor Representations. Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science. Harvester Press, 1981. P. 225–257.
5. Fodor J. Language of thought. Tomas Y. Crowell Company, Inc. New York, 1975.
6. McLaughlin B.P. Can an ICS Architecture Meet the Systematicity and Productivity Challenges? // Paco Calvo and John Symons (ed.) The architecture of cognition: rethinking Fodor and Pylyshyn's systematicity challenge. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2014. P. 31–77.
7. Fodor J. Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford : Clarendon Press, 1998.
8. Pylyshyn Z. Things and Places: How the Mind Connects with the World. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2007. 256 p.
9. Dennett D. A Cure for the Common Code? // Dennett D.C. Brainstorms. Philosophical Essays on Mind and Psychology. 1981. P. 90–108.
10. Uebel T. Vienna Circle // Stanford Encyclopedia of Philosophy. First published Wed Jun 28, 2006. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/vienna-circle/#RedFouTwoCriParReb> (substantive revision Wed Feb 17, 2016).
11. Патнэм Х. Значение «значения» // Патнэм Х. Философия сознания. М., 1999.
12. Searle J. The Phenomenological Illusion // Searle J. Philosophy in a New Century. Selected Essays. Cambridge : University Press. 2008. P. 107–137.
13. Dennett D.C. From Bacteria to Bach and Back. The Evolution of Minds. W.W. Norton & Co., 2017.
14. Searle J.R. Minds, Brains and Programs // The Behavioral and Brain Sciences. 1980. № 3. P. 417–457.
15. Fodor J. Language of Thought. Revisited. Oxford : Oxford University Press, 2008.

16. Fodor J.A. Fodor's Guide to Mental Representation: The Intelligent Auntie's Vade-Mecum // Fodor J.A. Theory of Content and Others Essays. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 1990. (Third print.)

17. Fodor J.A. Psychosemantics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind. Cambridge, MA : MIT Press, 1987.

Vitalii I. Sukhoyi, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation).

E-mail: witaliy.suhovjy@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 19–32.

DOI: 10.17223/1998863X/43/2

MENTAL REPRESENTATIONS, COMPUTABILITY AND INTENTIONALITY: JERRY FODOR'S APPROACH

Keywords: mental representations; computability; intentionality; classical model.

The paper is devoted to Jerry Fodor's classical computational theory of mind. Fodor is one of the brightest proponents of the theory, the one who developed it during almost all his research career. The paper discusses the major features of classical computationalism which starts from the Turing idea. The classical approach describes the mind as an independent program level. There is no great necessity in the knowledge of brain neurobiology, because we can describe the mind as an autonomous level, equal to the program level of the computer. The main point of the computational theory of mind is that the brain is a real analog of the computer, and the mind is a real analog of the program level: it is not a system which we could only describe as a set of programs, but a system which lacks the corresponding ontological status. The main feature of the work of this level is that syntactically driven computations are made over the mind's symbols – concepts. Computations are independent of the meaning of concepts; and the only thing the system should 'know' is the formal rules which govern the behaviour of concepts. The major advantage of a classical approach is that it could explain intentionality via causal links between objects in the world and symbols in the mind. It is shown that this explanation of intentionality can block John Searle's well-known Chinese Room argument. One of the strongest sides of a classical model is that it could explain intentionality, on the one hand, without appealing to biology terms and, on the other hand, without relativising or eliminating it. Another advantage of computationalism is that it uses such notions as mental states and understands mental states as representations. Of course, the computational theory of mind lost many of its proponents just because of the rising of opposing models – connectionism, for instance. And there has always been a strong eliminativism movement in philosophy of mind which finds additional power within connectionism, but classical computationalism has its own advantages because it saves and uses the notion of mental representations and intentionality and comports with our common-sense view.

References

1. Putnem, H. (1999a) *Filosofiya soznaniya* [Philosophy of Consciousness]. Translated from English by L. Makeeva, A. Nikiforov. Moscow: Dom intellektual'noy knigi.
2. Searle, J. (2008a) *Philosophy in a New Century. Selected Essays*. Cambridge: University Press. 2008. pp. 86–107.
3. Block, N. & Fodor, A.J. (2007) What psychological states are not? In: Block, N. *Consciousness, Function, and Representation*. Collected Papers. Vol.1. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. pp. 45–63.
4. Fodor, J. (1981) *Representations. Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science*. Harvester Press. pp. 225–257.
5. Fodor, J. (1975) *Language of thought*. Tomas Y. Crowell Company, Inc. New York.
6. McLaughlin, B.P. (2014) Can an ICS Architecture Meet the Systematicity and Productivity Challenges? In: Calvo, P. & Symons, J. (eds) *The architecture of cognition: rethinking Fodor and Pylyshyn's systematicity challenge*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. pp. 31–77.
7. Fodor, J. (1998) *Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong*. Oxford: Clarendon Press.
8. Pylyshyn, Z. (2007) *Things and Places: How the Mind Connects with the World*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
9. Dennett, D. (1981) *Brainstorms. Philosophical Essays on Mind and Psychology*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. pp. 90–108.

-
10. Uebel, T. (2006) Vienna Circle. In: Zalta, E.N. (ed.) *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/entries/vienna-circle/#RedFouTwoCriParReb>. (Accessed: February 17, 2016).
 11. Putnem, H. (1999b) *Filosofiya soznaniya* [Philosophy of Consciousness]. Translated from English by L. Makeeva, A. Nikiforov. Moscow: Dom intellektual'noy knigi.
 12. Searle, J. (2008b) *Philosophy in a New Century. Selected Essays*. Cambridge: University Press. 2008. pp. 107–137.
 13. Dennett, D.C. (2017) *From Bacteria to Bach and Back. The Evolution of Minds*. W.W. Norton & Co.
 14. Searle, J.R. (1980) Minds, Brains and Programs. *The Behavioral and Brain Sciences*. 3. pp. 417–457.
 15. Fodor, J. (2008) *Language of Thought*. Revisited. Oxford: Oxford University Press.
 16. Fodor, J. (1990) *Theory of Content and Others Essays*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
 17. Fodor, J. (1987) *Psychosemantics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind*. Cambridge, MA: The MIT Press.

УДК 164.07

DOI: 10.17223/1998863X/42/3

В.В. Целищев

ИТЕРИРОВАННЫЕ МОДАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И УСЛОВИЯ ВЫВОДИМОСТИ ГИЛЬБЕРТА – БЕРНАЙСА¹

Анализируются некоторые способы ослабления универсальности условий выводимости Гильберта – Бернайса, связанные с применением модальной логики к теории доказательства, в частности при доказательстве Второй теоремы Геделя о неполноте. Рассмотрен феномен интенциональной неэквивалентности комбинаций модальных операторов в качестве объяснения интенционального характера Второй теоремы Геделя. Показано, что причина появления девиантных концепций непротиворечивости формальной системы – неоднозначный перевод неформальных математических концепций в формальный вид, а также побочные эффекты перевода формальных теорий с разной сигнатурой друг в друга.

Ключевые слова: модальный оператор, неполнота, интенциональность, доказательство, условия выводимости.

Интенциональный характер Второй теоремы Геделя о неполноте проявляется прежде всего в том, что формальное выражение непротиворечивости теории может конструироваться различными способами. И только один из них, отвечающий условиям выводимости Гильберта – Бернайса, является «каноническим» в том отношении, что имеет «намеренную» интерпретацию. Ранние работы С. Фефермана [1] и Г. Крайзеля [2] наметили проблематику интенциональности Второй теоремы, и эта проблематика используется некоторыми логиками, например М. Детлефсеном [3] и Д. Ауэрбахом [4], для критики широко распространенного мнения, что упомянутая теорема опровергает Программу Гильберта. Вторая теорема Геделя в переводе на обыденный язык утверждает, что для достаточно богатых формальных систем доказательство их непротиворечивости невозможно в рамках самой этой системы. Однако в математической практике часто встречаются ситуации, когда непротиворечивый фрагмент теории расширяется добавлением новых фрагментов и требуется проверка непротиворечивости расширенной теории в рамках самой этой теории. Видимое противоречие со Второй теоремой при такой практике объясняется по-разному. Так, П. Смит говорит, что такое доказательство не является семантически содержательным [5]. Но уже сам Крайзель сожалел, что мало исследуется систем логики, где возможно доказательство непротиворечивости средствами самой теории [6]. Тем не менее такая проблематика разрабатывается в связи с системами с «встроенной непротиворечивостью».

Эта проблематика неизбежно связана с возможной ревизией условий выводимости Гильберта – Бернайса, по крайней мере с определенными сомнениями в их универсальности. Возможность подобного рода стала более перспективной с применением модальной логики к теории доказательства.

¹ Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект 16-18-10359.

Появление систем модальной логики доказуемости, в частности системы GL, стало новым этапом развития геделевской проблематики, и не в последнюю очередь благодаря прозрачности связи между модальными версиями доказательства Второй теоремы и условий Гильберта – Бернаиса [7].

Уже само сопоставление систем с совершенно разной сигнатурой может оказаться причиной интенциональности. Но такого рода исследование представляет более широкий проект, который должен включить некоторые частные аспекты феномена интенциональности Второй теоремы о неполноте. В данной статье рассмотрен один такой частный аспект, связанный с «механикой» действия модальных операторов, и лишь в конце мы коснемся более общих проблем.

Среди разнообразных работ в этом направлении не очень значимое место занимают комбинаторные соображения, связанные с проблемой итерации модальных операторов. Такое упущение представляется странным, потому что в самой модальной логике интерпретация последовательности вложенных модальных операторов чрезвычайно важна. Иногда обоснование итерации апеллирует к интуиции, иногда оно контринтуитивно: так, в условиях выводимости Гильберта – Бернаиса считается интуитивно ясным, что если что-то доказуемо в формальной системе, то в этой же формальной системе должно быть доказуемо, что это нечто доказуемо. Но сама проблема допустимости итерации модальных операторов не выходила на первый план. Между тем вместо опоры на интуицию, которая часто подводит в случае модальной логики, следовало бы обратить внимание на комбинаторную природу итерации модальных операторов. Впервые такая проблема была поднята Т. Уильямсоном [8]. Он привлек внимание к феномену интенциональной неэквивалентности комбинаций модальных операторов. С его точки зрения, такая неэквивалентность является объяснением интенциональности Второй теоремы Геделя.

Неэквивалентность, которую имеет в виду Уильямсон, объясняется следующим образом. Два сентенциональных оператора K_1 и K_2 экстенционально эквивалентны, если для любых предложений p , K_1p , если и только если K_2p . Эту эквивалентность можно распространить на интенциональный случай, если она соблюдается во всех возможных мирах. То есть нужно понимать, что интерес представляет не то обстоятельство, что экстенциональная эквивалентность единичных модальных операторов не совпадает или совпадает с интенциональной эквивалентностью. Речь идет о другом феномене, возникающем при итерации модальных операторов. Например, пусть имеется эквивалентность K_1K_1p , если и только если K_2K_1p . Но эта эквивалентность никак не гарантирует эквивалентности K_1K_1p , если и только если K_2K_2p . Это обстоятельство представляется странным, если учесть, что ввиду экстенциональной эквивалентности K_1 и K_2 они должны быть взаимозаменяемы. Дело в том, что действие операторов может определяться различными системами принципов, вплоть до прямой их несовместимости.

Нарушение экстенциональности при итерации модальностей свидетельствует, что эта итерация может быть источником интенциональности. Очевидно, что в определенной степени это неожиданный феномен, и в голову приходит незамедлительно другой случай поначалу неожиданной интенциональности, а именно доказательство Второй теоремы Геделя о неполноте

арифметики. Недавние попытки диагноза интенциональности подобного рода представляют значительный интерес с точки зрения теории доказательства. Ситуация с появлением интенциональности в случае итерации модальностей при трактовке Второй теоремы приоткрывает новые измерения этой сложной проблемы, намекая на возможность участия в ней комбинаторных феноменов.

Перед тем как перейти к обсуждению тех проблем, поставленных Уильямсоном, в отношении роли итерации модальных операторов как объяснения интенциональности доказательства Второй теоремы Геделя о неполноте, следует иметь в виду следующие факты. Во-первых, есть доказательства этой теоремы, например известное доказательство Дж. Булоса, где используется итерация модальных операторов [9]. Во-вторых, эти операторы являются частью логики доказательства GL, которая является сентенциональной модальной логикой. В-третьих, доказательство теоремы осуществляется с помощью определенных условий, которые также используют итерированные модальности. В-четвертых, эти условия вытекают из довольно разумных предположений о природе математического доказательства. Принимая во внимание эти факты, следует заключить, что природа модальных операторов у Булоса и Уильямса трактуется по-разному: если Булос исходит из всех преимуществ системы GL с модальным оператором « \Box », то Уильямсон строит общую теорию модальных итерированных операторов. Очевидно, что подход Уильямсона претендует на понимание особой роли итерации модальных операторов по сравнению с тем, как она понимается при «стандартном» подходе. Рассмотрим схему доказательства Второй теоремы Геделя, как оно представлено Булосом, делая упор на том, как в таком доказательстве реализуется интенциональный характер теоремы. Сразу отметим, что эта интенциональность обеспечивается использованием модальной логики, к тому же ключевые предпосылки доказательства включают итерацию модальных операторов.

Модальный оператор « \Box » обычно интерпретируется как «доказуемо». В доказательстве Геделя фигурирует формула « $\text{Proof}(x, y)$ », чья конструкция соответствует определению « x есть доказательство y », и где x и y есть геделевы номера соответствующих синтаксических структур. Нотационный переход к модальным обозначениям дает возможность считать « $\Box p$ » предложением языка, которое может рассматриваться как утверждение о доказуемости p в теории. Другими словами, « $\Box p$ » является сокращением для выражения « $(\exists x)\text{Proof}(x, \lceil p \rceil)$ », где $\lceil p \rceil$ есть геделев номер p . Для доказательства Второй теоремы требуется, чтобы формула « $\text{Proof}(x, y)$ » удовлетворяла следующим трем условиям для некоторой формальной теории T (условия выводимости Гильберта – Бернайса):

- (i) Если $T \vdash p$, тогда $T \vdash \Box p$.
- (ii) $T \vdash \Box(p \rightarrow q) \rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q)$.
- (iii) $T \vdash \Box p \rightarrow \Box \Box p$.

Предполагается, что эти условия выполняются всеми «разумными» формальными системами, в которых может доказываться некоторая часть арифметики. Но именно в этом пункте расходятся точки зрения Булоса (который взят как представитель подавляющей части исследователей проблематики геделевских теорем) и Уильямсона. Сама итерация модальных операторов может вызывать сомнения в отношении ее содержательной интерпретации.

С точки зрения Уильямсона, первое условие является аналогом эпистемического принципа (известного как принцип КК), согласно которому если некто знает что-то. Но этот принцип вызывает значительные возражения, и уже на этом этапе Уильямсон готов возразить тезису о полной легитимности условий Гильберта – Бернайса. Однако эти принципы используются для формализации доказательства Второй теоремы Геделя, и если Уильямсон прав, тогда вся проблематика, связанная с применением теорем Геделя к эпистемологическим проблемам, оказывается под вопросом.

Сами эти принципы приспособлены к важным математическим конструкциям, в частности к процедуре диагонализации. Кроме того, само утверждение «Proof (x, y)» построено таким образом, чтобы быть естественным (или намеренным) в формализации понятия доказательства именно с принятием условий Гильберта – Бернайса (хотя хронологически события имели обратный характер). Для формализации доказательства Второй теоремы вводится нуль-местная функция « \perp », интерпретируемая как ложь, как противоречие. С ее помощью легко выразить утверждение о непротиворечивости теории: это « $\neg \Box \perp$ », что равносильно « $\neg (\exists x) \text{Proof}(x, \lceil \perp \rceil)$ ». Представление доказуемости этой теоремы, по Булосу, таково [9. P. 411–414.]:

$$1. p \equiv \neg \Box p.$$

Это посылка доказательства. Такое утверждение получается посредством техники диагонализации, примененной Геделем. В настоящее время оригинальная конструкция Геделем такого рода утверждений упрощена с помощью выделенной Р. Карнапом [10] Диагональной леммы, или Теоремы о неподвижных точках. Хотя в данном доказательстве это выражение является исходным пунктом, на самом деле оно представляет ключевой момент в доказательстве геделевских теорем и сопряжено с принятием ряда тонких предпосылок, одна из которых играет важную роль в сопоставлении в данной статье взглядов на роль итерированных модальностей.

$$2. p \rightarrow \neg \Box p.$$

$$3. \Box p \rightarrow \Box \neg \Box p.$$

Шаг 2 является тривиальным следствием шага 1, чего нельзя сказать в общем виде о шаге 3. Он получается из шага 2 с помощью условия

$$(iv) \text{ Если } \vdash (p \rightarrow q), \text{ то } \vdash (\Box p \rightarrow \Box q).$$

Это условие является частью принятой логики, согласно которой все тавтологии доказуемы и логические следствия доказуемых формул доказуемы. Это условие считается само собой разумеющимся, но важно помнить, что оно является частью принятых соображений о природе логики, не все из которых могут оказаться оправданными в различных контекстах.

$$4. \Box p \rightarrow \Box \Box p.$$

$$5. \neg \Box p \rightarrow (\Box p \rightarrow \perp).$$

$$6. \neg \Box p \rightarrow \Box (\Box p \rightarrow \perp).$$

$$7. (\Box p \rightarrow \perp) \rightarrow (\Box \Box p \rightarrow \Box \perp).$$

Шаг 4 является условием (iii), шаг 5 – тавтологией, и шаг 6 получается из шага 5 по условию (iv), а шаг 7 получается из шага 6 с помощью условия (ii).

Согласно шагам 3, 6, 7 и 4, а затем и шагу 1 получаем:

$$8. \Box p \rightarrow \Box \perp.$$

$$9. \neg \Box \perp \rightarrow p.$$

Наконец, из шага 9 с помощью условия (iv) получаем

$$10. \Box \neg \Box \perp \rightarrow \Box p.$$

Из шагов 8 и 10 имеем заключительную формулу

$$11. \neg \Box \perp \rightarrow \neg \Box \neg \Box \perp.$$

Таким образом, если $\neg \Box \perp$, тогда $\neg \Box \neg \Box \perp$. Отсюда по (i) $\Box \neg \Box \perp$, и далее просто \perp . Поэтому, если недоказуемо \perp , тогда недоказуемо и $\neg \Box \perp$.

Приведенное подробно в высшей степени элегантно доказательство Булосом Второй теоремы часто считается некоторого рода логическим «изыском». Между тем оно ценно тем, что в нем очень отчетливо показана роль условий выводимости Гильберта – Бернайса, которая в обычном изложении этого доказательства не так очевидна и требует объяснений.

Необычайная краткость доказательства обязана, конечно же, использованию модальной логики. Глава 3 основной книги Г. Булоса по этому вопросу «Логика доказательства» [7. Р. 51–67.] озаглавлена весьма информативно (по крайней мере, для наших целей): «The box as Bew(x)». «Bew» – это знаменитое обозначение предиката доказуемости в оригинальном доказательстве Геделя, «box» – это модальный оператор « \Box ». Этот оператор играет важнейшую роль в представлении доказательства Второй теоремы – ввиду двойственности его функции – концептуальной и нотационной. Во-первых, он является, как уже было указано, сокращением для «Proof (x)», и во-вторых, он поглощает «скобки», превращающие правильно построенную формулу ϕ в стандартное число, представляющее геделев номер предложения ϕ . Исходя из этого, можно сделать правдоподобное предположение, что модальная логика GL «заточена» под геделев предикат доказуемости Bew (x), как и модифицированные условия выводимости Гильберта – Бернайса. Эти условия налагаются именно на предикат доказуемости.

Если вместо предиката « \Box » модальной системы GL использовать другие ресурсы модальной логики, скажем понятие функтора, и попытаться сформулировать условия, аналогичные условиям выводимости Гильберта – Бернайса, тогда мы выходим за рамки «заточенности» модальной машинерии под геделев предикат доказуемости. Более важным обстоятельством является то, что при представлении альтернатив подобного рода нарушается применение диагональной леммы.

Именно в этом состоит подход Уильямсона, который апеллирует к большей общности использования модальной логики для анализа эффекта неполноты. В неформальном изложении содержание Второй теоремы Геделя может быть передано таким образом:

РА может доказать свою непротиворечивость только ценой своей противоречивости,

или же

Если в РА доказуемо, что недоказуемо $0 = 1$, то в РА доказуемо $0 = 1$.

В такой формулировке оператор «доказуемо в РА» входит в область действия самого себя. Следовательно, при такой формулировке оператор трактуется как кодирующий нечто в РА, потому что его намеренной интерпретацией являются предложения, а не числа. Гедель при доказательстве Первой теоремы о неполноте выбрал в качестве кодирующего предикат Bew(x), так что Вторая теорема может быть сформулирована в виде

$$\vdash_{РА} \neg \text{Bew} [0 = 1] \text{, только если } \vdash_{РА} 0 = 1.$$

Такое кодирование в случае Второй теоремы встречается с рядом проблем, суть которого состоит в наличии нескольких способов его реализации, не гармонизирующей с геделевским предикатом. Если геделевский способ кодирования с помощью Wew считать стандартным, то довольно рано пришло осознание наличия девиантных способов кодирования утверждения о непротиворечивости формальной системы. Так, как уже было упомянуто выше, Г. Крайзель показал, что дуальная к геделевской проблема Генкина нахождения доказуемого предложения может быть разрешена альтернативным по отношению к геделевскому способом, а Феферман продемонстрировал доказуемость непротиворечивости PA посредством девиантного кодирования. Для понимания сферы действия Второй теоремы Крайзель ввел понятие канонического представления формальной системы в рамках развитой Феферманом программы. Каноническое понимание связано с принятием условий выводимости Гильберта – Бернайса. Однако, с точки зрения Уильямсона, для выделения особенностей кодирования, использованного во Второй теореме, требуется более общий подход. Обобщение модального оператора доказуемости, предлагаемое Уильямсоном, ведет к обнаружению «феномена», как он его сам называет, связанного с итерацией оператора. Уильямсон полагает, что проявлением этого феномена является как раз доказательство Второй теоремы, поскольку уже ее формулировка содержит итерацию операторов. Больше того, нарушение действия Второй теоремы связывается теперь не с наличием девиантных формализаций понятия непротиворечивости, а с феноменом итерации модальных операторов, поскольку такая итерация в некоторых случаях не удовлетворяет условиям выводимости Гильберта – Бернайса.

Что лежит в основе этих правил, столь явно направляющих доказательство Второй теоремы? Как уже указывалось, модальный оператор « \Box » поглощает скобки « $\ulcorner \ \urcorner$ », что приводит к значительному удобству. Но для анализа применимости условий Гильберта – Бернайса мы должны вернуться к такой формулировке этих условий, где эти «скобки» представлены функтором Φ получения геделева номера в применении к сингулярным терминам. Тогда мы имеем

- (1) Если $\vdash_S \alpha$, тогда $\vdash_S \Phi(\ulcorner \alpha \urcorner)$;
- (2) $\vdash_S \Phi(\ulcorner \alpha \supset \beta \urcorner) \supset (\Phi(\ulcorner \alpha \urcorner) \supset \Phi(\ulcorner \beta \urcorner))$;
- (3) $\vdash_S \Phi(\ulcorner \alpha \urcorner) \supset \Phi(\ulcorner \Phi(\ulcorner \alpha \urcorner) \urcorner)$.

В этой нотации Вторая теорема при соблюдении условий (1) – (3) будет выглядеть так:

$$\vdash_S \neg \Phi(\ulcorner \perp \urcorner), \text{ только если } \vdash_S \perp.$$

Уильямсон полагает, что и такой анализ недостаточен, поскольку в нем недостает общности для понимания роли функтора Φ , т.е. «действия» скобок в выражении « $\ulcorner \dots \urcorner$ ». Он полагает, что к условиям (1) – (3) нужно добавить условие, которое является слабым аналогом операции подстановки для геделевых чисел, играющей ключевую роль в геделевской машинерии. Для этой цели он считает достаточным введение такого функционального символа « $\#$ », что для всех α , β и γ справедливо

$$(4) \vdash_S \ulcorner \alpha \urcorner \# \ulcorner \beta \urcorner = \ulcorner \gamma \urcorner.$$

В предположении обычной логики для PA (с обоснованностью, нормальностью и подставимостью тождественного) условий (1) – (4) вместе с Диагональной леммой

$$\vdash_S \alpha \equiv \Phi(\ulcorner \alpha \urcorner)$$

достаточно для выведения теоремы Леба

$$\vdash_S \Phi(\ulcorner \alpha \urcorner) \supset \alpha, \text{ только если } \vdash_S \alpha.$$

Вторая теорема Геделя получается из теоремы Леба в случае, когда $\alpha = \perp$:

$$\vdash_S \Phi(\ulcorner \perp \urcorner) \supset \perp, \text{ только если } \vdash_S \perp.$$

Итак, мы получили другое доказательство Второй теоремы Геделя. В отличие от доказательства Булоса новое доказательство позволяет перейти к обобщению, анализ которого обнаруживает наложения некоторых ограничений на модальные операторы в доказательстве Второй теоремы. Эти ограничения являются в некотором смысле аналогом интенционального характера этого доказательства, связанного с девиантными формализациями понятия непротиворечивости формальной системы. Однако Уильямсон полагает, что обнаруживаемые ограничения имеют более общий характер, чем условия выводимости Гильберта – Бернайса, которые призваны обеспечить легитимность лишь одной формализации непротиворечивости (при использовании геделевского способа кодирования).

Обобщение, о котором идет речь, состоит в замене оператора, или функтора Φ , произвольным оператором K в условиях (1) – (4). При такой замене Вторая теорема принимает вид

$$\vdash_S \neg K\perp, \text{ только если } \vdash_S \perp.$$

При этом аналоги условий выводимости Гильберта – Бернайса принимают следующий вид:

- (1') Если $\vdash_S \alpha$, тогда $\vdash_S K\alpha$;
- (2') $\vdash_S K(\alpha \supset \beta) \supset (K\alpha \supset K\beta)$;
- (3') $\vdash_S K\alpha \supset KK\alpha$.

При условиях (1') – (3') плюс (4) утверждение « $\vdash_S \neg K\perp$, только если $\vdash_S \perp$ » ложно. Но это означает, что нарушается Вторая теорема о неполноте. Что может быть причиной этого феномена?

Поскольку оператор K является обобщенным оператором, он может иметь свойство редуцируемости, которое проявляется при итерации операторов: в этом случае выражение $KK\alpha$ эквивалентно выражению $K\alpha$. Это означает, что $K\alpha$ переходит в α , и тогда обычная логика (условие обоснованности плюс нормальность) дает нам условия (1') – (3') плюс утверждение $\vdash_S \neg K\perp$. Тогда получается, что « $\vdash_S \neg K\perp$, только если $\vdash_S \perp$ » и « $\vdash_S \neg K\perp$ » дают « $\vdash_S \perp$ ». Другими словами, если система S удовлетворяет обычной логике с условием (4), тогда S противоречива. Но это явно противоречит фактам, например в случае PA. Неудача в попытке доказать Вторую теорему при редуцируемых операторах состоит в «сбое» применения Диагональной леммы, лежащей в основе доказательства. Дело в том, что лемма « $\vdash_S \alpha \equiv \Phi(\ulcorner \alpha \urcorner)$ » не дает нужного α , потому что оно существует при редуцируемом операторе только в случае противоречивости S [8. P. 85–133].

Таким образом, решающим обстоятельством является введение в рассмотрение редуцирующих операторов, которые, с первого взгляда, нарушают Вторую теорему о неполноте. Но откуда берется уверенность в том, что в модализированной формулировке Второй теоремы Геделя о неполноте мы имеем итерацию операторов? Такая идея явно заимствована из формулировки Второй теоремы на обыденном языке для понимания ее содержания [11].

Так, одна из подобного рода формулировок может быть представлена в следующем виде:

(*) Если в РА недоказуемо, что $0 = 1$, тогда в РА недоказуемо, что в РА недоказуемо, что $0 = 1$.

Формулировка Второй теоремы в таком виде, который может считаться содержанием теоремы, скрывает важное обстоятельство. Последняя часть приведенного выше утверждения должна иметь уже формальный вид, а именно, термин «недоказуемо» должен быть представлен отрицанием предиката доказуемости. Тогда Вторая теорема приобретает следующий вид:

(**) Если в РА недоказуемо, что $0 = 1$, тогда в РА недоказуемо, что $\text{Wew}(\neg(\lceil 0 = 1 \rceil))$.

Если бы $\text{Wew}(\neg(\lceil 0 = 1 \rceil))$ было единственным представлением концепции непротиворечивости или же все другие представления были бы в некотором смысле эквивалентны, тогда никакого различия (*) и (**) не было бы. Но при наличии девиантных формализаций концепции непротиворечивости эквивалентности нет, а это значит, что нельзя говорить об итерации одних и тех же операторов. Это обстоятельство ставит под сомнение саму идею Уильямсона, что единственной причиной интенциональности является наличие разных условий на итерированные операторы.

По-видимому, мы все-таки сталкиваемся с более общей проблемой формализации математических понятий, которая включает перевод неформальных формулировок в формальный вид. Другими словами, можно говорить о трех «испостасях» концепции непротиворечивости. Во-первых, это формулировка результата в обыденном языке, в которой излагается результат, полученный при доказательстве теоремы. Во-вторых, это представление теоремы в формальном языке. Наконец, это представление доказуемости этой теоремы в конкретной формальной системе. Для случая традиционного изложения Второй теоремы, где концепция непротиворечивости представлена предикатом Con или (Consis) , эти три этапа выглядят так:

1. Если теория T непротиворечива, тогда в T не может быть доказана ее непротиворечивость.

2. $\text{Con} \rightarrow \neg \Box \text{Con}$.

3. $T \vdash \text{Con} \rightarrow \neg \Box \text{Con}$.

Мы специально отклонились от единообразной нотации в представлении концепции непротиворечивости (Con вместо Wew или K) для того, чтобы подчеркнуть важность наличия девиантных представлений. Но главное обстоятельство заключается в том, что нельзя путать в одном утверждении математического результата (в смысле взаимозаменяемости или экстенциональной эквивалентности) положения 1, 2 и 3. Преподнесение содержания теоремы как действия одного модального оператора, который итерирован в утверждении теоремы, скрывает подлинный источник интенциональности Второй теоремы.

Однако вполне может быть, что проблемы с интенциональностью лежат еще глубже, чем итерирование модальных операторов. Воспринимаемое как должное своего рода вложение теоретико-доказательного контекста в модальное исчисление, например Логику доказательства GL , на самом деле, по мнению А. Виссера, является настоящим чудом.

Свершилось чудо! С одной стороны, мы имеем класс фантастически сложных теорий в логике предикатов, теорий «с достаточно кодирующим потенциалом» типа арифметики Пеано или теории множеств Цермело – Френкеля, с другой – определенные модальные пропозициональные теории поразительной простоты. Мы переводим модальные операторы модальных теорий в определенные специфические, фиксированные предикаты предикатной логики. Эти специальные предикаты содержат астрономическое число символов. Мы интерпретируем пропозициональные переменные как произвольные предикатные логические последовательности. И мы видим, что модальные теории обладают обоснованностью и полнотой при такой интерпретации. Они кодифицируют в точности схематические принципы в пределах их области действия. Так что чудеса все-таки случаются. Наше чудо включает переход в другую субстанцию. Мы осуществляем перевод между языками несравнимой сигнатуры. Модальный язык не содержит кванторов, а предикатные логические теории – модальных операторов. Модальные операторы могут быть переведены в предикаты, потому что мы транссубстанцируем формулы, входящие в область действия модального оператора, в замкнутые термы (нумерические символы), представляющие коды геделевских номеров формул переводимой теории (р. 1)¹.

Можно полагать, что именно такого рода «сложности перевода» и могут быть причиной интенциональности Второй теоремы Геделя, тем более что они достаточно специфичны, а самое главное – не универсальны. Действительно, приведенный пассаж сопровождается отрезвлением: «Чудо работает не всегда – как и следует ожидать в случае настоящих чудес – мы не получаем аналогичных результатов, если попытаемся работать с предикатными модальными логическими языками».

Разрабатываемая А. Виссером и другими *логика интерпретируемости* может дать более общий ответ на подлинные причины интенциональных феноменов [12]. В применении к теме данной статьи это помогло бы дать ответ на два кардинальных вопроса: прежде всего, как математический дискурс переводится в разговор о формальных теориях (в нашей терминологии, это переход от первой ипостаси ко второй), в которых теоремы о формализмах используются для мотивированных заключений собственно математического толка. И далее, в каком смысле понятие непротиворечивости выражается в этом формализме (переход от второй ипостаси к третьей).

Д. Ауэрбах считает, что не менее значим обратный переход от математической теоремы к ее философскому осмыслению, которое в значительной степени мотивирует поиски интенциональности. Типично философская интерпретация Второй теоремы Геделя утверждает, что никакая достаточно сильная формальная система не может доказать своей собственной непротиворечивости. При этом остается неясным, какой смысл придается понятию непротиворечивости и какими средствами оно эксплицируется. Ауэрбах уточняет эти вопросы, говоря о двух тезисах:

(PET – Positive Expressibility Thesis): Невыводимое (в теории T) предложение Второй теоремы о неполноте выражает непротиворечивость.

¹ <https://pdfs.semanticscholar.org/f78b/795ae47c887516fba9b902d11eba87cb01b0.pdf>

(NET – Negative Expressibility Thesis): Никакое выводимое (в теории T) предложение не выражает непротиворечивости [13. P. 79].

Учитывая наличие девиантных определений непротиворечивости, можно сказать, что NET не выглядит вполне обоснованным тезисом. Больше того, М. Детлефсен представил аргументацию, что этот тезис не может быть обоснован [14]. Его аргументация касается как раз обоснованности условий выводимости Гильберта – Бернайса. В частности, он рассматривает вытекающий из этих условий принцип

Если $\vdash_T p$, тогда $\vdash_T \text{Bew}(\ulcorner p \urcorner)$
и его формализацию
 $T \vdash \text{Bew}(\ulcorner p \urcorner) \rightarrow \text{Bew}(\ulcorner \text{Bew}(\ulcorner p \urcorner) \urcorner)$.

Последнее выражение имеет модальный аналог $\vdash \Box p \rightarrow \Box \Box p$. Детлефсен не считает, что оно является необходимым в качестве условия корректной выводимости предикатов [13. P. 80].

Мы видим, что опять-таки итерирование модальных операторов оказывается одной из причин интенциональности Второй теоремы о неполноте. Эта теорема вызвала к жизни не только значительные модификации теории доказательства, но и проложила мост к пониманию путей от неформальной математики к формализации ключевых понятий, играющих основную роль в философии математики.

Литература

1. *Feferman S.* Arithmetization of Metamathematics in a General Setting // *Fundamenta Mathematicae*. 1960. Vol. 49. P. 35–92.
2. *Kreisel G.* On the Problem of Henkin // *Proceedings of Netherland Academy of Science*. 1953. Vol. 56. P. 405–406.
3. *Detlefsen M.* On Interpreting Gödel's Second Incompleteness Theorem // *Journal of Philosophical Logic*. 1979. Vol. 8. P. 297–315.
4. *Auerbach D.* Intensionality and the Gödel Theorem // *Philosophical Studies*. 1985. Vol. 48. P. 337–351.
5. *Smith P.* An Introduction to Gödel's Theorems. Second Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2013.
6. *Kreisel G.* Gödel's Excursion into Intuitionistic Logic // *Gödel Remembered* / ed. P. Weingartner, L. Schmetterer. Napoli : Bibliopolis, 1987. P. 65–179.
7. *Boolos G.* The Logic of Provability. Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
8. *Williamson T.* Iterated Attitudes // *Philosophical Logic* / ed. T. Smiley. Oxford : Oxford University Press, 1998. P. 85–133.
9. *Boolos G.* Gödel's Second Incompleteness Theorem Explained in Words of One Syllable // *Boolos G. Logic, Logic, and Logic*. Cambridge : Harvard University Press, 1998. P. 411–414.
10. *Smorynski C.* The Development of the Self-Reference: Lob's Theorem // *Perspectives on the History of Mathematical Logic* / ed. T. Drucker. Berlin : Birkhauser, 1991. P. 110–133.
11. *Edgington D.* Williamson on Iterated Attitudes // *Philosophical Logic* / ed. T. Smiley. Oxford : Oxford University Press, 1998. P. 135–158.
12. *Visser A.* The formalization of interpretability // *Studia Logica*. 1991. Vol. 50 (1). P. 81–105.
13. *Auerbach D.* How to Say Things with Formalisms // *Proof, Logic and Formalization* / ed. M. Detlefsen. London : Routledge, 1992. P. 77–93.
14. *Detlefsen M.* Hilbert's Program: An Essay in Mathematical Instrumentalism. Dordrecht : Reidel, 1986.

Vitaly V. Tselishchev, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation); Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: leitval@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 5–43.

DOI: 10.17223/1998863X/43/3

ITERATED MODAL OPERATORS AND HILBERT-BERNAYS DERIVABILITY CONDITIONS

Keywords: modal operator; incompleteness; intensionality; proof; derivability conditions.

In this paper, the author analyses some methods for weakening the universality of the Hilbert-Bernays derivability conditions associated with the application of modal logic to the theory of proof, in particular, in the proof of Gödel's second incompleteness theorem. The phenomenon of intensional non-equivalence of combinations of modal operators is considered as an explanation of the intensional character of Gödel's second theorem. It is shown that the cause of the appearance of deviant concepts of consistency of a formal system is the ambiguous translation of informal mathematical concepts into a formal presentation, as well as the effects of translation of formal theories with different signatures from one to another.

References

1. Feferman, S. (1960) Arithmetization of Metamathematics in a General Setting. *Fundamenta Mathematicae*. 49. pp. 35–92. DOI: 10.2307/2269834
2. Kreisel, G. (1953) On a Problem of Henkin's. *Proceedings of Netherland Academy of Science*. 56. pp. 405–406. DOI: 10.2307/2268627
3. Detlefsen, M. (1979) On Interpreting Gödel's Second Incompleteness Theorem. *Journal of Philosophical Logic*. 8. pp. 297–315.
4. Auerbach, D. (1985) Intensionality and the Gödel Theorem. *Philosophical Studies*. 48. pp. 337–351. DOI: 10.1007/BF01305394
5. Smith, P. (2013) *An Introduction to Gödel's Theorems*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Kreisel, G. (1987) Gödel's Excursion into Intuitionistic Logic. In: Weingartner, P. & Schmetterer, L. (eds) *Gödel Remembered*. Napoli: Bibliopolis. pp. 65–179.
7. Boolos, G. (1996) *The Logic of Provability*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Williamson, T. (1998) Iterated Attitudes. In: Smiley, T. (ed.) *Philosophical Logic*. Oxford: Oxford University Press. p. 85–133.
9. Boolos, G. (1998) *Logic, Logic, and Logic*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 411–414.
10. Smoryński, C. (1991) The Development of the Self-Reference: Lob's Theorem. In: Drucker, T. (ed.) *Perspectives on the History of Mathematical Logic*. Berlin: Birkhauser. pp. 110–133.
11. Edgington, D. (1998) Williamson on Iterated Attitudes. In: Smiley, T. (ed.) *Philosophical Logic*. Oxford: Oxford University Press. p. 135–158.
12. Visser, A. (1991) The formalization of interpretability. *Studia Logica*. 50(1). pp. 81–105. DOI: 10.1007/BF00370389
13. Auerbach, D. (1992) How to Say Things with Formalisms. In: Detlefsen, M. (ed.) *Proof, Logic and Formalization*. London: Routledge. pp. 77–93.
14. Detlefsen, M. (1986) *Hilbert's Program: An Essay in Mathematical Instrumentalism*. Dordrecht: Reidel.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 141.144

DOI: 10.17223/1998863X/42/4

С.С. Аванесов

ЛИЧНОСТЬ В ПЕРСОНАЛИЗМЕ: ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ И ТРАНСГРЕССИЯ

Эксплицированы базовые позиции персонализма в сфере построения философского знания о человеке. Описана проблема определения личности как такой формы бытия, которая не поддаётся объективации. Рассмотрены теоретические и практические аспекты соотношения понятий личности и индивидуальности. Раскрыто понимание личности как трансгрессивной коммуникации.

Ключевые слова: философская антропология, персонализм, личность, индивидуальность, коммуникация.

Персонализм – это термин, которым обозначают одно из специфических направлений в философской антропологии. Это направление исповедует установку на понимание человека как *личности*; при этом личность интерпретируется как институция (порядок бытия), не сводимая ни к природе, ни к социуму, но определяющая себя в трансцендирующем общении с Абсолютной Личностью. В персоналистической философии человеческая личность признаётся такой реальностью, которая имеет высшую ценность, а вся реальность, в свою очередь, полагается производной от личной творческой активности Абсолюта: «Философская система, утверждающая основное и центральное положение личного бытия в составе мира, может быть названа *персонализмом*» [1. С. 284]. В противовес любым разновидностям позитивистского мировоззрения персонализм как «теистическое» направление в философии человека ориентирует антропологию на признание первичного значения личности в сравнении с производным значением «всеобщего» («универсального») устройства или порядка, стараясь преодолевать любое понимание реальности, грозящее редукцией конкретного единичного существования в пользу имперсональной тотальности.

Формула «Познай самого себя», по словам Э. Мунье, «явилась первым революционным призывом персоналистского содержания» [2. С. 13]. В качестве ответа на этот призыв сложился персоналистический ракурс философского человекознания, заданный, безусловно, *христианским* мировоззрением и обнаруживаемый ещё в текстах периода патристики¹. Современный персонализм «отнюдь не новое изобретение»; мир личности – «это универсум человека, и было бы странным, если бы до наступления XX в. никто не занялся

¹ Персонализм «укоренён на почве давней традиции», пишет Э. Мунье, имея в виду христианство [3. С. 460].

его исследованием, пусть даже используя другие понятия» [3. С. 460]. Философский же термин «персонализм» имеет относительно недолгую историю; считается, что это слово впервые употребил в 1799 г. Фридрих Шлейермахер в «Речах о религии» [4. С. 23]. Литературным «предтечей» персонализма можно считать Ф.М. Достоевского. Прямые предпосылки религиозно-философского персонализма обнаруживаются в программных сочинениях Сёрена Кьеркегора [5. С. 489], а в начале XX в. – в произведениях Шарля Ренувье («Le personnalisme», 1903), Шарля Пеги и Николая Бердяева [5. С. 245]. Оформление персонализма как философской «школы» связывается с деятельностью группы французских католических философов во главе с Эммануэлем Мунье, сплотившейся вокруг организованного последним журнала *Esprit* («Дух») в 1932 г. В эту группу в разное время входили (или сотрудничали с ней) Жан Лакруа, Поль-Луи Ландсберг, Морис Недонсель, Габриэль Мадинье, Дени де Ружмон, Жан-Мари Доменак, Поль Рикёр, Мишель Дюфрен, Морис Мерло-Понти и Жак Маритен. В известном смысле «персоналистами» могут быть названы многие религиозные философы XX в., работавшие независимо от этой «школы», но опиравшиеся на те же (или сходные) религиозно-мировоззренческие и эпистемические предпосылки. К таковым можно отнести русских философов Л.П. Карсавина [6, 7], Льва Шестова, В.В. Зеньковского [8], Владимира Лосского и, с некоторой условностью, отца последнего – Н.О. Лосского [9]. К представителям персонализма причисляют также Макса Шелера [4. С. 23], Романо Гвардини и Мартина Бубера [10. С. 63].

Оформление персонализма как философского направления отражает собой процесс, который Г.Л. Тульчинский характеризует в качестве главной тенденции философии последних двух столетий: «...от онтологии к гносеологии и далее через аксиологию и культурологию к персонологии» [11. С. 218]. На *онтологическом* этапе философия, ставя вопрос о «природе бытия» (идеализм или реализм), заодно пыталась объяснить духовно-телесную двойственность человека; на *гносеологической* стадии философское мышление решало проблему соотношения объекта и субъекта, тем самым объясняя индивидуальный характер человеческого бытия; *аксиологический* этап («от феноменологии к экзистенциализму и одновременно – к герменевтике, нормативно-ценностной культурологии и постструктурализму») являет собой стадию «созревания уже собственно персонологической доминанты»; постмодернизм, в свою очередь, оказывается «предпосылкой новой персонологии и метафизики нравственности» [Там же. С. 218–219].

Несмотря на почтенный возраст персоналистической «школы», в наше время персонологический дискурс всё ещё остаётся *перспективным* и требующим разработки направлением в антропологии. К примеру, В.К. Шохин убеждён, что персоналистическая философская антропология пока ещё не существует, она может пониматься лишь в качестве «проекта». По мнению Шохина, «существование философского направления, называемого персонализмом, а также других проявлений персонологической рефлексии в философии XX в. не равнозначно ещё наличию соответствующей антропологии как специализированной области философского дискурса» [12. С. 112]. Перед философией в наше время всё ещё стоит задача построения такой антропологической программы, которая была бы релевантна личности.

Проблема определения личности

Персонализм «полагает человеческое бытие, и прежде всего внутренний мир человека, в качестве основного предмета философского анализа» [13. С. 252]. Это связано с той преимущественной значимостью, которой персоналисты наделяют личное бытие в сравнении с прочими предметами философского знания. «Центральное положение персонализма, – полагает Мунье, – это существование свободных и творческих личностей»; опираясь на это положение, персонализм «предполагает наличие в их структурах принципа непредсказуемости, что ограждает от жёсткой систематизации» [2. С. 8]. Личность, обретая в персонализме статус важнейшего «предмета» философии, оказывается свободной от законченных определений. «От нас ждут, что мы начнём изложение персоналистской философии с определения личности, – пишет Мунье. – Однако определять можно только внешние по отношению к человеку предметы, те, что доступны наблюдению»; но личность «не есть объект», она есть «то в каждом человеке, что не может рассматриваться как объект» [Там же. С. 9]. Поскольку же личность не есть объект, постольку она не определяется (и даже не обнаруживается) путём рациональной рефлексии. «Моя личность – это не моё самоосознание (*ma personne n'est pas la conscience que j'ai d'elle*)» [3. С. 306], буквально: *не то сознание, которое я имею о ней* [14. Р. 43]. Моя личность, как таковая, «всегда остаётся по ту сторону своей актуальной объективации (*au-delà de son objectivation actuelle*)», т.е. остаётся «сверхсознательной и сверхвременной (*supraconsciente et supratemporelle*), более широкой по сравнению с её видимыми мне образами, более внутренней (*plus intérieure*), чем построения, с помощью которых я подвергаю её испытанию» [3. С. 306].

Личная жизнь представляет собой постоянную борьбу с объективацией любого рода. Вслед за Н. Бердяевым Мунье говорит, что «жить как личность – значит непрерывно переходить из той зоны, где духовное оказывается объективированным (*où la vie spirituelle est objectivée*) <...> к экзистенциальной реальности субъекта (*à la réalité existentielle du sujet*)» [Там же. С. 307]. Реальный же субъект всегда больше того, что можно наблюдать или «испытывать» в качестве объекта; он всегда в той или иной степени «по ту сторону» объекта. «Личность – это не объект, пусть даже самый совершенный, который, как и всякие другие, мы познавали бы извне. Личность – единственная реальность, которую мы познаём и одновременно создаём изнутри. Являясь повсюду, она нигде не дана заранее» [2. С. 10]. В самом акте антропологического познания отрицается объективный характер личности, потому что в этом акте никогда нельзя до конца различить познающего и познаваемое. Исходное «правило» антропологии состоит в указанном неразличении антрополога и его «предмета». Следовательно, «стремление дать а priori определение личности <...> было бы нарушением нашего правила. Нам надо было бы включить в такое определение <...> философские и религиозные принципы» [3. С. 301], на базе которых строилось бы само это определение, т.е. определить и самого определяющего.

Речь о личности, таким образом, возможна только в контексте собственного переживания себя. В указанном контексте «личность (*une personne*) – это духовное существо (*un être spirituel*), конституируемое, как таковое, спо-

собом существования (par une manière de subsistance) и самостоятельностью в своём бытии (d'indépendance dans son être); она поддерживает это существование (cette subsistance) посредством принятия некоторой иерархии свободно применяемых и внутренне переживаемых ценностей (de valeurs), посредством ответственного включения в деятельность (par un engagement responsable) и постоянно осуществляемого обращения (conversion); таким образом, она осуществляет свою деятельность в свободе (dans la liberté) и сверх того развивает посредством творческих актов (à coups d'actes créateurs) своё призвание во всём его своеобразии» [3. С. 301], буквально – развивает особенность (или даже «единичность») своего призвания (la singularité de sa vocation) [14. Р. 38]. Такое понятие личности является весьма нестрогим, призванным не столько определять личность как предмет дискурса, сколько организовывать сам этот дискурс. В конечном счёте, «поскольку личность является присутствием человека (la présence même de l'homme), его конечной характеристикой (sa caractéristique dernière), она не поддаётся строгому определению» [3. С. 301]; именно личность, обнаруживая себя, актуализирует *конфликт между существованием и логическим понятием*.

Кроме того, действительная личность не является содержанием «чисто духовного опыта, отделённого от всякой разумной деятельности и чувственного мира»; она раскрывается «через имеющий решающее значение опыт (à travers une expérience décisive), предложенный каждому человеку, живущему в свободе; речь идёт не о непосредственном опыте субстанции (d'une substance), а о последовательно развивающемся опыте жизни, личной жизни (la vie personnelle). Никакое понятие (notion) не может отобразить это» [Там же. С. 301]. Иначе говоря, личность, всегда конкретна, поскольку всегда конкретен личный опыт её существования. Поэтому её нельзя рассматривать и определять «как часть некоего целого (comme partie d'un tout): семьи, класса, государства, нации, человечества» [Там же. С. 302]. Определение личности имеет отношение не столько к формулированию её строгой рациональной дефиниции, сколько «к поиску самого себя с помощью остающихся открытыми значений (se rechercher sur une signification toujours ouverte)» [Там же. С. 307], т.е. к перманентному деятельному *самоопределению*. Поэтому личность «есть живая активность самотворчества, коммуникации и единения с другими личностями, которая реализуется и познаётся в действии, каким является опыт персонализации. И ничто не может навязывать личности этот опыт или понуждать к нему. <...> Если индивид не внемлет этому зову и не вступает на путь личностной жизни, он теряет сам смысл жизни, как теряет чувствительность бездействующий орган. Тогда он ищет этот смысл в <...> бегстве от действительности» [2. С. 10–11]. Найти самого себя можно только находящим самого себя в этом нахождении.

Личность, если она и определяется, то определяется *апофатически*. «Внутренние ресурсы личности не определены заранее: то, что она выражает, не исчерпывает её, то, что обуславливает, не поработает. Существенно отличаясь от доступного наблюдению объекта, она не является ни имманентным субстратом, ни субстанцией, определяющими наше поведение, ни абстрактным принципом, руководящим нашими конкретными поступками. Всё это было бы так, если бы речь шла о способе существования объекта или об иллюзии объекта» [Там же. С. 10]. Мы находим личность там, где не можем

найти ничего *определённого*. «Здесь обнаруживается главный парадокс личностного существования: оно есть собственно человеческий способ бытия и вместе с тем должно быть нескончаемым завоеванием» [2. С. 11], т.е. созданием и присвоением этого способа. Личность всегда в будущем, она всегда ещё только *должна* стать собой. Собственно человеческий способ бытия, таким образом, никогда не есть в наличии, он *задан* человеку как то, что он должен стяжать, чтобы стать самим собой. Личность – это прежде всего «стремление быть собой» [15. С. 256].

Именно *призвание* быть самим собой составляет «самую сущность» человека¹ как «единый центр его человеческой ответственности (le centre de ralliement de ses responsabilités d'homme)» [3. С. 305]. Это призвание (la vocation) не заложено в личности a priori, но формулируется для неё в ходе свершения её жизненного опыта. «Личность (la personne) сама находит своё призвание и сама строит свою судьбу. Никто другой (personne autre) – ни человек, ни коллектив – не может брать на себя этот груз ответственности» [Там же. С. 306]. При этом призвание не есть для личности что-то окончательно ясное; поэтому им нельзя овладеть навсегда, его нельзя окончательно подчинить себе, им невозможно распорядиться. Согласно Мунье «моё осознание моей личности и её реализация всегда символичны и не завершены» [14. Р. 43]. Поэтому личность всегда есть «история» [3. С. 307], она продолжается как движение ко всё более конкретному пониманию и воплощению своего *единственного* призвания.

В этом движении к себе личность постоянно выходит за свои пределы. По словам Мунье, «реализация личности – это отнюдь не концентрация в индивиду или персональности благоприобретённых богатств, напротив, это её трансцендентность (transcendance) (или, если быть более скромным в выражениях, “трансцендирующее движение (transcendement)”), т.е. постоянное усилие *превосхождения и избавления от обладания* (un effort constant de *dépassement* et de *dépouillement*), усилие отвержения, отказа от владений, тяга к одухотворению (de renoncement, de dépossession, de spiritualisation)» [Там же. С. 306]. Этот акт трансцендирования является одновременно и «процессом избавления от обладания», и «процессом персонализации» [Там же. С. 306–307]. Cet effort de transcendement personnel constitue la qualité même de l'homme: «Это усилие личностного трансцендирующего порыва составляет собственно человеческое качество» [Там же. С. 308], фундаментальный *признак* личности.

Личность и индивид(уальность)

Персонализм предполагает «строгое различие между *личностью* (la *personne*) и *индивидом* (l'*individu*)» [Там же. С. 302]. Личность отличается от индивида как персона от персонажа. Индивид у Мунье – это множество разнообразных внешних форм активности, «различные персонажи», в которых растворяется человек, к которым он рискует свести себя; это «персонажи, роль которых я играю (personnages que je joue), рождающиеся из соединения моего темперамента и каприза (nés du mariage de mon tempérament et de mon

¹ Мунье, в отличие от его переводчика, избегает слова «сущность»; в данном случае призвание человека – это не его сущность, а «*само его бытие*», son être même [14. Р. 42].

caprice)» [3. С. 302–305]; это «движущийся во мне поток неупорядоченной и безликой множественности материи, объектов, сил, влияний – именно это мы будем называть *индивидом*» [Там же. С. 303]. Индивид стремится сделать каждую такую ролевую форму *своей*, иметь её в собственности, «в результате чего он создаёт для себя неприступную крепость из эгоизма, чтобы защищаться от неожиданностей любви», чтобы не быть ответственным *собой*. Следовательно, «распыление, алчность – вот два признака индивидуальности. Личность же – это обладание и выбор (*maîtrise et choix*), она – само великодушие. Следовательно, по своей внутренней направленности (*dans son orientation intime*) она идёт в прямо противоположном направлении по сравнению с индивидом» [Там же. С. 303].

Качество индивидности у Мунье логически связано с принципом индивидуальности: как то, так и другое оказываются предпосылкой *отдельности* человеческого бытия. Поэтому, согласно Мунье, «личность устремляется в направлении, противоположном индивидуальности. Индивидуальность – это распыление, личность – это объединение (*l'individualité est dispersion, la personne est intégration*). Воплощённый индивид – это иррациональный образ личности (*la face irrationnelle de la personne*), через который к ней поступает грязная пища, всегда более или менее смешанная с небытием (*de néant*)» [Там же. С. 304]. Опора индивида на свою отдельность влечёт разобщение, войну всех против всех: «Индивиды находят удовольствие в обеспеченности, не доверяют друг другу¹ и отвергают друг друга» [Там же. С. 311]. Поэтому «в пределе индивидуальность – это смерть (*à la limite, l'individualité c'est la mort*)» [Там же. С. 303], ибо самоутверждение есть отрицание всех других.

В реальном живом человеке индивидуальность и личность соприкасаются; в этом можно видеть «двуполярность» (*bipolarité*) человека, «диалектическую напряжённость между двумя внутренними движениями: одно – к распылению, другое – к сосредоточению (*l'un de dispersion, l'autre de concentration*)» [Там же]. В человеке мы видим «тесное переплетение духовной личности и материальной индивидуальности»: *l'étroit emmêlement de la personne spirituelle et de l'individualité matérielle*. Персонализм как бы заново обнаруживает и признаёт «воплощение личности и смысл её материальной укоренённости, не отрицая, однако, её трансцендентность (*sa transcendance*) по отношению к индивиду и материи. Только этот смысл спасает одновременно живую реальность человека (*la réalité vivante de l'homme*) и направляющую его истину» [Там же. С. 303–304]. Отсюда следует важный вывод: человека нельзя определить исключительно через внутреннее, через «дух», оторванный от его конкретного воплощения; такие определения приводят к поглощению индивидуального «духа» универсальной «духовной» субстанцией. Поэтому, согласно Мунье, «никакой спиритуализм безличного духа (*de l'Esprit impersonnel*), никакой рационализм чистой идеи не имеют отношения к судьбам человека; все они – бесчеловечные игры бесчеловечных мыслителей; игнорируя личность, даже тогда, когда они возвеличивают человека, они рано или поздно приходят к её подавлению; не бывает более жестокой тирании, чем та, которая осуществляется во имя идеологии» [Там же. С. 303].

¹ Буквально: остерегаются посторонних (*se méfient de l'étranger*).

Итак, Мунье называет *персональностью* (personnalité) «не непрерывно меняющиеся лики моей индивидуальности (le visage multiple et sans cesse changeant de l'individualité), а ту слитную конструкцию (construction cohérente), которая в каждый момент обнаруживает своё присутствие как временный результат моего усилия персонализации (de mon effort de personnalisation) <...>. Персональность интегрирует отражения и проекции индивида (intègre les reflets et les projections de l'individu), различных персонажей (les personnages divers), с которыми я себя идентифицирую» [З. С. 306]. Человек самоопределяется, когда на *личностном* уровне связывает воедино все свои разрозненные *индивидуальные* проявления и акты; такая связь – «не абстрактная систематическая унификация, а нарастающее вычленение некоторого духовного принципа жизни (d'un principe spirituel de vie), который не сводит на нет то, что интегрирует, а спасает, реализует, творчески преобразуя изнутри. Этот живой творческий принцип (principe vivant et créateur) и есть то, что в каждой личности мы называем её призванием (sa vocation)» [Там же. С. 305]. Такое призвание личность осуществляет в своём персональном самоопределении.

Личность как трансгрессивная коммуникация

Личность активна в своём самоопределении. Существовать в качестве личности – значит «развивать максимум инициативы, ответственности, духовной жизни (accéder au maximum d'initiative, de responsabilité, de vie spirituelle)» [Там же. С. 301]. При этом активность личности не стихийна, а внутренне организована: «не бывает спонтанного опыта личности» [Там же. С. 302], он всегда ориентирован и направлен. Личность, согласно Мунье, – «это непрерывное следование собственному призванию (la poursuite ininterrompue de cette vocation)» [Там же. С. 305], т.е. деятельность, организованная личным *заданием*. С позиции персонализма личность не может рассматриваться как что-то отдельное от её активности, что заставило бы полагать, будто личность может существовать в отрыве от деятельности и вне связи с ней, как некое *само-по-себе* сущее (сущность). «Очевидно, – утверждает Мунье, – что жизнь личности – это не обособление, не бегство, не отчуждение, а *присутствие* и *вовлечение* (présence et engagement). Личность – это не внутренняя отставка, не строго очерченная область, к которой извне добавлялась бы моя деятельность (mon activité). Это – активное присутствие человека во всей его целостности (une présence agissante dans le volume total de l'homme), вся его целеустремлённая деятельность» [Там же. С. 304], осуществляемая не спонтанно, а нормативным образом.

Устремлённость личности к собственному идеалу выводит её на границы и за границы самости. Основополагающий (fondamentale) опыт личности – это «опыт, протекающий в *экстремальной ситуации*» [Там же. С. 307], буквально – трагический опыт *ситуации-предела* (d'une situation-limite) [14. Р. 44]. Мир личности, существующей в ориентации на эти пределы, – это «мир, зовущий к сверхбытию, это мир надежды» [З. С. 308]. Il est rayonnement et surabondance, il est espoir: «Этот мир – сияние и изобилие, он – надежда» [14. Р. 44]. Мир личности как мир надежды – это мир свободы. «Мир объективных отношений и детерминизма, мир позитивной науки – это одновременно самый близкий, самый бесчеловечный и самый отдалённый от

существования мир (le monde le plus impersonnel, le plus inhumain, et le plus éloigné qui soit de l'existence). Личности в нём нет места (la personne n'y trouve pas de place)», потому что в нём нет свободы. «Мы говорим здесь о духовной свободе (de la liberté spirituelle). Её следует тщательно отличать от свободы буржуазного либерализма» [3. С. 309], превращающей человека в манипулируемого потребителя.

Подлинная свобода личности «состоит в том, чтобы самой обретать своё призвание (découvrir elle-même sa vocation) и свободно находить средства для его реализации. Это не свобода уклонения от действия, а свобода вовлечения в действие (une liberté d'engagement)» [Там же. С. 310]. Свобода связана с активностью, а эта активность всегда происходит (реализуется) в коммуникативном контексте. Поэтому, согласно Мунье, «свобода личности – это *вовлечение*¹. Однако вовлечение (cette adhésion) является собственно личностным только в том случае, если оно оказывается вновь и вновь возобновляемым *вовлечением в действие* (un engagement), добровольным согласием вести освободительную духовную жизнь (une vie spirituelle libératrice)» по *личной* инициативе. «Следовательно, извне личность не может получить ни духовную свободу, ни сообщество» свободных личностей [Там же]; только в своей деятельности и посредством этой деятельности она их обретает.

Личность как экзистенциальное единство собственных актов отличается в персонализме от индивида с его индивидуальностями. При этом «у личности, всегда несущей в себе психофизическую индивидуальность, имеется также и другая черта – стремление к самоотдаче, к объединению с другим и с другими, которое может завершиться принесением индивида в жертву. Если индивид стремится замкнуться в себе, то личность тяготеет к открытости» [5. С. 31]. Личность, в отличие от индивида, – это субъект. Однако, характеризуя личность в качестве «субъекта», мы должны избавиться от прежнего *закрытого* значения этого термина; в эпистемическом ракурсе персонализма субъект – «это способ духовного существования» [3. С. 307], позитивно *открытого* в сторону других и *превосходящего* себя в направлении мира. «Личность, – пишет Лакруа, – это открытость не только другим, но и *миру*» [5. С. 31]. Субъект, по словам Мунье, – это «одновременно определённости, свет, призыв, возникающий внутри существа, сила трансцендирующего движения, присущая бытию. Он не только не совпадает с субъектом биологическим, социальным или психологическим, но и непрерывно прорывает их временные рамки, чтобы призвать их к объединению» [3. С. 307]. Личность «обретает себя, только если отдаёт себя другим (ne se trouve qu'en se donnant), и путь этот ведёт к тайнам бытия (aux mystères de l'être)» [Там же. С. 311]. Вершина (или цель) этого пути – не герой, а *святой* (le saint), излучающий себя в окружающее пространство существования.

Таким образом, открытость субъекта вовне, а не его замкнутость на самом себе, есть подлинная характеристика субъектности как таковой: «...*открытость самому себе, миру и другим является первой характерной чертой подлинной личности*» [5. С. 32]. «Здесь, – утверждает Мунье, – мы оказываемся в сердцевинном парадоксе личности. Она является местом, в

¹ Точнее, у Мунье тут «соединение», «присоединение»: La liberté de la personne est *adhésion* [Mounier 2003: 46], в отличие от вовлечения – l'engagement. Оба глагола указывают на *участие* личности в развитии собственной экзистенциальной ситуации, т.е. на её *активность*.

котором пересекаются, борются, взаимодействуют напряжение и пассивность, обладание и дарение (*la tension et la passivité, l'avoir et le don*)» [14. Р. 47]. Так мы констатируем «сопричастие (*la communion*), внутренне присущее самой личности (*insérée au coeur même de la personne*), неотделимое от её существования (*intégrante de son existence même*)» [3. С. 311]. Персонализм не имеет ничего общего с субъективизмом как эгоизмом. «Центральное понятие персонализма – личность – необходимо включает в себя идею единства человека с человечеством <...>. Отсюда вытекает одно из главных требований персонализма к подлинной философии – заменить традиционную философскую тему субъект-объектного отношения на субъект-субъектное отношение, сосредоточив внимание на радикальной позиции человека в бытии – его изначальной любви к самому себе и другому человеку. Это онтологическое отношение любви, без которого ни отдельный человек, ни человечество в целом не существовали бы, есть, по персонализму, вера, и через это отношение может быть определён персонализм. Любовь, согласно философам-персоналистам, – это обязательство человека перед самим собой и всем человечеством» [4. С. 21]. На этой жертвенной сопричастности личности *всему существу* базируется действительная (солидарная) общественность, которая «отвечает потребности в подлинности, в вовлечении, в полноте (*d'authenticité, d'engagement, de plénitude*)» [3. С. 307].

В ответ на самоотдачу всякой конкретной личности общество, согласно персоналистической философии, должно утверждать её безусловную ценность для него. Персонализм настаивает на «абсолютной ценности личности (*de la valeur absolue de la personne humaine*)» [Там же. С. 301]. Что значит *абсолютный* характер этой ценности? «Мы не говорим, что личность человека – это Абсолют (хотя для верующего Абсолют – это Личность, а строгость термина заставляет сказать, что духовное может быть только личностным). <...> Мы хотим сказать, что личность, как мы её обозначаем, – это абсолютное начало (*un absolu*) по сравнению с любой другой, материальной или социальной, реальностью и любой другой человеческой личностью» [Там же. С. 301–302]. Это значит, что «никакая другая личность, а тем более никакой коллектив, никакой организм не могут на законных основаниях использовать её как средство (*comme un moyen*). Согласно христианскому учению даже Бог уважает её свободу, внутренне вдохновляя её: теологическое таинство свободы и первородного греха (*le mystère théologique de la liberté et de la faute originelle*) покоится на этом достоинстве, доверенном свободному выбору личности (*au libre choix de la personne*)» [Там же. С. 302]. Поэтому личность, согласно персонализму, «не терпит никакой материальной или коллективной мерки, всегда остающейся меркой безличностной (*une mesure impersonnelle*)» [Там же. С. 309].

Наконец, поскольку «всякая личность обладает особой ценностью (*un prix inestimable*), а для нас, христиан, ценностью бесконечной (*infini*), между личностями существует особого рода духовная тождественность (*une sorte d'équivalence spirituelle*), которая запрещает навсегда любой из них относиться к другой личности как к средству или же разделять людей на классы по наследственности, социальным значимости и положению» [Там же]. *Равенство в ценности* – это единственное социально удостоверенное равенство, которое мы можем приписать личностям, не разрушая их личностного статуса.

Если персонализм и можно назвать *философией* человека, то эта философия настолько далека от систематизма, от логической завершённости, насколько несистемна и сверхлогична сама личность. Персонализм – «это философия, но не система» [3. С. 460]. Сами творцы персоналистической философии представляют её прежде всего в качестве антропопрактики. Так, персонализм, по словам Лакруа, «является не абстрактной философией, а *решимостью реализовать личность*» [5. С. 31]. В персонализме философия человека конвертируется в практику быть человеком, обращается в рефлексивный опыт обретения себя посредством подлинно коммуникативного существования, т.е. ответственного со-бытия с другими и с Другим.

Литература

1. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М. : Республика, 1994. 432 с.
2. Мунье Э. Персонализм. М. : Искусство, 1992. 144 с.
3. Мунье Э. Манifest персонализма. М. : Республика, 1999. 560 с.
4. Вдовина И.С. Французский персонализм (1932–1982). М. : Высш. шк., 1990. 152 с.
5. Лакруа Ж. Избранное : Персонализм. М. : РОССПЭН, 2004. 608 с.
6. Карсавин Л.П. О личности // Религиозно-философские сочинения. Т. 1 / сост., вступ. ст. С.С. Хоружего. М., 1992. С. 1–232.
7. Мелих Ю.Б. Персонализм Л.П. Карсавина и европейская философия. М. : Прогресс-Традиция, 2003. 272 с.
8. Летцев В.М. Личность как средоточие мировоззренческих исканий В.В. Зеньковского // Вопросы философии. 2003. № 12. С. 140–146.
9. Половинкин С.М. Иерархический персонализм Н.О. Лосского // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 1 : Богословие. Философия, 2006. Вып. 15. С. 99–129.
10. Лобковиц Н. Что такое «личность»? // Вопросы философии. 1998. № 2. С. 54–64.
11. Тульчинский Г.Л. Постмодернизм, персонология и перспективы новой гуманитарной парадигмы // Философия XX века: школы и концепции. СПб., 2000. С. 217–219.
12. Шохин В.К. «Проект» персонологической антропологии и философия ценностей // Вопросы философии. 2002. № 6. С. 112–118.
13. Вдовина И.С. Творчество и «личностные коммуникации» во французском персонализме // Философия. Религия. Культура. М., 1982. С. 252–278.
14. Mounier E. Manifeste au service du personnalisme. 2003. URL: http://classiques.uqac.ca/classiques/Mounier_Emanuel/manifeste_service_pers/mounier_manifeste_pers.pdf
15. Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 249–350.

Sergey S. Avanesov, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: iskiteam@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 44–54.

DOI: 10.17223/1998863X/43/4

PERSONALITY IN PERSONALISM: DEFINITENESS AND TRANSGRESSION

Keywords: philosophical anthropology; personalism; personality; individuality; communication.

In this article, the basic positions of personalism in the sphere of building philosophical knowledge about the human are explicated. The author explores these positions based primarily on the philosophies of Emmanuel Mounier and Jean Lacroix. He first describes the problem of defining personality as a form of being that does not lend itself to objectification. The concept of personality in personalism turns out to be very non-strict. This concept can not define personality as a subject of anthropological discourse, but it is capable of organising this discourse itself. Personality is always a project of a person who must become himself. Therefore, personality is anytime in the future, it is never available, it is only a task for the person, his goal. Personality is primarily “the desire to be yourself” (Kierkegaard). The author also considers the theoretical and practical aspects of the relationship

between the philosophical concepts of personality and individuality. Man as an individual (individuality) is a set of “roles” that are in the state of conflict. A person as a personality is a unity in diversity, an integrative form of a person’s conscious presence in the world. Then the author explains the understanding of personality as a transgressive communication in the philosophy of personalism. Personality is active in its self-definition. In his movement to himself, a person constantly goes beyond himself. This movement is not spontaneous, but normatively organised: the freedom to be oneself acts as a guide for such a transcending movement of personality. Freedom means overcoming the limitations and “impermeability” of the individual. Personality is open to the world and to all other people. Communication of solidarity is based on this principle of existential openness and love. In such communication, any personality is perceived as an absolute value. The high level of the value of personality is affirmed by the authority of the Absolute (God), who acts as a guarantor of human freedom in making responsible decisions and choices. The author maintains that in personalism, the philosophy of the human is converted into the practice of being a person, turns into a reflexive experience of finding oneself through a truly communicative existence, that is, through a responsible co-being with others and with the Other.

References

1. Losskiy, N.O. (1994) *Bog i mirovoye zlo* [God and World Evil]. Moscow: Respublika.
2. Mounier, E. (1992) *Personalizm* [Personalism]. Translated from French. Moscow: Iskustvo.
3. Mounier, E. (1999) *Manifest personalizma* [Manifesto of personalism]. Translated from French Moscow: Respublika.
4. Vdovina, I.S. (1990) *Frantsuzskiy personalizm (1932–1982)* [French personalism (1932–1982)]. Moscow: Vysshaya shkola.
5. Lacroix, J. (2004) *Izbrannoye: Personalizm* [Selected: Personalism]. Translated from French by I. Vdovina, I. Blauberg, V. Volodin. Moscow: ROSSPEN.
6. Karsavin, L.P. (1992) *Religiozno-filosofskie sochineniya* [Religious and Philosophical Works]. Vol. 1. Moscow: Renaissance. pp. 1–232.
7. Melikh, Yu.B. (2003) *Personalizm L.P. Karsavina i yevropeyskaya filosofiya* [Personalism of L.P. Karsavin and European Philosophy]. Moscow: Progress-Traditsiya.
8. Letsev, V.M. (2003) Lichnost' kak sredotochiye mirovozzrencheskikh iskaniy V.V. Zen'kovskogo [Personality as the focus of worldview searches by V.V. Zenkovsky]. *Voprosy filosofii*. 12. pp. 140–146.
9. Polovinkin, S.M. (2006) Iyerarkhicheskiy personalizm N.O. Losskogo [Hierarchical personalism by N.O. Lossky]. *Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Ser. I : Bogosloviye. Filosofiya – St. Tikhon's University Review*. 15. pp. 99–129.
10. Lobkovits, N. (1998) Chto takoye “lichnost'”? [What is a “personality”?]. *Voprosy filosofii*. 2. pp. 54–64.
11. Tulchinskiy, G.L. (2000) Postmodernizm, personologiya i perspektivy novoy gumanitarnoy paradigmy [Postmodernism, Personality and Perspectives of a New Humanitarian Paradigm]. In: *Filosofiya XX veka: shkoly i kontseptsii* [Philosophy of the Twentieth Century: Schools and Concepts]. St. Petersburg: [s.n.]. pp. 217–219.
12. Shokhin, V.K. (2002) “Proyekt” personologicheskoy antropologii i filosofiya tsennostey [“Project” of personological anthropology and the philosophy of values]. *Voprosy filosofii*. 6. pp. 112–118.
13. Vdovina, I.S. (1982) Tvorchestvo i “lichnostnyye kommunikatsii” vo frantsuzskom personalizme [Creativity and “personal communications” in the French personalism]. In: Tavrizyan, G.M. (ed.) *Filosofiya. Religiya. Kul'tura* [Philosophy. Religion. Culture]. Moscow: Nauka. pp. 252–278.
14. Mounier, E. (2003) *Manifeste au service du personnalisme* [Manifesto at the service of personalism]. [Online] Available from: http://classiques.uqac.ca/classiques/Mounier_Emanuel/manifeste_service_pers/mounier_manifeste_pers.pdf.
15. Kierkegaard, S. (1993) *Strakh i trepet* [Fear and Trembling]. Translated from Danish by S. Isayev, N. Isayeva. Moscow: Respublika. pp. 249–350.

УДК 316.42

DOI: 10.17223/1998863X/43/5

И.Б. Ардашкин

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК ФЕНОМЕН: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ И ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ. ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УМНЫМИ?¹

Осуществляется концептуальный анализ подходов к понятию смарт-технологии через соотношение смарт-технологий с другими видами технологий (цифровые технологии, информационные технологии, конвергентные технологии и т.д.). Делается вывод о статусе смарт-технологий по отношению к другим технологиям, аналогичный категориальному уровню мировосприятия в философии по отношению к другим понятиям. Отмечается сложность выбора оснований для более точного определения смарт-технологий. Обосновывается, что особенностью смарт-технологий является их способность выполнять функции субъекта. Доказывается, что в силу многообразности и неопределенности этих функций субъекта опасно полагаться на смарт-технологии в их «умном» воздействии без соответствующей подготовки общества.

Ключевые слова: смарт-технологии, информационные технологии, конвергентные технологии, категория, субъект, функции субъекта.

Смарт-технологии – это понятие, которым сегодня различные авторы стремятся обозначить самые современные технологические разработки, применяемые повсеместно (экономика, управление, культура, социум, образование, наука и т.д.) и обладающие определенными качествами, которые на русском языке можно назвать как «умные». Такое название предполагает, что эти технологии помимо собственно технологического (тавтологический трюизм) предназначения обладают дополнительными качествами, ставящими их на более высокий уровень, чем обычные технологии. Они имеют также большое количество похожих наименований (конвергентные технологии, NBIC (NBICS)-технологии, информационные технологии, информационно-коммуникационные информации, цифровые технологии и т.д.). При таком обилии терминологии не всегда понятно, об одном ли феномене идет речь или о разных; есть ли какие-то нюансы в разном употреблении понятий, которые имеются в виду в одном случае и опускаются в другом; в чем заключается специфика рассматриваемых технологий в принципе и какие изменения они приносят в жизнь человека, общества, экономики, науки, образования и т.д.

Поставленные вопросы, с одной стороны, предполагают поиск решений, позволяющих нам определиться в отношении статуса смарт-технологий в жизни общества, с другой – высока вероятность того, что сегодня у нас недостаточно оснований получить исчерпывающие ответы на эти вопросы.

Концептуальное осмысление смарт-технологий как феномена современного мира является одним из подходящих способов исследования данной те-

¹ Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-013-00192.

мы. Кроме того, философский анализ как проблематизация очевидных положений (суждений) позволяет видеть больше, чем использование методов исследования других типов познания и мировосприятия. Именно благодаря этому способу познавательной активности мы можем с полным правом задать вопрос, а являются ли умные (смарт) технологии действительно умными или все-таки здесь имеет место привнесенный смысл, больше выражающий желаемое положение дел, нежели реальное.

Представленное проблемное поле важно исследовать в контексте философского анализа и концептуализации еще и по причине того, что один из форматов смарт-технологического плана – цифровой – официально заявлен, в частности, российскими президентом и правительством в качестве ключевого направления развития Российской Федерации. Речь идет о создании необходимых условий для цифровой экономики в нашей стране, «в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет» [1. С. 1]. Предполагается, что в основе цифровой экономики будут использоваться цифровые технологии, перечень которых в программе четко определен: «большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорики; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей» [Там же. С. 3]. Представлена цель создания цифровой экономики, которая направлена «на создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами» [Там же. С. 1].

При этом в программе правительства признается, что в области цифровой экономики Россия достаточно отстает от ведущих стран, занимая 43-е место на 2016–2017 гг. Это отставание проявляется как в технологическом, так и в социальном, методическом, управленческом и т.д. планах. Важным моментом этой программы, на который бы хотелось обратить внимание, является то, что она сформирована с позиции интересов государства, а не общества. Об этом можно судить, поскольку в ней не ставятся задачи достижения тотальной цифровой грамотности, а только в отношении определенных позиций (выпускники вузов по соответствующим специальностям – 120 тыс. человек в год; выпускники вузов и профессиональных заведений среднего образования – 800 тыс. человек в год; доля населения, пользующаяся цифровыми технологиями – 40% и т.д.) [Там же. С. 17].

Такая концепция программы представляется достаточно формальной, если смотреть на проблему распространения и использования смарт-технологий (цифровых технологий) в контексте их понимания в мире. И это автор попытается продемонстрировать в рамках статьи.

С одной стороны, нельзя не признать важность избранной темы и наличие такого рода правительственной программы в отношении смарт-технологий (в варианте правительства, цифровых технологий). С другой стороны, нельзя не понимать, что без серьезного обсуждения этой темы, без существенной практики применения подобных технологий в жизни человека и общества, без серьезной трансформации самого общества, его философии и ценностных приоритетов процесс развития смарт-технологий в нужном направлении и необходимой степени состояться не сможет. Не сможет состояться потому, что исключительно технологическое его продвижение не приведет к повышению качества жизни, с чем, как повсеместно (и у нас в стране, и за границей) заявляют исследователи, связана основная цель их генерирования и эксплуатации. А такое впечатление, что именно технологическая сторона является приоритетной в программе правительства, оставляют критерии и индикаторы выполнения программы, представленные в ней. Здесь как раз количественная сторона технологического процесса доминирует. Можно сделать скидку на то, что для таких документов подобный формат оценки обязателен, но если соотнести заявленные цели и индикаторы их оценки, то они обозначены в разных измерениях: цели предполагают качественные социальные изменения, а индикаторы оценки выполняемости программы – количественные. Это противоречие можно проиллюстрировать, например, следующим образом: непонятно, откуда появилась цифра 120 тыс. человек в год (а это количество выпускников вузов по специальностям, связанных напрямую с цифровыми технологиями) и почему именно такое количество выпускников должно привести к каким-то качественным изменениям в отечественной экономике и обществе. Как из них в дальнейшем произойдет качественная трансформация, остается только додумывать и полагаться на действие одного из диалектических законов о переходе количественных изменений в качественные и наоборот.

Напрашивается ассоциация, имевшая место в отечественной истории, связанная с генезисом науки в нашей стране. В свое время император Петр Первый, как глава государства, почувствовал необходимость создания науки и предпринял необходимые действия. Любопытно то, что российское общество того времени было абсолютно не готово к этому. Наука стала развиваться посредством приобретения зарубежных знаний и технологий, приглашения (фактически покупки) иностранных ученых, которые в первую очередь должны были обеспечить эксплуатацию поступаемых знаний и технологий, а также готовить специалистов научного профиля из представителей коренного населения. Собственно, такой подход во многом и обусловил особенность развития науки в России, когда последняя была важна прежде всего как сфера, связанная с технологическими и оборонными функциями государства, тогда как в вопросе качества жизни населения наука играла вторичную роль (это не являлось и не является приоритетом для науки ни ранее, ни сегодня) [2].

Аналогичные процессы происходят и со смарт-технологиями (цифровыми технологиями), которые в программе правительства нацелены на решение государственных задач, из которых каким-то образом должно проистекать и решение общественных интересов. При этом генерирование собственных смарт-технологий (цифровых технологий) не обозначается, что предполагает приобретение последних у более развитых стран.

В сложившейся ситуации автор статьи видит глубокое противоречие, обусловленное недоосмыслением понятия и природы смарт-технологий, а следовательно, определенным перекосом технологической стороны развития этих технологий, игнорированием осознания того, что этот процесс имеет и важную социальную, этическую, психологическую и т.д. стороны. Именно по причине того, что проблема понимания и применения смарт-технологий имеет междисциплинарное наполнение, собственно философский анализ темы позволяет в наиболее полном виде выразить эту полидисциплинарность. Очень многие аспекты исследования смарт-технологий связаны с философскими вопросами.

В западной литературе, где степень разработанности рассматриваемой темы существенно выше, всегда стремятся обратить внимание именно на социальные, образовательные, философские составляющие применения смарт-технологий. В частности, как пишут Х.Л. Караско-Саец, М.К. Баттер, М.Г. Бадилла-Квинтана о смарт-технологиях (на примере смарт-города), «в нынешнюю эпоху происходят большие перемены, в которых взаимосвязанные общества требуют новых способов определения того, что такое общество, человеческое взаимодействие и образование... Мы сталкиваемся с кризисом основ мышления, философского знания и научного знания, поскольку они требуют новых определений. Эти изменения будут неуклонно влиять на культурную уникальность и некоторые аспекты глобальной культуры» [3]. Поэтому без серьезного анализа и привлечения различных специалистов (социологов, психологов, экономистов, лингвистов, нейрофизиологов, представителей технических наук и т.д.) решить рассматриваемую проблему будет сложно.

В отечественной литературе также имеет место признание такой необходимости. В частности, Д.В. Горбунов, А.Ю. Нестеров, анализируя технологическое будущее России и его перспективы, отмечают, что «проблема развития как вопрос о будущем – это предмет философского знания, проблема учёта воздействия технологий на состояние социума – предмет социологии. Проблема собственно технологического развития не может быть решена без привлечения историков техники и науки. Наряду со специалистами естественно-научного и инженерно-технического профиля, способными продемонстрировать горизонты и конкретные ступени инновационного развития, к дискуссии оказались привлечены специалисты гуманитарного профиля, способные показать историю, границы интерпретации и метафизические перспективы используемых понятий и концептов» [4. С. 61].

Обращаясь к понятию смарт-технологии, а также к схожим понятиям (информационные технологии, информационно-коммуникационные информации, цифровые технологии, NBIC (NBICS)-технологии, конвергентные технологии), можно утверждать, что они близки по сути, но не тождественны. Близки, поскольку обладают современной материально-технической и технологической основами. Не тождественны, поскольку имеет место технологическая и смысловая несовпадаемость.

Эти различия можно продемонстрировать следующим образом. Так, цифровые технологии – это технологии, основывающиеся на особом (дискретном) способе передачи сигнала (информации). Информационные технологии – это технологии, которые представляют собой процессы и способы

поиска, хранения, передачи и т.д. информации. Они могут быть как цифровыми, так и нецифровыми (аналоговыми, например). Информационно-коммуникационные технологии – это информационные технологии, которые выступают не только в качестве процесса и способа поиска, хранения, передачи и т.д. информации, но и коммуникации. Конвергентные технологии – это технологии, в процессе использования которых целенаправленно или случайно возникает эффект эмерджентности, когда общий эффект применения данных технологий больше по результату, чем эффект частей его составляющих. В частности, NBIC (NBICS)-технологии (нано-, био-, инфо-, когно-, социотехнологии), информационно-коммуникационные технологии – это наглядный пример конвергентности различных технологий. Данное описание показывает схожесть рассматриваемых технологий и в то же время их дифференцированность.

Смарт-технологии – это понятие, которое по критерию объема включает все вышеперечисленные технологии в свое содержание. Но одновременно это понятие может быть охарактеризовано и по признаку, с помощью которого мы определяем специфику остальных типов технологий. Те же смарт-технологии могут считаться конвергентными, информационными, информационно-коммуникационными и т.д. Смарт-технологии – это такой уровень развития технологий, который можно было бы сравнить с уровнем категорий в философии и логике. Как в свое время Аристотель с помощью категорий выводил все возможные способы рационального описания мира, так и сегодня смарт-технологии – это способ выражения предельно возможного развития технологий, посредством которого мы обозначаем максимальные границы человеческих способностей, своеобразный категориальный уровень технологической эволюции.

Одной из особенностей определения категорий являлась тавтологичность. Уровень абстракции таких способов схватывания действительности в понятиях не позволяет подобрать слова, с помощью которых его можно было бы обозначить, за исключением уже используемых слов. Эти понятия фактически нельзя определить, если не прибегать к тавтологии. Как пишет, Ю. Дмитриев, «из специфики предметного значения философских категорий следует, что каждая такая категория принципиально „индефинитивна“: применительно к ней невозможно логически-корректно сформулировать дефиницию – определение, в дефиниенс которого так или иначе не входил бы дефиниендум: всегда фактически получается *idem per idem*. При любом суждении о любой категории каждая из них уже неявно используется, и лишь вся система категорий во всех их взаимосвязях является „определением“ каждой из них. Логическая же форма „самих по себе“ категорий в этом плане сводится к до-логической „тавто-логичности“ мысли как понятия и понятия как мысли: предметно-экспрессивно-смысловое значение категорий в каждом из этих моментов автореферентно – „сущее есть сущее“, „бытие есть бытие“ и т.д. В этом кроется изначальная парадоксальность подлинно философского дискурса: из сугубо „бессодержательных“ („тавтологичных“) понятий-категорий каким-то образом возникает сугубо содержательное понятийно-категориальное целое» [5].

Подобную же особенность мы обнаруживаем и в отношении смарт-технологий. Они не имеют таких характеристик по отдельности, на основа-

нии которых можно было бы четко определить, что такая технология относится к типу «смарт». Поэтому, например, информационные технологии могут быть смарт-технологиями, но могут и не быть, поскольку информационный характер последних не может быть определяющим. При этом смарт-технологии не могут не быть не информационными технологиями, это одна из их важнейших составляющих. В то же время простая совокупность таких составляющих характеристик не является основанием для их признания в качестве смарт-технологий.

Именно данные особенности сущности смарт-технологий затрудняют возможности более четкого определения данного феномена. Отсюда и многообразие способов дефиниций смарт-технологий, и их разнообразие. Об этом автор уже писал (см.: [6. С. 33–35]).

Такой «категориальный» характер смарт-технологий по отношению ко всем технологиям предполагает повсеместность распространения данных технологий, неограниченный характер их применения. Ведь что мешает сделать любую вещь или любой процесс смарт-вещью или смарт-процессом? Сегодня невозможно найти причины, по которым нельзя превратить что-либо в смарт. В литературе пишут о смарт-одежде, о смарт-еде и смарт-питании, о смарт-медицине и смарт-лекарствах, о смарт-бытовых приборах, смарт-управлении, смарт-поведении, смарт-образовании, смарт-отдыхе (досуге) и даже о смарт-человеке. Список всего, что можно рассматривать как смарт, можно продолжать дальше. Фактически подобный повсеместный способ применения характеристики «смарт» говорит о каком-то особенном онтологическом измерении действительности, включающем все известные измерения, но при этом добавляющем нечто особенное. Определить это нечто особенное на данный момент сложно в силу уже обозначенной выше характеристики – тавтологичности.

Вопрос заключается в другом, а что это дает, каков смысл придания вещи или процессу состояния «смарт». С точки зрения автора, смысл придания вещи, явлению или процессу состояния «смарт» заключается в том, что это позволяет технологиям, связанным с этими вещами, явлениями, процессами, придать статус субъекта, привнести элементы субъективности. То есть как представление мира в виде субъекта и объекта позволяло делить его на активное познающее и преобразующее начало и другое пассивное и преобразуемое начало, так и придание технологиям статуса «смарт» позволяет им не только осуществлять какое-то воздействие, закладываемое разработчиком, но и самостоятельно контролировать характер данного воздействия, управлять им, не прибегая к помощи разработчика, находиться в автономном режиме функционирования.

В этом плане напрашивается параллель по отношению к человеку. Ведь в истории философии человек далеко не сразу обрел статус субъекта и качества субъективности. До определенного времени у него не было такой необходимости. Такая необходимость появилась тогда, когда человек непосредственно начал не только познавать, но и преобразовывать окружающий мир. Для этого ему потребовалось найти такой способ самопроявления, в котором данная активность смогла бы в наибольшей степени реализоваться. И этим способом стала субъектно-объектная форма выражения мира. Как пишет А.Н. Ильин, «в сущности, времена античности и средневековья можно объединить в эпо-

ху, для которой уместно название «премодерн». В первый период этой эпохи (древность) акцент ставился на космосе, а во вторую внимание уделялось богу. Но ни в тот, ни другой периоды субъекту как человеческому существу не находилось места.

В эпоху Нового времени человек остается противопоставленным природе, но идея бога теряет актуальность, и активность бога как субъекта переходит на активность человека как единственно возможного субъекта. Человек остается наедине с природой, которая является объектом познания, и человек становится познающим субъектом» [7].

Можно даже сказать, что появление субъективного измерения человека – это и есть первая технология, в которой становится возможным появление статуса «смарт». Только в результате появления такой технологии человек как субъект все больше и больше начинает себя противопоставлять окружающему миру.

Однако познавательная функция, которая фактически и привела к появлению субъекта, не является единственной функцией, способствующей проявлению субъективности. Таких функций может быть много. Это и правовая функция, и этическая, и жизненная, и т.д. Например, для экзистенциализма как направления философии субъект важен не как источник познавательной деятельности, а как источник жизненной активности. По А.Н. Ильину, «экзистенциализм обращает внимание прежде всего на субъекта, живущего с его переживаниями, чувствами и страданиями, а основным проявлением субъектности выступает жизнь, существование, в которой человек реализует свою сущность» [Там же].

Современное понимание субъективности наполнено большим количеством составляющих, где познавательное начало важно, но уже не является определяющим. Главное, что можно выразить через функцию субъекта, – это то, что он определяет состояние окружающего мира и самого себя как в негативном, так и в позитивном смыслах. Определяет как непосредственно, так и опосредованно через научно-технические и технологические инструменты.

В современном мире научно-технологическое развитие достигло такой стадии, что уже сами технологии, посредством которых мы стремимся определять этот мир и им управлять, также стали нуждаться в функции субъекта. И собственно смарт-технологии как аналог категориального способа миропонимания в философии свидетельствуют о подобной трансформации. Собственно, параллель относительно человека как субъекта и предполагала демонстрацию того, что на определенном уровне технологического развития последний столкнется с необходимостью обретения используемыми технологиями таких измерений, в которых будет заложена функция субъектности, и именно эту специфику их эволюции начнут интерпретировать как «смарт». Как обозначила этот аспект Е.А. Никитина, «создание роботов с целенаправленным поведением, умеющих различать объекты внешней среды и воздействовать на них, обладающих определенными интеллектуальными способностями и управляющими системами, способных решать задачи общего характера, в философском аспекте может быть представлено как техническая реализация определенных интеллектуальных способностей человека и сборка „субъекта“» [8. С. 34].

Действительно, смарт-технологии сегодня напрямую связываются с человеком, с аналогиями его представленности в процессе их функционирования. Постоянно демонстрируется «человеческая составляющая» в содержании и функционировании смарт-технологий. Особенно явно и сущностно эту онтологию смарт-технологий описали Д.В. Горбунов и А.Ю. Нестеров. Эти авторы выявили три онтологические природы технологий. И именно посредством дифференциации этих трех онтологий им удалось продемонстрировать специфику технологий третьей природы (на языке статьи – смарт-технологий) – ее субъектно-ориентированность. Д.В. Горбунов, А.Ю. Нестеров отмечают, что «в условиях первой природы техника была удовлетворением физических потребностей человека. Оппозиция искусственного и естественного подразумевала, что сфера искусственного постепенно замещает естественную среду: формы человеческой жизни определялись научным познанием как выявлением законов природы и применением научного знания для реорганизации среды обитания. К середине XX в. оппозиция естественной природы и искусственной среды, выстраиваемой человеком за счёт научно-технического прогресса в целях улучшения качества своей жизни, была разработана в деталях. В условиях второй природы человек рождается и живёт в искусственной среде, где физические потребности уже удовлетворены. Техника создаёт артефакты в сфере рассудка, перемещая оппозицию естественного и искусственного вовнутрь самого человека, реорганизуя не столько внешнюю среду обитания, сколько навыки принятия решений, процедуры получения, обработки и передачи информации. Во втором десятилетии XXI в. ... на оппозицию искусственной среды и естественного природного окружения накладывается оппозиция между искусственным первого порядка, затрагивающим только физические объекты, и искусственным второго порядка, затрагивающим процессы рассудочной обработки информации. В условиях третьей природы возникают искусственные объекты третьего порядка, удовлетворяющие духовные потребности человека, т.е. снимающие неполноту и неопределённость в сфере рефлексии, самопознания и воображения» [4. С. 64].

Смарт-технологии нацелены на удовлетворение не только физиологических, социальных потребностей, но и духовных, культурных. Субъектность в этих технологиях включает в себе не только познавательную, жизненную, поведенческую активность, но также культурные, духовные ориентиры и потребности. Данные технологии должны предупреждать те негативные моменты, которые появились в процессе использования технологий предыдущих типов: экологические, технократические, аксиологические и т.д. аспекты.

Природа смарт-технологий носит сложный характер: здесь и элементы естественной (природной) среды, и искусственной (виртуальность и т.п.), одновременно подразумевается наличие субъективной составляющей в плане целеполагания, определений счастья/несчастья, этических и моральных оценок, интеллектуальной составляющей и т.д. Как уточняет Е.А. Никитина, рассуждая о содержании генезиса смарт-технологий, «необходимо отметить важность гуманизации техники и развития когнитивной культуры как эффективной технологии преобразования информации в знание в соответствии с целями человеческой деятельности. Формирование когнитивной культуры является одной из существенных задач системы образования. От сферы высшего образования об-

щество должно получать не просто профессионала, но и человека, обладающего навыками аналитического, критического, рефлексивного мышления, знающего методологию и умеющего применять методы, владеющего навыками коммуникации, диалога, взаимодействия с другими людьми на основе этических норм, умеющего принимать обоснованные решения, т.е. человека высокой интеллектуальной, духовной культуры, активного, свободного, ответственного субъекта» [8. С. 37].

Сложная природа смарт-технологий сказывается и на человеке, его потребностях, характеристиках субъективности. Человек порой не бывает способен в полной мере представить весь комплекс собственных проявлений, полагая, что смарт-технологии могут позволить компенсировать его неспособность и помочь сориентироваться в собственных приоритетах. Как пишут Х.Л. Караско-Саец, М.К. Баттер, М.Г. Бадилла-Квинтана, характеризуя новую пирамиду потребностей для человека, живущего в смарт-городе, на основе пирамиды А. Маслоу, естественный круг этих потребностей дополняется целым перечнем других потребностей. «Эти новые потребности увеличиваются с растущей способностью людей связываться с обществом и культурой в той мере, в какой большее количество предметов, понятные технологически как природные системы, чрезмерно сложные и вероятностные, связаны с другими людьми или учреждениями, использующими автоматизированные средства связи, в этих новых коммуникационных взаимодействиях, в принятии новых решений и контрольных решений для целей. Эти процессы, относящиеся к постмодернистскому миру, требуют новых навыков и растущего удовлетворения новых потребностей в создании двумерного профиля цифрового гражданина. Эти уровни сложности возрастают от предметов местной культуры до глобальной культуры» [3. С. 37].

Субъектность, без которой, как следует из описаний того, что такое смарт-технологии и как они работают, невозможно понять предназначение и способ функционирования последних, предстает как их неотъемлемая характеристика. По крайней мере, разработчики смарт-технологий, их пользователи полагают, что они действительно достигли такого уровня технологического развития, когда технологии способны нести в себе функции, свойственные субъекту. Е.А. Никитина даже пытается обозначить перечень функций, который присущ субъекту и который смарт-технологии могут реализовывать. Это «(1) способность выделять существенное в наличных данных и знаниях и упорядочивать их...; (2) способность к целеполаганию и планированию поведения; (5) способность к аргументированному принятию решений, использующему упорядоченные знания (представление знаний) и результаты рассуждений, соответствующие поставленной цели; (6) способность к рефлексии – оценке знаний и действий; (7) наличие познавательного любопытства: познающий субъект должен быть способен задавать вопрос «что такое?» и искать на него ответ; (9) способность к синтезу познавательных процедур, образующих эвристики решения задач и рассмотрения проблем; (12) способность к созданию целостной картины относительно предмета мышления, объединяющей знания, релевантные поставленной цели (т.е. формирование приближенной «теории» предметной области); (13) способность к адаптации в условиях изменения жизненных ситуаций и знаний, что означает коррекцию «теории» и поведения» [8. С. 33–34].

Представленный перечень демонстрирует серьезный уровень реализации функций субъекта, закладываемых в смарт-технологии их разработчиками. Даже существует понимание того, что все это осуществляется. И в то же время остается ощущение, что подобные характеристики, закладывая функции субъекта в технологические процессы, в полной мере субъекта не замещают. И проблема здесь не в том, что технологии в чем-то недоработаны, а в том, что сам по себе субъект и его субъективность по природе таковы, что не могут быть замещены в принципе. Что все эти трансформации больше несут метафорический, нежели действительный характер.

Ведь становление человека как субъекта в эпоху Нового времени изначально проходило, как уже отмечалось, под познавательным (мыслительным) уклоном. То есть субъект как функция в большей степени способствовал выполнению когнитивных (мыслительных) задач человека (общества). Другое дело, что в процессе рефлексии над субъектностью выяснилось, что эта функция вполне может выполнять и другие функции некогнитивного характера: эмоциональные, ценностные, экзистенциальные и т.д. Более того, встал вопрос о том, насколько субъект саморефлексивен, насколько он способен познавать себя. Ведь для этого ему придется осуществить процедуру раздвоения, выступить одновременно в качестве и субъекта и объекта. А эта процедура, к сожалению, будет лишать человека того основания, от которого бы он мог оттолкнуться как в познании (мышлении), так и в других формах своей активности (существовании, свободе выбора, этических предпочтениях и т.д.). Как подмечает А.Н. Ильин, обращаясь к анализу понимания субъекта и его природы у И. Фихте, «но возникает вопрос: как может субъект мыслить самого себя, то есть становиться своим собственным предметом? И.Г. Фихте отмечал: для того, чтобы познать свое сознание, субъект должен превратить его в предмет нового сознания, а значит, к самосознанию прийти невозможно, так как такая процедура уходит в бесконечность» [7].

Иными словами, стремясь привнести в природу смарт-технологий функции субъекта, человек сам не в полной мере представлял всю сложность такой задачи. Как в случае с познанием (мышлением), где субъект играет наиболее ясную и понятную роль (правда, до тех пор, пока мы не обращаем его к самому себе), когда речь ведется о когнитивных, информационных, отчасти коммуникативных функциях последнего в рамках смарт-технологических разработок, здесь, как правило, и не возникает каких-то сложностей и эти технологии функционируют достаточно эффективно, тогда как в иных обстоятельствах степень этой эффективности снижается. Как пишет Е.А. Никитина, «активный, деятельный, творческий субъект – символ целостной, ответственной и свободной личности. Возникает закономерный вопрос: в условиях техногенной цивилизации, когда технологии информационного общества и сама логика развития технических систем постепенно вовлекают сферу познания, духовность в технологический круговорот, не превратится ли субъект в сумму технологий?» [8. С. 33].

И как показывает практика, духовная составляющая человека в меньшей степени подвержена не только технологизации, но и «смартизации». Собственно, там, где возникает необходимость осмысления и практического осуществления феноменов духовного плана (таких как смысл жизни, счастье, свобода выбора и т.д.), там в меньшей степени получается привлечь техноло-

гии даже смарт-уровня. Не случайно исследователи потребностей человека как цифрового гражданина подчеркивали необходимость сочетания одновременно двухуровневых потребностей: традиционных и виртуальных (см. выше). Недооценка традиционных потребностей человека и степени их удовлетворения может создать существенные проблемы в случае реализации его виртуальных потребностей, таких как неспособность к саморефлексии, социальная неполноценность, компьютерная зависимость и т.д. О.В. Джиган считает, что развитие современных сетевых технологий (один из видов смарт-технологий) «чревато утратой идентичности личности. Без должной самоидентификации и социализации человека в глобальном масштабе, осложняемой подвижностью виртуального пространства, анонимностью и созданием фальшивых субъектов общения, весьма вероятно гибель личности в сетевую эпоху. Ощущение духовной и душевной пустоты, возникающее в результате такого фиктивного общения, люди стараются заполнить путем создания еще большего количества виртуальных контактов. Однако бесконечно это продолжаться не может, поскольку интернет- и компьютерная зависимость порождает агрессию, разрушает духовный мир человека и его социальные отношения. В связи с этим в эпоху сетевого общества необходима философская рефлексия комплекса рассмотренных проблем» [9. С. 114].

Будучи более осторожным в оценках последствий, нежели цитируемый автор, не могу отрицать тенденции рисков, им обозначенных. Смарт-технологии (в смысле «умные технологии»), обретая функции субъекта и в какой-то мере замещая эти функции у человека, не должны ни в коей мере, как это часто в литературе и в жизненных практиках видим, подменять их полностью. Наличие «умных технологий» не должно снимать ответственности с человека оставаться субъектом. Более того, для использования «умных» технологий (смарт-технологий) необходимы «умные» люди, в противном случае эффект от применения смарт-технологий будет существенно снижен, а применение таких технологий неподготовленными людьми нецелесообразно. Иными словами, смарт-технологии не делают людей умными, даже если они способны выполнять многие функции, которые порой выполнить не под силу отдельным людям или группам. Как тонко подметил А.В. Нестеров, «словосочетания, содержащие слова „смарт“ или „умное“, например „умное“ регулирование, смарт технология или смарт общество, пока еще не имеют общепризнанных научно обоснованных значений, а их определения носят метафоричный характер. Однако необходимо искать показатели, которые могут позволить измерять уровень интеллектуальности продуктов, продуцируемых всеми видами продуцентов, в том числе в образовании, что позволит следить за скоростью наступления так называемого смарт-общества. Хотя весьма сомнительно, что с повсеместным внедрением какого-либо инструментария общество станет более „умным“ или счастливым. Разумность общества, наверное, зависит от других факторов» [10].

Смарт-технологии демонстрируют в полной мере самый высокий уровень своего применения только в том случае, если они применяются людьми, для этого подготовленными. Поэтому не случайно, что социальные трансформации, ценностные изменения и философия жизненных приоритетов являются предметом серьезного исследования в иностранной литературе. В нашей стране речь пока идет только об осознании обозначенного аспекта

проблемы как на уровне государственного регулирования, так и на социальном уровне. Собственно, пример правительственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» эту оценку в полной мере подтверждает.

Таким образом, смарт-технологии как наименование всего перечня аналогичных технологий с другими названиями выступают в качестве своеобразного категориального уровня обозначения всех современных технологий. Это, с одной стороны, облегчает понимание природы и сущности смарт-технологий, с другой – затрудняет возможность поиска их определения в силу предельности охвата феноменов, к ним относящихся, и тавтологичности, присущей категориальному уровню обобщений. Развитие смарт-технологий подталкивается тем, что их использование предполагает максимально возможное выполнение ими функции субъекта прежде всего в когнитивно-коммуникативном плане. Другое дело, что функция субъекта носит более многообразный характер, чем когнитивно-коммуникативный аспект, обладает неопределенным характером, что затрудняет понимание того содержания, которое стоит за этим выполнением функции. В силу этого можно утверждать, что однозначная позитивная оценка смарт-технологий преждевременна, поскольку существует масса рисков от их использования в случае недостаточной подготовленности человека (общества) к их применению. Только «умные» люди (люди, подготовленные к использованию смарт-технологий) способны добиться максимального эффекта в экономическом, социальном, технологическом и т.д. планах от применения этих технологий. Сами по себе смарт-технологии людей «умными» не делают. По этой причине для применения имеющихся смарт-технологий и разработки собственных новых необходима разносторонняя подготовка общества. Россия находится только в начале этого пути и еще не в полной мере осознает данную необходимость. Хочется надеяться, что данная статья будет одним из первых шагов на этом пути.

Литература

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 28.07.2017 // Сайт Правительства России, июль 2017. URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf> (дата обращения: 30.03.2018).
2. Чмыхало А.Ю., Ардашкин И.Б. Перспективы развития науки и инноваций в современной России // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2014. № 4(28). С. 111–122.
3. José Luis Carrasco-Sáez, Marcelo Careaga Butter, María Graciela Badilla-Quintana. The New Pyramid of Needs for the Digital Citizen: A Transition towards Smart Human Cities // Sustainability. 2017. № 9, 2258. doi:10.3390/su9122258 (дата обращения: 27.03.2018).
4. Горбунов Д.В., Нестеров А.Ю. Технологическое будущее России: вызов «третьей природы» // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2017. Т. 16, № 4. С. 60–71. DOI: 10.18287/2541-7533-2017-16-4-60-71 (дата обращения: 25.03.2018).
5. Дмитриев Ю. Суть философских категорий // Философский штурм. Совместное философское творчество. М., 2014. URL: <http://philosophystorm.org/sut-filosofskikh-kategorii> (дата обращения: 24.03.2018).
6. Ардашкин И.Б. Смарт-общество как этап развития новых технологий для общества или как новый этап социального развития (прогресса): к постановке проблемы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 38. С. 32–45.

7. Ильин А.Н. Антропология субъекта // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». 2010. № 1. Философия. Политология. URL:<http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/1/Ilyin/> (дата обращения: 24.03.2018).

8. Никитина Е.А. Проблема субъектности в интеллектуальной робототехнике // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2016. № 2 (12). С. 31–39.

9. Джиган О.В. Философские аспекты использования сетевых технологий // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2015. № 1 (5). С. 110–115.

10. Нестеров А.В. О соотношении смарт общества и общества, построенного на знаниях // База данных Nethash.ru, 2014. URL: <https://pravo.hse.ru/data/2014/04/27/1319681257/%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2.docx> (дата обращения: 27.03.2018).

Igor B. Ardashkin, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ibardashkin@tpu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 55–68.

DOI: 10.17223/1998863X/43/5

SMART TECHNOLOGY AS A PHENOMENON: CONCEPTUALISATION OF APPROACHES AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS. ARE SMART TECHNOLOGIES REALLY SMART?

Keywords: smart technologies; information technologies; convergent technologies; category; subject; functions of subject.

The article provides a conceptual analysis of approaches to the concept of smart technology through the correlation of smart technologies with other types of technologies (digital technologies, information technologies, convergent technologies, etc.). A conclusion is made about the status of smart technologies in relation to other technologies, analogous to the categorical level of world perception in philosophy in relation to other concepts. The complexity of the choice of the grounds for a more precise definition of smart technologies is noted. It is substantiated that the feature of smart technologies is their ability to perform the functions of the subject. It is proved that, due to the variety and uncertainty of these functions of the subject, it is dangerous to rely on smart technologies in their “smart” impact without an adequate training of a society using such technologies.

References

1. The Government of Russian Federation. (2017) *Programma “Tsifrovaya ekonomika Rossiyskoy Federatsii”*, 28.07.2017 [The program “Digital Economy of the Russian Federation”, July 28, 2017]. [Online] Available from: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>. (Accessed: 30th March 2018).

2. Chmykhalo, A.Yu. & Ardashkin, I.B. (2014) Future development of science and innovation in modern Russia. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 4(28)*. pp. 111–122. (In Russian).

3. Carrasco-Sáez, J.L., Careaga Butter, M. & Badilla-Quintana, M.G. (2017) The New Pyramid of Needs for the Digital Citizen: A Transition towards Smart Human Cities. *Sustainability. 9*. 22–58. DOI: 10.3390/su9122258.

4. Gorbunov, D.V. & Nesterov, A.Yu. (2017) Technological future of Russia: the challenge of the “third nature”. *Vestnik Samarskogo universiteta. Aerokosmicheskaya tekhnika, tekhnologii i mashinostroyeniye – Vestnik of Samara University. Aerospace And Mechanical Engineering. 16(4)*. pp. 60–71. (In Russian). DOI: 10.18287/2541-7533-2017-16-4-60-71

5. Dmitriyev, Yu. (2014) *Sut' filosofskikh kategoriy* [The essence of philosophical categories]. [Online] Available from: <http://philosophystorm.org/sut-filosofskikh-kategorii>. (Accessed: 24th March 2018).

6. Ardashkin, I.B. (2017) Smart-society as a stage of development of new technologies for society or as a new of social development (progress): to the problem of the problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 38*. pp. 32–45. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/38/4

7. Ilyn, A.N. (2010) Anthropology of Subject. *Znaniye. Ponimaniye. Umeniyе – Knowledge. Understanding. Skill*. 1. [Online] Available from: <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/1/Ilyin/>. (Accessed: 24th March 2018). (In Russian).

8. Nikitina, E.A. (2016) The problem of subjectivity in intellectual robotics. *Filosof-skiye problemy informatsionnykh tekhnologiy i kiberprostranstva – Philosophical problems of IT and Cyber-space*. 2(12). pp. 31–39. (In Russian). DOI: 10.17726/philIT.2016.12.2.3

9. Dzhigan, O.V. (2015) Philosophic Aspects of Using Net Technologies. *Ekonomicheskiye i sotsial'no-gumanitarnyye issledovaniya – Economic and Social Research*. 1(5). pp. 110–115. (In Russian).

10. Nesterov, A.V. (2014) *O sootnoshenii smart obshchestva i obshchestva, postroyemogo na znaniyakh* [On the relationship between a smart and a knowledge-based society]. [Online] Available from: <https://pravo.hse.ru/data/2014/04/27/1319681257/%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2.docx>. (Accessed: 27th March 2018).

УДК 1:316
DOI: 10.17223/1998863X/43/6

А.А. Корниенко

ЭКСПЕРТНОЕ ЗНАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ПОРОЖДЕННОГО РИСКА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Риск представлен в качестве характерной особенности устойчивого развития. Общество знания интерпретировано как общество порожденного риска. Раскрыта роль экспертного знания в процессах принятия решений. Обозначены формы интеграции науки в общественные структуры и новая роль науки в прагматике принятия решений. Раскрыта роль процедурной рациональности в выработке обоснованных экспертных решений в обществе порожденного риска.

Ключевые слова: общество порожденного риска, экспертное знание, процедурная рациональность, неявное знание, теоретизация знания.

Риски, масштабно проявляющие себя в обществе, где важнейшим ресурсом является знание, требуют для своей оценки и разрешения обращения к потенциалу экспертного знания. Экспертом (лат. *expertus* – опытный) – это специалист, обладающий высокой квалификацией в определенной сфере практики и науки. Знания эксперта (в том числе и неявные знания) используются для исследования, консультирования, в процессе принятия решений, в прагматике повседневного решения проблем.

С. Фунтович и Дж. Равец пишут о науке общества знания как о «постнормальной науке», считая ее принципиально новым типом социальной и политически релевантной системы знаниевого производства. В науке подобного типа особое значение имеет экспертное знание. Растет и роль стейкхолдеров, называемых заинтересованными социальными акторами [1].

«Постнормальная наука» формирует и трансдисциплинарную парадигму инноватики, – последняя, по мнению Е.Г. Гребенщиковой, ориентирована на синергичный эффект, достигаемый за счет философско-методологической рефлексии результатов ранее полученного опыта, трансдисциплинарной матрицы поведения агентов инновационной деятельности и проектной деятельности транспрофессионального сообщества. При этом инноватика, являясь областью знания и способом познавательно-преобразующей деятельности, берет на себя функцию действующего агента, назначение которого – самонастройка и корректировка инновационного развития.

В этих процессах самонастройки и корректировки инновационного развития трудно переоценить роль оценки и прогноза, как трудно переоценить и роль гуманитарной экспертизы. Коренным образом изменился сам масштаб применения технологий социальной сферы. Е.Г. Гребенщикова пишет о том, что постнормальная наука изменила подход к знанию: оно стало рассматриваться в виде сложноорганизованной системы. В эту сложноорганизованную систему входят как трансдисциплинарные формы производства знания и экспертиза, так и моральная ответственность и факторы корпоративности [2].

Очевидным становится и процесс конвертации исследований в ту сферу, где принимаются решения. Общество знания как «общество порожденного риска» характеризуется в том числе и расширяющимся масштабом применения демократических процедур участия в принятии решений, касающихся ресурсов науки и социальной сферы, а также ориентацией политических структур на делиберативные процедуры принятия решений.

Общество порожденного риска, проявляя неподдельный и обоснованный интерес к процессам применения экспертного знания, выводит на приоритетные исследовательские позиции проблемы ответственности. Так, А.А. Мейнард в «Манифесте социально-релевантной науки и технологии» [3] называет ответственность тем независимым критерием оценки исследований и технологических проектов-приложений, который дополняет оценку, формируемую с позиций безопасности и эффективности. Именно социальные технологии в условиях тех вызовов, что демонстрирует обществу знания технаука, приводят эти вызовы в состояние баланса. Социальные технологии, называемые Е.Г. Гребеншиковой и Ш. Ясановф «технологиями смирения», противостоят «технологическому высокомерию» общества знания. Их применение содержит в себе потенциал симметричного ответа вызовам технауки. Экспертное же знание должно содержать ответы на вопросы, касающиеся цели исследования, возможных трудностей, выгод, а главное – на вопрос о том, как человек может знать. Сама ответственность за будущее в обществе экспоненциального роста объемов и масштабов применения научного знания усилена вечной проблемой неполноты научного знания, что обостряет ощущение надвигающейся антропологической катастрофы. Ш. Ясановф пишет о неоднозначности опыта взаимоотношения науки и общества [4]. Эта неоднозначность касается опыта фреймирования, уязвимости, распределения, обучения. Опыт взаимоотношения науки и общества включает у Ш. Ясановфа обсуждение и принятие решений, масштабы рисков, неведомые не-экспертам. Так, в опыте фреймирования Ш. Ясановф выделяет его ориентацию на интересы социальных акторов, участвующих в дебатах и принимающих решение. Учитывается вся совокупность всех групп интересов. Касающаяся опыта уязвимость требует максимального учета рисков, что, как правило, остается неизвестным для не-экспертов. Распределение в системе взаимодействия науки и общества организовано группой осуществляющих экспертизу. В задачу последних входит необходимость формирования отношений сотрудничества и диалога в группах интересов.

Элементом легитимации инноваций при этом становится то знание, которым располагают лица, принимающие решения, и осознаваемые ими мера и степень ответственности. В идеале это должно касаться и финансовых акторов, и получающих прибыль. Обучение требуется в силу сложности ситуаций, в силу необходимости создания условий максимального содействия эффективному диалогу в дебатах. Восприятие рисков социокультурно обусловлено, это во многом является той предпосылкой, которая формирует отношение к возможностям инноваций, выражающееся, к примеру, в степени доверия к интерпретации результата как блага либо серьезного риска, формирующей как рациональные опасения, так и опасения иррационального свойства.

Выход из ситуации усиливающейся политизации науки аналитики видят в переходе на ступень «экспертизы экспертизы», в подготовке групп «символических аналитиков», о которых пишет Г. Бехманн в работе «Общество знания – трансформация современных обществ» [5. С. 62]. Эти шаги позволят, проводя дополнительные экспертные мероприятия, редуцировать риски. Однако и эта возможность сегодня встречает серьезные ограничения, поскольку не разработана методология экспертизы экспертизы. Есть и еще одна трудность – Г. Бехманн пишет о ней, подчеркивая, что проблеме действия (очевидно, речь идет о принятии решений) невозможно эффективно разрешить в силу того, что в условиях ограниченной рациональности самые мощные средства переработки громадных массивов информации бессильны.

Переход к цивилизации знания требует формирования новых идеалов деятельности, как и осознания перспектив развития. Это неосуществимо вне границ нового типа научной рациональности. Это формирование связано с освоением, в том числе научным и технологическим, сложных саморазвивающихся систем. Само же появление нового типа научной рациональности формирует новый горизонт возможностей для диалога культур. Этот новый тип рациональности имманентно содержит рефлексию над ценностями, сам же диалог способен сформировать новые контуры стратегии цивилизации знания.

Экспертное знание существовало всегда, однако его возросшая роль сделалась очевидной в эпоху Возрождения и раннего Нового времени. Одновременно с формированием экспертного знания шло решение организационных проблем – так во Франции возникла Корпорация присяжных мастеров-письмоводов по исследованию подписей. Этой Корпорации, владевшей патентом на производство экспертиз, покровительствовал Генрих IV. Во времена Возрождения становится очевидной зависимость стабильности ренессансных городов-государств от использования огнестрельного оружия и качества фортификационных сооружений, становится очевидной и необходимость применения новой науки.

Пороховая артиллерия и фортификация нуждались в точных «математических инструментах», кодифицированных технических знаниях, инженерном опыте; решение возникающих практических задач требовало организации естественного процесса научной подготовки инженеров, как и использования труда высокообразованных консультантов из числа известных ученых. Полагаем, что это была первая попытка осуществить социальную оценку техники. К примеру, известно, что экспертом был Галилео Галилей. Галилей, учившийся в университете Падуи, имевший богатый опыт практического инженера, инженера-ученого и ученого-инженера, прошел все ступени инженерного образования и был организатором обучения военных инженеров; преподавал военным инженерам геометрию, перспективу, геодезию; он хорошо знал существующие оптические теории, теории сферических зеркал Джованни Батиста делла Порта и Джованни Антонио Маджини. Итальянский историк науки Матео Валериани в работе «Галилей – инженер» отмечает, что Галилей не был изготовителем зеркал, но великолепно мог оценивать продукт ремесленников, создающих зеркала, способ обработки зеркал. Последнее сделало его экспертом по оценке качества зеркал и искусства шлифования у великого герцога. Примечательна та огромная роль, которую сыг-

рала в описанном процессе работа Аристотеля «Механические проблемы» (сегодня считается, что данная работа принадлежит псевдо-Аристотелю). Именно под влиянием этого труда осуществлялся процесс теоретизации технического знания в Новое время. Как справедливо полагал В.Г. Горохов [6. С. 110], концептуальный аппарат аристотелевской физики, модифицированный под практические технические проблемы, возникшие перед инженерными работниками эпохи Ренессанса, был положен в основу науки Нового времени. Сам же Галилей становится ученым-экспертом военно-морского комитета Венецианского арсенала, экспертом-комментатором «Механических проблем», «Физики», «Метеорологии» – работ, в которых воплощены концептуальные идеи доктрины Аристотеля. В.Г. Горохов, как и М. Валериани, считает Галилея экспертом в области аристотелевской философии природы, «аристотелевским инженером», ученым, у которого явления инженерной практики интерпретированы посредством концептуального аппарата Аристотеля.

В книге М. Валериани дан пример изобретения конструкции термоскопа, приведена переписка Галилея и Сагрето, свидетельствующая о неприятии Галилеем теории теплоты Аристотеля о возникновении атомистической гипотезы теплоты в результате наблюдения за прибором [7]. Инженерное образование в эпоху раннего Нового времени стимулировало теоретическую систематизацию практических значений, направленную на синтез естественно-научной и научно-технической составляющих. В основу разработки технических теорий и необходимой для этой разработки математики был положен сформулированный Галилеем эпистемологический принцип. В.Г. Горохов полагал, что именно модифицированная геометро-кинематическая схема Галилео Галилея, нашедшая поддержку в теоретической кинематике Франца Рело («душа машины» – «геометрическая абстракция машины»), стала позднее основанием приложения теоретической механики к описанию машин, как и основанием теории машин и механизмов.

Как эксперт и научный консультант Венецианского арсенала, Галилей занимался контролем и оценкой качества проектов, используя в анализе сложных машин и принципов их работы геометрическое представление. Он создавал объяснительные схемы природных явлений, предсказывая ход различных типов природных процессов. Матео Валериани относил Галилея к числу тех экспертов, которые, контролируя качество и оценивая проекты, задачу экспертизы видели в выводе: возможно ли на основе модели создать реальные конструкции, возможно ли до создания подобных конструкций определить степень надежности создаваемых устройств. Экспертиза необходима в силу того, что механики, как пишет Галилей, «... часто заблуждаются, желая применить машины ко многим действиям, невозможным по самой своей природе, а в результате и сами оказываются обманутыми... важно уяснить себе, каковы те выгоды, которые получены от этих орудий» [8. С. 9–10], а в итоге – дать мастерам простые и удобные правила.

Экспертное решение имеет определенную процедуру, и говорить об эффективном экспертном решении в ситуации риска, в том числе и того риска глобальных масштабов, какие характерны для общества знания, обладающего потенциалом внутренней дестабилизации, можно, лишь опираясь на эффективную методологию решения. Эта методология должна ориентироваться на

потенциал процедурной рациональности; процедурная рациональность – составная часть подготовки экспертов, принимающих решения в сложной ситуации выбора. Составной частью процедурной рациональности является культура принятия решений. Отметим, что идея применения процедурной рациональности не нова, у её истоков стоят Г. Саймон, И. Дженис, Л. Манн. Идея обращает на себя внимание не только тем, что в ней виден потенциал наиболее эффективного подхода к формируемому решению; идея процедурной рациональности предполагает возможность оценить качество решения до того, как это решение найдет применение. Это возможно, если высоко качество (высока степень рациональности) процедуры принятия решения.

Уже сегодня экспертное сообщество располагает множеством разнокачественных моделей принятия решений – интуитивных, аналитических. Наибольшую известность получили модели ожидаемой практической полезности Эдвардса, последовательного ограниченного сравнения Линдблума, логического инкрементализма Квинна (англ. *increment* – увеличение, возрастание, приращение, прирост, шаг, прибавляемая величина), модели Д. Канемана и А. Тверского, модель М. Минского. Модели, в основании которых лежит интуитивное принятие решений, разработаны в когнитивной психологии и сфере искусственного интеллекта. Особенность их в том, что учтена связь интуитивного и рационального принятия решений и адаптационных механизмов. Разработана общая методология для процедур принятия решений, существуют и технологии сбора, обработки информации. Ведутся исследования, позволяющие определять источники ошибок, классифицировать ошибки, пользуясь схемой метода «рационально планируемых проб» и ошибок. Процедурная рациональность базируется на рефлексии и рационально планируемом отношении к ошибочности. О. Савельзон, рассматривая культуру принятия решения в качестве фактора прогресса, полагает, что решение рационально, технически грамотно, если принятие решения сопровождается обоснованным избранием модели осуществления процедуры и исключены ошибки всех фаз процедуры [9. С. 34].

В свое время одним из первых, кто заговорил о роли экспертизы в науке, был Ф. Бэкон. Ф. Бэкон поднял проблему эпистемологического авторитета науки как базиса автономного статуса науки, экспертная роль науки была отдана интеллектуальной элите. Пройдут века, прежде чем идеи Ф. Бэкона будут интерпретированы Б. Барбером и дополнены его рассуждениями о роли доверия в подготовке экспертного решения. Доверия в науке или доверия науке? Эти позиции не должны восприниматься как принципиально несовместимые. В первом случае речь идет о внутреннем этосе науки, в то время как во втором – о восприятии открытий, способных стать благом либо злом. Б. Барбер в статье «Логика и предел веры» пишет об уровнях доверия, необходимых для адекватной экспертизы. Если первый уровень отражает доверие, основанное на вере в идеалы (каким по сути и является знание, получаемое исследователем), то второй уровень связан с так называемой фидуциарностью (*fiduciary*) – речь идет о том, что будут оправданы ожидания: эксперт не станет следовать своему интересу. Наконец, третий уровень доверия основан на ожидании того, что эксперт компетентен. Дефицит доверия к экспертизе является следствием ряда причин: это может быть статус эксперта в

научном сообществе и обществе; возможен вариант, связанный с опытом, делающим доверие к экспертизе невозможным («Гаскити-эффект», описанный К.П. Вайтом и Р.П. Кризом в статье «Вера, экспертиза и философия науки»). Наиболее эффективным базисом реализации идеи доверия Е.Г. Гребенщикова считает модус модели концептуализации доверия в системе отношения «экспертное сообщество – общество», основанной на совместном видении и решении проблем. В основе этой модели – трансдисциплинарные формы получения социально надежного знания (socially robust knowledge), позволяющие осуществить выход на новые формы экспертных оценок. Автор отдает предпочтение модели этого типа, справедливо полагая, что это предпочтение расширит пределы экспертизы, выведет экспертизу из тисков узких компетенций. Когда-то Никлас Луман писал о кризисе доверия к научной экспертизе, о том шоке, к которому приводит общество неизбежная нерешаемость проблем, связанных с экспертными оценками. Х. Новотны вводит понятие «дилемма экспертизы», наделяя это явление следующими характеристиками: ученый принимает экспертное решение в условиях ограниченного объема информации и необходимости принятия быстрого решения. Одновременно Х. Новотны использует понятие «трансгрессии экспертизы», – его смысл в том, что эксперт стоит перед необходимостью ответить на вопросы, которые нельзя редуцировать к чистому научному либо техническому знанию (например, эксперт может оказаться перед необходимостью использовать, принимая решение, и неявное знание) [10]. Экспертиза готовится для гетерогенной аудитории, она формируется из тех, кто представляет научное сообщество и заинтересованных социальных акторов – стейкхолдеров. Трансгрессия экспертизы приводит к ситуации, когда эксперт выходит за пределы чистой науки и отвечает на те вопросы, которые предлагает ему сфера жизненного мира. Эта ситуация ограничивает востребованность трансдисциплинарных механизмов и приводит к тому, что масштаб востребованности «...определяется не только возможностями социального распределения знания, но и созданием среды опосредующего взаимодействия различных структур и социальных акторов. Знание, в свою очередь, оказывается итогом множества интеракций, а важной характеристикой его получения выступает двойная рефлексия на производство знания и на социальные и аксиологические параметры самих этих способов производства. Происходит становление самого субъекта деятельности, воспроизводящего на каждом этапе новационные и оторефлексируемые результаты» [2. С. 7].

Сама же специфика трансдисциплинарных проектов оказывается определяемой деятельностью, хорошо интерпретируемой П.Д. Тищенко: автор пишет о применении в сфере биоэтики концепта «кон-такт». По мнению П.Д. Тищенко, в нем заключен как смысл совместности, так и смысл «такта», «характеристики у-местного, своевременного и реализованного со-размерно ситуации действия» [11. С. 74].

Использование постоянно порождаемого знания, являющегося доминирующим ресурсом и активом общества знания, приводит в обществе знания к постоянным изменениям. В этой ситуации трансдисциплинарные механизмы познания не только работают на инновационную составляющую деятельности, но и формируют инновационную стратегию реализуемой политики.

Можно ли говорить лишь о возрастании роли экспертного знания в обществе знания (мы имеем в виду управление рисками, т.е. выработку некоего алгоритма действий, посредством которого обеспечивается достижение цели – ею является нейтрализация масштабов риска)? Впервые сомнение в неоспоримости новой социальной роли научной экспертизы высказано Д.В. Ефременко [12. С. 56]. Автор стремится подтвердить свою идею посредством обращения к оппозиции «знание – риск», когда пишет о том, что в обществе знания процесс идентификации и социальной оценки рисков превращен в инструментарий политики. И когда научное сообщество информирует общество о рисках и опасностях, оно тем самым способствует созданию групп интересов, способных осуществлять политическое давление. При этом проявляет себя «эффект Гейзенберга» – это связанное с неопределенностью явление, смысл которого в том, что проводимый анализ превращается в активность изучаемой системы и влияет на процессы, осуществляющиеся в изучаемой системе.

Одновременно научным сообществом (а наука делает процесс принятия решений рациональным) осознан масштаб неопределенности. Это понимание ограниченности возможностей экспертного знания позволяет уменьшить оптимизм при оценке его потенциала, осознав масштаб ограниченности. Понимание же масштабности дефицита достоверного экспертного знания приводит к желанию восполнить пробел. Подчас эта проблема решается посредством обращения к услугам венчурных организаций (скажем, нет решения, которое позволяет получить нужную информацию; знание неполно, и заказчик делает заказ на получение информации к проекту). Применяют методы статистического анализа риска, методы моделирования, прибегают к гипотезам. Однако путь гипотез не всегда приводит к достоверному знанию. Результат очевиден – начинает себя проявлять девальвация экспертного знания, сопровождаемая утратой доверия к институту экспертизы. Последнее снижает потребность в экспертном знании, хотя процесс экспоненциального роста научного знания очевиден. Это противоречие с неизбежностью проявляется в процессе внутренней дестабилизации общества знания.

Что касается возрастания интенсивности применения экспертного знания, это возрастание имеет свои пределы, которые способны проявить себя и в обществе знания. Выше мы говорили о том, что более точная экспертная оценка возможна лишь в условиях применения «экспертизы экспертизы» – двойной и более совершенной экспертизы, осуществляемой «символическими аналитиками». Как утверждалось, лишь подобного рода экспертная оценка позволяет редуцировать риски. Возможно, методология такой экспертизы через какое-то время будет создана. Однако условие и предпосылка «экспертизы экспертизы» – теоретизация экспертного знания, создание теории экспертного знания. Необходимость этого процесса очевидна в условиях, когда знание эксперта в необозримом будущем обнаружит для общества свою ценность, но самого эксперта больше нет. Оставленное знание должно быть сохранено в теории экспертизы. Пока же процесс теоретизации экспертного знания находится на начальной стадии. Сложность создания теории экспертного знания объясняется и невыясненностью, непроясненностью той роли, которую играет в экспертном решении неявное знание, которое базируется на элиминации субъективных факторов. Неявное знание, чтобы занять свое ме-

сто в теории экспертного знания, должно быть формализовано. Обратимся к этой нерешенной проблеме, у истоков которой стояли представители «исторической школы», пытавшиеся представить социокультурно-психологические составляющие как имманентные составляющие познания.

У истоков «исторического направления» постпозитивизма стоит концепция «неявного знания» М. Полани. Она создана уже в 50-е гг. XX в. М. Полани был тогда сотрудником Манчестерского университета и проявил неподдельный интерес к идеям искусственного интеллекта, к проблемам математизации и формализации процесса мышления. Именно тогда М. Полани предпринял попытку доказать, что элемент понимания присущ исключительно человеческому мышлению и в основании его лежит «скрытое, неявное знание», это определяемое практикой знание, его нельзя представить эксплицитно [13]. Оно определено тем пространством спонтанного развития проблемы, которая есть у каждого исследователя; это пространство поиска решений, внесенных собственными «интеллектуальными страстями» (термин М. Полани) ученого; это пространство формируется усвоенным знанием, однако характеристика проблемы, поиска ее решения неявна. Конечно, уже в момент создания концепции неявного знания М. Полани – явно под влиянием Ж. Пиаже – работает над доказательством идеи функциональной зависимости (что и было обосновано Ж. Пиаже выводом о связи сенсорно-моторной и интеллектуальной стадий в процессе формирования понятий у детей). М. Полани пытался обосновать идею отношения дополненности, существующей между неявными, глубинными структурами знания человека и эксплицитными логическими формами. Неявное знание для М. Полани – знание неопределенное, точно не обозначенное, однако эта неопределенность в познавательных процессах способна проявить свой огромный эвристический потенциал. То, что ранее было в фокусе восприятия, даже в неявной, скрытой форме, превращается в дополнительный элемент нового фокуса сознания, интегрировано в сознание в этом новом фокусе. При этом сам фокус находится на логико-вербальном уровне, значение при этом фиксируется посредством допускающей формализации знаковых систем.

Функции неявного, скрытого знания в решении проблемы неодинаковы. Вначале это вычленение проблемной ситуации из случайной системы данных. Проблема сформирована тогда, когда уловлена связь частей этой случайной беспорядочной системы данных. Эта связь – ключ к осмыслению: до этого осмысления можно говорить только о несоизмеримых элементах. Следующий этап – поиск путей разрешения проблемной ситуации, когда формируется система гипотез, названная М. Полани «первоначальной». При наличии проблемы фокус пуст, он не схвачен, лишь позднее информация выступает как структурированное целое; функциональная зависимость частей осознается именно в границах фокуса. На следующем этапе происходит целостное осознание проблемы. Неявное, скрытое знание позволяет выбрать гипотезу и систему доказательств, пригодную для этой гипотезы. Это может быть и логический вывод, и вывод, обеспеченный обращением к практике. Это могут быть эпистемологические и социально-психологические факторы, неявно выраженные.

Благодаря существованию платформы неявного знания «личностное знание» (а неявное знание – его важнейший элемент) выполняет семантическую

функцию и отлично от знания существующего, формы фиксации и выражения которого объективированы. Это знание, прежде чем обладать семантикой, должно быть обязательно интерпретировано человеком [13]. М. Полани полагал, что если существует неформальная разумность, она должна быть способностью людей, поскольку отсутствие эксплицитных форм ее выражения делает невозможным рассмотрение последней в качестве особого вида межличностной объективности. Эта особенность рассуждений М. Полани отмечена Дж. Бреннаном. «То, что я знаю неявно, – подчеркивал М. Полани, – я знаю неявно. Это есть модификация моего существования, это есть личное» [13. Р. 17]. М. Полани раскрыл динамический и активный характер личностной формы знания: «Когда мы понимаем или обозначаем нечто, мы проявляем наши неявные скрытые силы в поисках лучшего интеллектуального контроля рассматриваемого вопроса. Мы пытаемся прояснить, верифицировать и придать точность чему-либо сообщаемому и выражаемому. Мы движемся от одной позиции, которая ощущается как нечто проблемное, к другой, более удовлетворительной позиции. Это есть неявное действие нашего неизбежного акта личностного участия в эксплицитном познании вещей: акта, включающего в себя определенный вид неявных сил, благодаря которым мы приходим к некоторым специальным выводам в различных областях человеческого знания; этот «личностный коэффициент» наделяет наши эксплицитные утверждения значением и убеждением» [14].

Этот длительный экскурс осуществлен нами для того, чтобы показать, насколько сложно применяемое экспертом неявное знание, насколько долог и полон сложностей путь его применения в экспертных решениях. А главное – насколько сложно решается проблема теоретизации экспертного знания, в основе которого должна лежать формализуемость неявного знания. Эта сложность убавляет оптимизма в оценке роли экспертного знания в обществе знания.

Литература

1. *Funtiwicz S.O., Ravetz J.R.* Science for the post-normal age. *Futures*, 1993. Vol. 25, № 7. P. 735–755.
2. *Гребенщикова Е.Г.* Трансдисциплинарная парадигма инноватики: реконтекстуализация экспертизы и проблема ответственности // *Трансдисциплинарность, нанотехнологии и инноватика* : сб. науч. тр. М., 2012. С. 4–11.
3. *Maynard A.A.* «Manifesto» for socially-relevant science and technology. URL: <http://2020science.org/2008/12/24/a-manifesto-for-socially-relevant-science-and-technology/> (accessed: 18.05.18).
4. *Janoff S.* Technologies of humility: citizen participation on governing science // *Minerva*. 2003. Vol. 41. P. 223–244.
5. *Бехмани Г.* Общество знания – трансформация современных обществ // *Концепция «общества знания» в современной социальной теории*. М., 2010. С. 39–65.
6. *Горохов В.Г.* Технонаука Галилео Галилея : Размышления по поводу книги Матео Валериани «Галилео – инженер» // *Вопросы философии*. 2013. № 1. С. 105–116.
7. *Valleriani M.* *Galileo Engineer*. Dordrecht; Heidelberg; London; New York : Springer, 2010. URL: http://pyrkov-professor.ru/Portals/0/Mediateka/XVII%20vek/valleriani_m_galileo_engineer.pdf (accessed: 18.05.18).
8. *Галилео Галилей.* Избранные труды : в 2 т. Т. 1. М., 1980. 646 с.
9. *Савельзон О.* Культура принятия решений как фактор прогресса России // *Вопросы философии*. 2003. № 10. С. 31–45.
10. *Nowotny H.* Democratising expertise and socially robust knowledge // *Science and Public Policy*. 2003. Vol. 30, № 3. С. 151–156.

11. Тищенко П.Д. Биоэтика как форма социально распределенного производства знания // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 2.

12. Ефременко Д.В. Концепция общества знания как теория социальных трансформаций: достижения и проблемы // Вопросы философии. 2010. № 1. С. 49–61.

13. Polanyi M. *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*. University of Chicago Press, 1958. Ch. V, VI.

14. Polanyi M. *The Study of Man*. University of Chicago Press, 1959.

Anna A. Kornienko, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: anna_kornienko@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 69–79.

DOI: 10.17223/1998863X/43/6

EXPERT KNOWLEDGE IN THE GENERATED RISK SOCIETY: THE CONCEPTUAL ASPECT

Keywords: generated risk society; expert knowledge; procedural rationality; implicit knowledge; knowledge theorization.

The knowledge society is interpreted as a society of generated risk in the article. The role of expert knowledge in decision-making processes is disclosed. Forms of integration of science into social structures and the new role of science in the pragmatics of decision-making are indicated. The role of procedural rationality in the development of justified expert decisions in the generated risk society is disclosed. To adequately assess the risks, it is necessary to address the possibilities of expert knowledge. A characteristic feature of the knowledge society as a society of generated risk is the expanded scope of democratic procedures for participation in decision-making. The problem of responsibility is shown in the priority positions. In the article, the author shows that the situation of the growing politicisation of science inevitably leads to the idea of the need for a stage of “expert examination”, the formation of groups of “symbolic analysts” to conduct additional expert activities that allow reducing risks. The problem of the undeveloped methodology of “expert examination” is indicated as unsolved. The need to address the context and potential of new rationality is revealed. The methodology of an effective expert solution should be oriented towards the potential of procedural rationality. The thesis is substantiated that procedural rationality is based on reflection and a rationally planned attitude towards errors (the method of rationally planned problems and mistakes). The culture of decision-making is interpreted as a constituent and condition of procedural rationality. It is procedural rationality that makes it possible to assess the quality of the solution before the expert decision finds its application. A range of decision-making models has been determined, whose effectiveness in expert decisions is rather high (model of expected practical utility, models of intuitive decision-making, taking into account the connection of intuitive and rational decision-making in the development of adaptation mechanisms). The problem of confidence in the decision made by the expert community is considered, levels of expected confidence are determined. Factors influencing the degree and scale of the lack of confidence in the expert decision are determined. The thesis is substantiated that transdisciplinary forms of obtaining socially reliable knowledge allow reaching a new effective form of expert assessments. The role of implicit knowledge in the expert decision is shown. The thesis about the necessity of the theory of expert knowledge is disclosed; it is shown that the difficulty of creating a theory of this kind is explained by the lack of clarity of the role implicit knowledge plays in the expert decision. The author justifies the idea of the need for formalisation of implicit knowledge as an important condition for creating a theory of expert knowledge.

References

1. Funtiwicz, S.O. & Ravetz, J.R. (1993) Science for the post-normal age. *Futures*. 25(7). pp. 735–755. DOI: 10.1007/978-94-011-0451-7_10

2. Grebenshchikova, E.G. (2012) Transdistsiplinarnaya paradigma innovatiki: rekontekstualizatsiya ekspertizy i problema otvetstvennosti [Transdisciplinary paradigm of innovation: the recontextualization of expertise and the problem of responsibility]. In: Tishchenko, P.D. (ed.) *Transdistsiplinarnost', nanotekhnologii i innovatika* [Transdisciplinarity, nanotechnology and innovation]. Moscow: Moscow University for the Humanities. pp. 4–11.

3. Maynard, A.A. (2008) “*Manifesto*” for socially-relevant science and technology. [Online] Available from: <http://2020science.org/2008/12/24/a-manifesto-for-socially-relevant-science-and-technology/>. (Accessed: 18th May 2018).
4. Jasanoff, S. (2003) Technologies of humility: citizen participation on governing science. *Minerva*. 41. pp. 223–244. DOI: 10.1023/A:102555751
5. Bekhmann, G. (2010) Obshchestvo znaniya – transformatsiya sovremennykh obshchestv [Knowledge society – the transformation of modern societies]. In: Efremenko, D.V. (ed.) *Kontseptsiya “obshchestva znaniya” v sovremennoy sotsial'noy teorii* [The concept of “knowledge society” in modern social theory]. Moscow: INION. pp. 39–65.
6. Gorokhov, V.G. (2013) Tekhnonauka Galileo Galileya. Razmyshleniya po povodu knigi Mateo Valeriani “Galileo – inzhener” [Technionics of Galileo Galileo. Reflections on the book by Mateo Valeriani “Galileo Engineer”]. *Voprosy filosofii*. 1. pp. 105–116.
7. Valleriani, M. (2010) *Galileo Engineer*. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer. [Online] Available from: http://pyrkov-professor.ru/Portals/0/Mediateka/XVII%20vek/valleriani_m_galileo_engineer.pdf. (Accessed: 18th May 2018).
8. Galileo, G. (1980) *Izbrannyye trudy v 2 t.* [Selected Works. In 2 vols]. Vol. 1. Moscow: [s.n.].
9. Savelzon, O. (2003) Kul'tura prinyatiya resheniy kak faktor progressa Rossii [Culture of decision-making as a factor of Russia's progress]. *Voprosy filosofii*. 10. pp. 31–45.
10. Nowotny, H. (2003) Democratising expertise and socially robust knowledge. *Science and Public Policy*. 30(3). pp. 151–156. DOI: 10.3152/147154303781780461
11. Tishchenko, P.D. (2010) Bioethics as a Form of Socially Distributed Knowledge Production. *Znaniye. Ponimaniye. Umeniyе – Knowledge. Understanding. Skill*. 2. pp. 71–78. (In Russian).
12. Efremenko, D.V. (2010) Kontseptsiya obshchestva znaniya kak teoriya sotsial'nykh transformatsiy: dostizheniya i problemy [The concept of the knowledge society as a theory of social transformations: achievements and problems]. *Voprosy filosofii*. 1. pp. 49–61.
13. Polanyi, M. (1958) *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*. University of Chicago Press.
14. Polanyi, M. (1959) *The Study of Man*. University of Chicago Press.

УДК 101.1

DOI: 10.17223/1998863X/43/7

М.В. Куликов

АМЕРИКАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ПОПЫТКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕРЕЗ КАТЕГОРИЮ «РЫНКА»

Исследуется вопрос своеобразия американской философии. В качестве особого фактора становления и развития американской философии и культуры рассматривается рынок, подрывающий традиционные связи и формирующий новую, динамичную и состязательную атмосферу. Возникает и особый вид дискурса, условно обозначаемый как «дискурс торга», распространившийся во всех сферах американской социокультурной жизни.

Ключевые слова: американская философия, рынок, дискурс торга.

Ответ на вопрос о «философской состоятельности» Америки может быть весьма неочевидным. Представляет ли собой американская философия нечто самостоятельное, идейно значимое и продуктивно ценное либо существует только как отклонение от центральной линии континентальной мысли? Философская культура Америки зачастую представляется не как нечто самобытное, а лишь как усвоенный результат работ континентальных мыслителей. А. де Токвиль писал: «Я думаю, что во всем цивилизованном мире нет страны, в которой меньше бы занимались философией, чем в Соединенных Штатах. Американцы не имеют собственной философской школы и очень мало заботятся о тех, которые спорят между собой в Европе, – они едва знают их имена» [1. С. 343].

Вместе с тем американский социокультурный эксперимент представляет собой нечто целое и ценностное, что требует от нас поиска категорий для адекватной интерпретации его духовной жизни. Принимая во внимание настоящее положение дел в жизни американской академической философии, поставим целью настоящей статьи рассмотрение специфики духовной жизни Америки через призму такой, казалось бы, далекой от нее категории, как «рынок».

Трудность дефиниции понятия «американская философия» во многом связана с самим понятием «философия», которое используется разными авторами в разных смыслах, с его помощью идентифицируются идейные образования, зачастую противоположные друг другу. Значительное время социально-ориентированные мыслители США, сформировавшиеся под влиянием Дж. Дьюи, рассматривали утвердившуюся в академических кругах страны аналитическую философию как кратковременную дань моде. В свою очередь, представители аналитической школы относили дискуссии неореалистов, прагматиков, натуралистов к обыденному или околотелитературному разговору. Стоит обратить внимание на то, что вопрос о философском своеобразии американской мысли во многом зависит от решения дилеммы: является ли философия универсальным, объективным знанием, независимым от национальных и идеологических обстоятельств, либо она контекстуальна, коммунитарна, обусловлена внешними факторами и отражает ценности американ-

ского сообщества. Очевидно, что вопрос о национальной специфике философии важен для контекстуалиста, но не существен для сторонника универсалистского подхода. Если мы оцениваем философа с позиции универсализма, тогда наибольший интерес для нас представляют постановка автором новых проблем, изобретение нового понятийного аппарата и методологии, выдвижение идей, послуживших импульсом к разворачиванию дискуссий. Если мы выбрали критерий контекстуализма, тогда интерес будут представлять переключки идей автора с глубинными архетипами национальной культуры, введение новой философской парадигмы, изобретение нетривиального метафорического ряда, эстетизм развернутой интеллектуальной игры. То есть в вопросе о значимости того или иного философа используются разные критерии и отсутствует единый стандарт оценки.

Проблема культурного своеобразия наиболее часто встает в аспекте национального. Сравнительный анализ культур, мировоззренческих установок является традиционным направлением гуманитарного исследования, однако если позитивистская традиция трактовала национальное ядро как природное, субстанциальное и самоотждественное, то современная этнология исходит из того, что оно не столько укоренено в культуре, сколько производимо в результате культурной деятельности. Бытует мнение, что Америка является «духовной колонией» Европы, куда переправляются уже отработанные теории. Конечно, американская культура стала «плавильным котлом», вместившим в себя культуру иммигрантов, но все европейское воспринималось в новых условиях лишь в той мере, в какой оно совмещалось с американской практикой, религией и политическими традициями, основы которых заложили английские пилигримы, привезшие с собой наряду с пуританизмом и кальвинизмом идеи Дж. Локка и Т. Гоббса. Говоря о ранней культурной истории США, необходимо указать не на отсутствие традиции как таковой, а на стремление самоопределиться в противопоставлении ей: «Иностранец, приезжающий сюда из Европы, привозит с собой глубокую и прочную традицию, систему культурных навыков, вкусов и привычек, взгляд на жизнь не менее древний, чем его прежняя нация... И все это, то есть сама душа истории, принадлежащая Старому Свету, вступает в противоречие с Америкой, лишь только он высадится на ее берегах» [2. Р. 230]. Как писал историк американской мысли Г. Коммоджер: «Для того чтобы быть приемлемой и полезной, такая философия должна эмансипировать себя от присущей ей в Старом Свете риторики, приспособиться к реальностям американской практики и примириться с идиосинкразиями американского характера. Американец в Новом Свете оказался удачлив, и его философия должна была оправдывать благоприятный взгляд на Провидение и Природу, романтическое представление о человеке и оптимистическую интерпретацию истории» [3. Р. 270].

Одним из наиболее важных факторов, оказавших влияние на становление американской культуры, был рынок, особая форма совершения сделок. Сделка рассматривается в настоящей статье как элемент «торгования», как результат свободного волеизъявления между ее субъектами (или субъекта в случае односторонней сделки) для достижения согласия по поводу ее предмета. Свообразие сделки как особой формы коммуникации состоит в том, что волеизъявление участвующих в ней субъектов должно сформироваться свободно, а не под внешним давлением иных лиц или объективных обстоя-

тельств. Каким образом реализовались эти особенности в американском культурном пространстве?

Дело в том, что американская нация, будучи нацией эмигрантов, формировалась за счет приезжих, озабоченных скорее своим будущим, нежели прошлым, во многом порвавших с крепкими узами традиции и утверждающих себя через экономическую деятельность. Рыночные отношения подрывали традиционные связи, авторитеты, изменяли содержание социальных ролей агентов рынка, формировали новую, динамичную и состязательную атмосферу, культивировали личную инициативу, мобильность его участников. Вместе с тем вырабатывались новые способы коммуникации и организации культурного порядка, новые правила и рамки (договорного, контрактного характера) взаимодействия и торговой игры. Возник и особый вид дискурса, который был обозначен отечественным исследователем Т.В. Венедиктовой как «дискурс торга». Как вид коммуникативных отношений данная языковая практика распространилась во всех сферах американской социокультурной жизни. Более того, сама социокультурная практика переняла рыночную модель, «метафорика торга и мысль о том, «что рынки и цены – основа человеческой природы», традиционно пронизывали американский культурный дискурс» [4. Р. 172]. Идея о том, что устройство речевого этоса и общественное устройство находятся в отношении подобия, высказывалась многими учеными неоднократно. Б. Уорф сформулировал это отношение так: «...действия, предпринимаемые людьми в тех или иных ситуациях, схожи с манерой, в которой о них говорят» [5. Р. 211]. Рассматривая свою жизнь как прежде всего деятельность по заключению сделок, человек встраивался в социум, приспособливал свое участие в нем с участием других людей, заранее представляя свои отношения с ними как состязательные. В этом состязании человек утверждает себя как *homo ludens*, человек играющий. По К. Марксу, торг – это стихия свободы: «Здесь господствуют только свобода, равенство, собственность и Бентам. Свобода! Ибо покупатель и продавец товара... подчиняются лишь велениям своей свободной воли... Равенство! Ибо они относятся друг к другу лишь как товаровладельцы и обменивают эквивалент на эквивалент. Собственность! Ибо каждый из них располагает лишь тем, что ему принадлежит. Бентам! Ибо каждый заботится лишь о себе самом» [6. С. 187].

Результатом торга выступает заключение сделки, но так как торг обусловлен стихией свободного рынка, где не совпадают интересы его участников, достижение желаемого результата никогда не бывает окончательным. Эта игра-торг предполагает прагматический интерес каждого из участников, но исключается возможность апелляции к «трансцендентной» инстанции, так как абсолюты и императивы уничтожают саму ситуацию торга и взаимосогласования интересов. Таким образом, рынок носит характер игры, истории с открытым финалом, несет в себе долю неопределенности и риска.

Стихия рынка динамична, открыта для изменений, переопределений. Его участники разыгрывают игру с невыразительным лицом (так называемый *roker face*), прикрываясь простачками, они сосредоточены на выявлении явного и неявного соотношения сил, построении плана действий для победы в этой игре. Эта ситуация предполагает как можно более отчетливое угадывание интереса противоположной стороны. Каждый участник сделки всегда

находится в процессе ее заключения, поэтому придерживается своей роли и ждет этого со стороны партнера. Часто невозможно определить, кто является манипулятором, а кто манипулируемым в сделке. Даже поражение переживается не как потеря, поскольку продолжение игры несет в себе возможность преодоления и достижения поставленной цели.

Торг как форма коммуникативного отношения преодолевает рамки рынка и утверждается в других социокультурных процессах: научном, религиозном, литературном, философском. Так, например, в рамках политического процесса можно рассматривать представительную демократию как осуществление политической власти в процессе обмена. Можно предположить, что распространение данного дискурса тем шире, а его влияние тем сильнее, чем менее отношения людей предопределены и неизменны, чем большее значение для них имеют свобода выбора своей судьбы, взаимная осмотрительность и готовность к компромиссу.

Торг есть не только экономическая категория, но и коммуникативная. Она предполагает динамизм участников общения, ведь иной, заключающий со мной сделку, может узнать обо мне большее, чем знаю я сам. Участие в торге может расширить горизонт нашего «Я», узнать больше о себе, узнав, что есть иной. Основное направление развития современного человека представляет отношения с иным как заведомо состязательные. Если саморазвитие рассматривается с позиции готовности к изменениям и росту, тогда главным фактором для участника сделки будет не столько то, что он приобрел, сколько то, чего он приобрести не смог. Как пишет Р. Эмерсон в эссе «Круги»: «Бесперывное желание возвыситься над самим собой и идти далее точки, до которой дошел, всего яснее выказывается во взаимном отношении людей. Мы жаждем одобрения, если же получим его, то принимаем как унижение. Любовь – лучшее благо жизни, но, любя истинно, мучишься сознанием своих несовершенств... Человек перестает казаться для нас занимательным, лишь только мы увидим его границы: когда дойдем до них, не сильные впечатления производят на нас его таланты, предприятия, ученость» [7. С. 177]. Побуждающий к движению творческий вызов в такой системе оценивается выше, чем равновесие и постоянство, которые представляются в ней как неготовность к развитию. Субъект этой системы проводит постоянную переоценку, преодоление наличного состояния и любого определения – ограничения. Ситуация рынка, таким образом, отрицает возможность окончательной сделки, поскольку даже ее удачное завершение грозит поражением для всех партнеров, теряющих в лице иного ресурс для собственного развития. Данный тип коммуникативных отношений не обеспечивает ни одной из сторон обладания истиной, но только – «повышенную и неостановимую подвижность не – истин, не – правд» [8. С. 254]. Состязательное отношение с иным, рождающее конфликтующие оценки – интерпретации проблематично, но также и плодотворно в своем порождении интерпретативной бесконечности.

Таким образом, дискурс рынка может служить моделью идеального «непрекращающегося диалога», однако не того диалога, который подразумевает полноту самораскрытия, внимательное отношение к другой индивидуальности, а того вида диалога, для которого характерны конвертируемость, подмена истин, состязательность, обман, манипуляция, непредсказуемость. Полага-

ем, что в американской философии есть целый ряд авторов, труды которых могут быть интерпретированы через модель «рынга» как особого рода «непрекращающегося диалога». Так, Ч.С. Пирс сформулировал идею прагматического подхода, заключающегося в отождествлении значения понятия с его последствиями, а его идея фаллибилизма вводит в качестве критерия «промежуточной истины» intersubjective согласие научного сообщества. У. Джеймс придал прагматическому методу всеохватывающую область и установил критерием истинности идеи ее «работоспособность», упрощение и экономию усилий субъекта. В подходе к объяснению бытия У. Джеймс использует принципы плюрализма и индетерминизма, истинность не есть результат, итог исследования. Истина – это событие, процесс, ее ценность и значение и заключаются в самом процессе ее подтверждения. В работах Дж. Дьюи и Дж. Мида актуализируются контекстуальные характеристики знания. Идеи, по мнению Дж. Дьюи, выступают инструментами для практики, подлежащими усовершенствованию по мере возникновения новых проблематических ситуаций. Особенно ярко коммуникативная природа культуры и знания представлена в рортианской концепции «солидарности как толерантности», достижении соглашения на основе ироничного отношения к убеждениям, ценностям и верованиям и готовности поступиться ими вследствие их неабсолютного характера.

Специфика коммуникации, организованной по модели рынка, состоит в том, что роль интерпретатора становится как никогда ответственной, сопоставимой с ролью автора. Свобода интерпретатора стимулируется, но в то же время ограничивается текстом. Подобную двойственность восприятия текста, по мнению Р. Рорти, обеспечивает ирония, подразумевающая множественность равноправных рамок восприятия и интерпретации. Ирония указывает на отсутствие однозначности и низводит ценность абсолютного до уровня относительного. Парадоксально, но ироническая двусмысленность указывает на искренность говорящего, на наличие у личности внутреннего содержания, не тождественного его социальным репрезентациям. Это внутреннее содержание не есть кантовское нравственное «Я», скорее это фрейдистская бессознательная фантазия, позволяющая рассматривать человеческую жизнь как историю, миф. Если социальный долг требует соответствия роли, то долг перед собой как носителем творческого потенциала предполагает несоответствие роли, ухода от определенности, жестко заданных ролевых ожиданий. Не отрицая обмана, ирония провоцирует участника диалога к амбивалентному восприятию, отсутствию однозначности, предлагает обратить внимание на перформативный смысл высказывания и занять позицию не потребителя, а соучастника игрового обмена, инициированного автором. Если обман однозначен и конечен, то обмен, на возможность которого указывает ирония, бесконечен, разные значения пробуждают и множат друг друга. Ее использование в тексте сопряжено с воспитательным эффектом, который переживает адресатом как процесс собственного преобразования из простака в знатока, из жертвы в партнера.

Торг ироничен и в том смысле, что подразумевает некоторое равновесие между удовлетворением конкретных потребностей и неудовлетворенностью как перспективой на будущее. Часто люди трактуют свою выгоду узко, зачастую изменяя более значительным перспективам, вследствие чего остаются

«жалкими рабами, а не свободными агентами на рынке жизни» [6. С. 529]. Как писал Дж. Дьюи: «Являя собой по сути взаимодействие, обмен, коммуникацию, дистрибуцию, стремление делиться тем, что иначе осталось бы изолированным и отдельным, – торговля все еще пребывает в рабстве у частного интереса... Прагматическая вера влачится в цепях, а не шествует в полный рост» [9. Р. 59]. Таким образом, освобождение прагматической веры, по Дж. Дьюи, предполагало бы переход отношений рынка из сферы узкоэгоистической, экономической практики в более широкие культурные области.

Итак, идеал философа и философии общечеловечен, но в то же время уникален для каждой культуры. Своеобразие американского идеала, возникшего в XVIII–XIX столетиях и находящегося в силовом поле рыночных практик, политической демократии, развитой системы массовых коммуникаций, состоит в его близости к модели игры и «рынка», предполагающей состязательное сотрудничество, консенсус, толерантность, учет мнений всех сторон, признание ангажированности всех субъектов коммуникации, «эдем прирожденных прав человека» и поединок эгоистических волей, игру и ритуал» [8. С. 4]. Этот тип дискурса не исключительный в культуре США и, конечно, присущ не только ей, но, растиражировав себя посредством делового, политического, публицистического, литературного, философского слова, стал одним из важнейших средств самосозидания американской нации как культурного целого.

Если классический европейский идеал коммуникации предполагал полноту и непосредственность самораскрытия, бережное и целостное восприятие другой индивидуальности, глубину и значимость предмета коммуникации, то «дискурс рынка» породил «мир слова, всегда неравного к себе, обманчивого по определению, точнее, способного равно к правдивости и обману» [Там же. С. 246]. Данный тип речевой коммуникации указал на периферийность диалога, на конвенциональную, прагматическую природу его мнимой глубины.

Данная парадигма рождает особый взгляд на философию не как на процесс приобретения истины, но как на способ получения удовлетворения от промежуточных моментов понимания друг друга: «Взгляд на поддержание разговора как на самодостаточную цель философии, взгляд на мудрость как на способность поддерживать разговор равнозначен скорее взгляду на человеческие существа как на генераторов новых описаний, нежели как на существа, способные, следует надеяться, к точному описанию» – этими словами Р. Рорти рисует образ современной философии как посредника между другими голосами культуры [10. С. 30]. Именно такой разговор определяет и «дух эпохи», и своеобразие классической американской философии, лишенной притязаний на объективность и точность.

Литература

1. *Токвиль А. де.* Демократия в Америке. М. : Прогресс, 1994. 560 с.
2. *Katzen M.* Mystic chords of memory. The transformation of tradition in American culture. N. Y. : Alfred A. Knopf, 1991.
3. *Commager H.S.* The American mind. An interpretation of American thought and character since the 1980. New Haven, 1950.
4. *Fabian A.* Card Sharps, Dream books and bucket shops. Gambling in 19-th century America. Ithaca; London : Cornell University press, 1990.
5. *Whorf B.L.* Language, Thought and Reality / J.B. Carroll. Cambridge : MIT Press, 1956.

6. Маркс К. Капитал. М. : Политиздат, 1983. Т. 1, кн. 1. 907 с.
7. Эмерсон Р. Нравственная философия. Опыты. Представители человечества. URL: <http://www.nbospace.ru/emerson/> (дата обращения: 13.05.2018).
8. Венедиктова Т.В. Разговор по-американски: дискурс торго в литературной традиции США. М. : Новое литературное обозрение, 2003. 328 с.
9. *Pragmatism and American culture* / ed. G. Kennedy. Boston, 1950.
10. Порти Р. Философия и зеркало природы. Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1997. 320 с.

Mikhail V. Kulikov, Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia (Novokuznetsk, Russian Federation).

E-mail: philosophy_mk@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 80–87.

DOI: 10.17223/1998863X/43/7

AMERICAN PHILOSOPHY: AN ATTEMPT OF IDENTIFICATION THROUGH THE CATEGORY “MARKET”

Keywords: American philosophy; market; discourse of bargaining.

The article deals with the specifics of the spiritual life of America through the introduced category “market”. An attempt is made to define the notion “American philosophy” through the discovery of common features of Ralph Emerson’s transcendentalism, pragmatists, neo-realists, naturalists, and analytical philosophers. One of the most important factors that influenced the formation of American culture in general and philosophy in particular is the market – a special form of transactions and contracts. There also appeared a special kind of discourse, which the Russian researcher T. Venediktova designated as the “discourse of bargaining”. As a form of communicative relations, this language practice has spread in all spheres of American socio-cultural life. Bargaining is not only an economic category, but also a communicative one; it involves the dynamism of the participants in communication, participation in bargaining can expand the horizon of one’s “I”, help learn more about oneself after learning that there is the other. The subject of this system constantly reassesses, overcomes the present state and any definition-restriction. Within the political process, representative democracy can be viewed as the exercise of political power in the process of exchange. It can be assumed that the dissemination of this discourse is wider, and its influence is stronger: the less the relations of people are predetermined and unchanged, the more important for them the freedom to choose their destiny, mutual circumspection and readiness for compromise are. Discourse of the market can serve as a model for an ideal “incessant dialogue”, however, not the dialogue that implies the completeness of self-disclosure, attentive attitude to another individuality, but the kind of dialogue characterized by convertibility, substitution of truths, competitiveness, deception, manipulation, unpredictability. The author believes that American philosophy has a number of authors whose works can be interpreted through the “market” model as a special kind of an “incessant dialogue”. Thus, Charles Sanders Pierce formulated the idea of a pragmatic approach consisting in identifying the meaning of the concept with its consequences, and his idea of fallibilism introduces the intersubjective agreement of the scientific community as a criterion of “intermediate truth”. William James gave the pragmatic method of the all-encompassing region and established the “working capacity”, the simplification and saving of the subject’s efforts as a criterion of the truth of the idea. In the approach to explaining being, James uses the principles of pluralism and indeterminism: truth is not the result, the result of research, truth is an event, a process, its value and significance, and lies in the very process of its confirmation. In the works of John Dewey and George Herbert Meade the contextual characteristics of knowledge are actualised. Ideas, according to Dewey, are tools for practice, subject to improvement as new problematic situations arise. The communicative nature of culture and knowledge is especially evident in the concept of “solidarity as tolerance”, of reaching an agreement based on an ironic attitude to opinions, values and beliefs, and on willingness to sacrifice them because of their non-absolute character. Thus, the ideal of a philosopher and philosophy is universal, but at the same time unique for every culture. The peculiarity of the American ideal that emerged in the eighteenth and nineteenth centuries and is in the force field of market practices, political democracy and a developed system of mass communications lies in its proximity to the game model and the “market”, which implies adversarial cooperation, consensus, tolerance, recognition of the involvement of all subjects of communication. This type of discourse is not exclusive in the culture of the United States and, of course, is inherent not only to it, but, replicating itself through the business, political, journalistic, literary and philosophical word, it has become one of the most important means of self-creation of the American nation as a cultural whole.

Reference

1. Tocqueville, A. de (1994) *Demokratiya v Amerike* [Democracy in America]. Translated from French by V. Oleynik, E. Orlova, I. Malakhova, I. Ivanyan, B. Vorozhtsov Moscow: Progress.
2. Kammen, M. (1991) *Mystic chords of memory. The transformation of tradition in American culture*. New York: Alfred A. Knopf.
3. Commager, H.S. (1950) *The American mind. An interpretation of American thought and character since the 1980*. New Haven: Yale University Press.
4. Fabian, A. (1990) *Card Sharps, Dream books and bucket shops. Gambling in 19-th century America*. Ithaca; London: Cornell University Press.
5. Whorf, B.L. (1956) *Language, Thought and Reality*. Cambridge: The MIT Press.
6. Marx, K. (1983) *Kapital* [Capital]. Vol. 1(1). Translated from German. Moscow: Izd-vo politicheskoy literatury.
7. Emerson, R. (n.d.) *Nravstvennaya filozofiya. Opyty. Predstaviteli chelovechestva* [Moral Philosophy. Experiments. Representatives of Humanity]. Translated from English. [Online] Available from: <http://www.nspace.ru/emerson/>. (Accessed: 13th May 2018)
8. Venediktova, T.V. (2003) *Razgovor po-amerikanski: diskurs torga v literaturnoy traditsii SSHA* [American conversation: The discourse of bargaining in the US literary tradition]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye.
9. Kennedy, G. (ed.) (1950) *Pragmatism and American Culture*. Boston: Heath.
10. Rorty, R. (1997) *Filozofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and The Mirror of Nature]. Translated from English by V. Tselishchev. Novosibirsk: Novosibirsk State University.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК 130.122:8

DOI: 10.17223/1998863X/43/8

М.А. Корниенко

ЛИНГВОФИЛОСОФИЯ НОАМА ХОМСКОГО: ОТ КАРТЕЗИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ К ГЕНЕРАТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ

Анализируется вклад теории порождающей грамматики Н. Хомского в лингвофилософское знание XX в., обозначенный как «хомскианская революция» («вторая когнитивная революция», особенностью которой стало исследование языка посредством формальных моделей, отражающих фундаментальные параметры языка) и связанный с теорией иннативизма. Раскрыта категориальная структура теории Н. Хомского. Показано, что главное, придавшее вкладу Н. Хомского статус революционного, заключено в новой постановке проблем и использовании в их решении потенциала метода формализации.

Ключевые слова: теория порождающей грамматики, динамическое правило порождения, языковая компетенция, глубинная структура, поверхностная структура, рекурсия, иннативизм.

В 1957 г. вышла в свет первая книга профессора Массачусетского технологического института Ноама Хомского «Синтаксические структуры» [1], обогатившая лингвофилософское знание XX столетия и положившая начало феномену, названному хомскианской революцией. Подобную оценку вклада Н. Хомского в процесс создания теории «иннативизма» давали многие из тех, кто занимался проблематикой лингвофилософии, например, так оценивает идеи Н. Хомского Ж. Сёрль. Он полагает, что явление хомскианской революции подобно революции, совершенной ранее Ф. де Соссюром. Действительно, открытие Н. Хомского стало началом новой эпохи в лингвофилософии. Автор идеи порождающей грамматики, отойдя от дескриптивизма, обратился к прошлому лингвистики – работам В. фон Гумбольдта, грамматистам Пор-Рояля, идеям Р. Декарта. Новая эпоха, связанная с генеративной лингвистикой, обнаружила утрату интереса к идеям бихевиоризма, решительный отход от структуралистской парадигмы к парадигме генеративистской – этот переход и получил название «хомскианская революция». Свершившаяся революция получила и иное название – «вторая когнитивная революция». Характерной особенностью ее стало исследование языка посредством создаваемых формальных моделей. Эти модели отражали фундаментальные параметры, характеризующие язык. Языковая способность получила возможность быть изученной посредством определенной системы правил, базирующейся на представлении о мозге, имеющем программу получения неограниченного количества предложений из ограниченного числа слов. Н. Хомским были предложены идеи «ментальной грамматики» и «грамматики универсальной».

Усваивая грамматику, полагал он, человек усваивает не порядок слов, но порядок следования частей речи. Предложение ориентировано на всеобъемлющую схему, общую для грамматик всех языков.

В обозначенной выше работе «Синтаксические структуры», как и во множестве других («Картезианская лингвистика», «Проблема знания и свободы», «Логические основы лингвистической теории», «Аспекты теории синтаксиса», «Правила репрезентации», «Знание и язык», «Язык и мышление», «Минималистская программа», «О природе и языке»), Н. Хомским была интерпретирована модель языка, получившая название генеративной грамматики (порождающей, генеративной, трансформационной грамматики). Эта модель позволила трансформировать базис традиционалистской структурной лингвистики, и в этом смысле открытие Н. Хомского было революционным по своему замыслу и масштабу.

Сам Н. Хомский уже в работе «Язык и мышление» заявил о том, что в основание его «теории иннативизма» положены классические теории – грамматика и логика Пор-Рояля и теория языка В. фон Гумбольдта. Рассматривая язык как соотношение звука и значения, Н. Хомский предлагает логику следования за теорией Пор-Рояля, когда пишет о грамматике языка как содержащей систему правил, характеризующей не только глубинные и поверхностные структуры, но и то трансформационное отношение, что существует между глубинными и поверхностными структурами. Эта логика должна быть выдержана, если грамматика «нацелена на то, чтобы охватить творческий аспект – применимую к бесконечной совокупности пар глубинных и поверхностных структур» [2. С. 28]. Этот вывод о значимости идей В. фон Гумбольдта для создания выдержанной в духе генеративизма языковой модели Н. Хомский делает, исходя из тезиса В. фон Гумбольдта: «...говорящий использует бесконечным образом конечные средства. Его грамматика должна содержать конечную систему правил, которая порождает бесконечно много глубинных и поверхностных структур, связанных друг с другом соответствующим образом» [Там же].

Н. Хомский сформулировал ряд классических, фундаментальных вопросов, посредством которых была расширена сфера исследовательских представлений о способности освоения языка человеком, как и о пользовании языком. В работе «Язык и проблема знания» Н. Хомский облекает эти вопросы в следующую форму:

- Что такое система знаний – для говорящего, скажем, на таких языках, как японский, английский, испанский, и как формируется обозначенная система в сознании говорящего?

- Какими являются способы и формы использования знания в речи?

- В чем специфика тех механизмов, которые являются базисным основанием как для системы знаний, так и для использования этих знаний?

Н. Хомский сумел взглянуть на эти вопросы как на фундаментальные в своей природе и сути, именно эти вопросы со времен Платона являли собой средоточие «философских и лингвистических штудий, направленных на изучение системы знаний, репрезентируемых в сознании, в конечном счете в мозгу в виде какой-то физической конфигурации» [3. Р. 3]. И то главное, что придало лингво-философскому вкладу Н. Хомского статус вклада революционного, заключено в принципиально новой постановке

проблем и использовании в решении этих проблем потенциала метода формализации.

Какими были эти проблемы? В исследовательском диапазоне могут быть названы такие новые для науки проблемы, как проблема отношения мозга и тела, проблема природы языковых инстинктов, проблема соотношения семантики и когнитивистики, как и многое другое. Воодушевление, рожденное интеллектуальным стимулом огромной силы, было всеобщим, именно его результатом стали работы С. Пинкера, Дж. Эйчисона, Р. Джэкендоффа, Т. Дикона, М. Джонсона, Дж. Лакоффа, Р. Лакоффа, Р. Лиза, П. Постала, Дж.Р. Росса, П. Сойрена, С. Бейкера, П. Куликовера.

Помимо этого, как полагает З.А. Харитончик [4], можно говорить и об отказе от бихевиоризма и о трансформации ориентиров исследовательского интереса в сторону когнитивных свойств языка. З.А. Харитончик пишет о разрушительной критике бихевиоризма, даваемой Н. Хомским в рецензии к работе Б.Ф. Скиннера 1957 г. «Verbal Behaviour». С позиций бихевиоризма Б.Ф. Skinner интерпретировал вербальное поведение человека, исходя из представлений о стимуле и реакции. Если в основании позиции гарвардского психолога лежит представление о порождении речи как о ряде последовательных реакций и в этом ряду очевиден и неизбежен контроль внешних стимулов, то позиция Н. Хомского заключена в диаметрально противоположном: человек, владеющий языком, воспринимает непрерывно порождаемую речь в силу того, что эта речь порождена индивидуальной внутренней грамматикой, усвоенной каждым из нас.

«Язык, – писал Н. Хомский, – представляет собой набор формализованных описаний предложений, из которых как частности вытекают звуковая сторона и значение языковых единиц» [5]. Физически языковая система отождествлена с правилами грамматики: в работе «Репрезентация формы и функции», вышедшей в 1981 г. в «Лингвистическом обозрении», Н. Хомский отмечает существенный сдвиг, произошедший в сфере лингвистического анализа; это сдвиг, суть которого в смещении исследовательского акцента с языка на грамматику, что и совпало с возникновением идей генеративной грамматики. В основании языка, по мнению Н. Хомского, – совокупность универсалий, грамматика выступает как носитель этих языковых универсалий. «Универсальная грамматика» представляет собой базис функционирования языка. «Универсальная грамматика» по природе своей врожденное образование, врожденными являются и лежащие в основании языка синтаксические конструкции. В работе «Осмысление языка» Н. Хомский дает определение «универсальной грамматики» как системы принципов, присущих человеческому языку. Это обязательные принципы. Н. Хомский говорит о детерминизме биологическом. Универсальная грамматика объявлена сутью языка и инвариантна для всех. Любой язык отличен от другого лишь действием случайных факторов.

В «Современных проблемах лингвистической теории» («Current Issues in Linguistic Theory») автор «порождающей грамматики» писал об основании любой означающей лингвистики: «Основной факт, на котором должна основываться любая означающая лингвистика, состоит в следующем: говорящий может в своей речи построить новую, уместную в данный момент, фразу, а другие (слушатели) могут ее непосредственно понять, хотя для них

она в равной мере является новой. Значительная часть нашего лингвистического опыта, выступаем ли мы в качестве говорящих или в качестве слушающих субъектов, содержит в себе новые фразы; после того как мы овладели языком, количество фраз, которые мы можем, не задумываясь, употреблять свободно и непринужденно, столь велико, что мы могли бы считать его бесконечным во всех отношениях... Нормальное овладение языком означает не только способность непосредственно понимать бесконечное число абсолютно новых фраз, но и способность опознавать неправильно построенные фразы и в случае необходимости давать им истолкование... Очевидно, что теория языка, отрицающая этот «творческий» аспект, имеет лишь ограниченный характер» [б. С. 148–149].

Н. Хомский пишет о необходимости нового понимания структуры, и это новое понимание структуры следует принимать во внимание в грамматике языка. Автор пишет о грамматике в «Современных проблемах лингвистической теории» как о подходе, с помощью которого устанавливается бесконечная серия оформленных фраз. Грамматика дает каждой из этих фраз одно или несколько структурных описаний. Прежнее структурное описание ориентировано на заверченный блок. Посредством добавления к нему, посредством означивания это прежнее структурное описание позволяет реализовать то, что П. Рикёр в «Конфликте интерпретаций» называет динамическим правилом порождения. В одной из работ, в «Картезианской лингвистике» («Cartesian Linguistics»), Н. Хомский, символизируя новый поворот в лингвистике, новую фазу в развитии лингвистической теории, когда на смену «структурированной инвентаризации» (термин П. Рикёра) приходит динамическое понятие структурирующей деятельности, обращается к идеям картезианства, интерпретированного язык в терминах деятельности, порождения. Позднее П. Рикёр даст высокую оценку концептуальной схеме Н. Хомского, назвав концепцию автора порождающей грамматики концепцией структуры как упорядоченного динамизма, когда напишет о ситуации, в которой идеям Н. Хомского суждено было одержать верх в полемике с первым структурализмом, и в основание этой победы положена в том числе ассимиляция лингвистикой, представляемой Н. Хомским, идей раннего структурализма.

Теория порождающей грамматики, изложенная на страницах «Синтаксических структур», прошла этапы достаточно длительной эволюции. Отметим, что обозначенную работу Н. Хомского аналитики (в числе которых как безоговорочно принимающие идеи Н. Хомского, так и полагающие их заблуждением) относят к разряду величайших книг XX столетия. Последователей идей порождающей грамматики стали называть генеративистами (генеративистский метод отличен от структуралистского дескриптивизма в лингвистике, однако есть в них и общее, и это общее заключено в отыскании правил).

Этапы теории порождающей грамматики отражают эволюцию идей Н. Хомского, нашедшую выражение в его наиболее значимых работах. Мы назовем следующие из этих этапов:

- Этап стандартной теории (Standard Theory – 1957), ориентированной на «модель синтаксических структур» и представленную в «Аспектах теории синтаксиса» (1965) «модель аспектов».

- Этап расширенной стандартной теории (Extended Standard Theory – 1970), ориентированной на идеи, изложенные Н. Хомским в «Заметках о но-

минализации» (1970), когда ряд принятых до этого составляющих грамматики (фонетическая составляющая, трансформационная составляющая, синтаксис) был дополнен семантической составляющей.

- Этап теории параметров и принципов (The Government and Binding Theory). Суть исследовательского интереса изложена в Пизанских лекциях 1979 г. и позднее – в работе «Лекции об управлении и связывании» (1981); иное название теории связано с подходом, положенным в ее основание, – теория управления и связывания. В нее включены одна универсальная трансформация и ряд модулей.

- Этап исследовательской программы-стратегии (The Minimalist Program). Начало ему положено в 1990-е гг., суть стратегии изложена в монографии 1995 г. «Минималистская программа». Сам Н. Хомский писал, что речь идет не о новой теории, но лишь о новом исследовательском проекте, базовые компоненты (лексикон и вычислительная система) дополнены двумя интерфейсами (фонетическим и логическим).

- Этап теории неформленных фраз (Bare Phrase Structure (1994)).

- Этап теории пофазовой деривации (Derivation By Phase (2001)). Речь идет о производстве (деривации) высказываний, состоящем из ряда этапов: явное (overt) формирование из лексических единиц множества N первоначального синтаксического объекта, озвучивание фонетических свойств лексических единиц, в ходе которого обозначенные свойства интерпретируются сенсорно-моторным интерфейсом и отбрасываются (strip away), а далее следуют скрытые операции (covert), направленные на доработку логической формы; по завершении деривации она должна содержать лишь семантические свойства.

Перечисленные этапы эволюции теории порождающей грамматики отражают специфику тех версий этой теории, что сформировались к началу XXI в. Речь идет о доработке ряда положений порождающей грамматики, осуществленной как первооткрывателем, так и его последователями и оппонентами: С. Бейкером, П. Куликовером, Дж. Макколи, П. Сойреном, Дж. Лакоффом и Р. Лакоффом, Р. Джэкендоффом, Дж. Россом, П. Постолом, Р. Лизом, С. Пинкером, Дж. Эйчисоном, Т. Диконом, М. Халле. Генеративная лингвистика Н. Хомского сохранила свой статус в США и сегодня; в пространстве же континентальной философии исследовательские акценты смещены в сторону теории речевых актов и логической семантики. Парадоксально то, что некоторые из идей раннего генеративизма в большей степени были отвергнуты именно создателями генеративной грамматики, нежели теми, кто находился к ней в оппозиции начиная с выхода в свет «Синтаксических структур».

Разновидностью порождающей грамматики является теория морфологических систем (форм дискурса) Гюстава Гийома, показавшего, как в деятельности дискурса из слов возникает фраза; форма дискурса, помещая слово в контекст фразы, завершает, закрывает слово. Г. Гийом полагал, что включением слова в контекст фразы система форм создает возможность (для слов и дискурсов) быть соотнесенной с реальным миром. Им приведена в качестве примера роль существительного и глагола в системе языка, – это те категории дискурса, посредством использования которых знаки оказываются повернутыми к универсуму, к пространству и времени: «Преобразуя слово в имя су-

существительное и глагол, эти категории делают наши знаки способными овладевать реальностью и сохраняют за ними возможность образовывать конечную, замкнутую сферу, подотчетную семиологии» (цит. по: [6. С. 150]). П. Рикёром приводится уточняющее замечание, позволяющее объяснить фразу Г. Гийома «поворот знака к универсуму». Это объяснение у П. Рикёра основано на понимании роли синтаксиса в языке. Синтаксис, имея отношение к дискурсу, а не к языку, находится на траектории возвращения знака к реальности, поэтому имя существительное и глагол как формы дискурса «говорят о работе языка по пониманию реальности в ее пространственно-временном аспекте», – именно это названо Г. Гийомом поворотом знака к универсуму: «...знак – это то, что жаждет применения, чтобы выразить, постигать, понимать и в конечном счете обнаруживать, делать очевидным», поэтому «филоσοфия языка не должна ограничивать себя тем, что свойственно семиологии и ее возможностям; чтобы говорить об отсутствии знака в вещах, достаточно редукции природных отношений и их превращения в отношения означивания» [Там же. С. 151]. При этом редукция является оборотной стороной намерения сказать, – и важно то, что это намерение сказать с необходимостью естественного процесса ведет к намерению показать.

В концептуализации идеи иннативизма, ее доказательстве и аргументации Н. Хомским использован категориальный аппарат, суть которого изложена далее.

Проходит восемь лет после выхода в свет «Синтаксических структур», и в 1965 г. Н. Хомский публикует «Аспекты теории синтаксиса», а три года спустя – «Язык и мышление». Именно исследовательские проекты 1965 и 1968 гг. привнесли в лингвофилософию понятие «языковой компетенции». Отправным моментом при этом стали идеи В. фон Гумбольдта и лингвофилософская рационалистическая традиция, нашедшая отражение в трудах Р. Декарта и Ж. де Кордемуа, Дж. Хэрриса и Р. Кедворта, братьев Шлегелей. Излагая целостно представление о доминирующей специфике рационалистической интерпретации языка, Н. Хомский в «Аспектах теории синтаксиса» обращается к понятию «языковой компетенции» (*competence*), противопоставив его понятию «употребление» (*performance*). Это противопоставление подобно тому, как Ф. де Соссюр противопоставил «речь» и «язык». В понятии «языковая компетенция» Н. Хомский увидел возможность носителей языка не просто структурировать огромное число высказываний, но структурировать эти высказывания, опираясь на заданные «правила грамматики». Эти правила грамматики представляют собой универсальное грамматическое ядро, в самом же языке заключена возможность использования языковых компетенций в процессе говорения. Н. Хомский следующим образом интерпретирует в «Языке и мышлении» языковую компетенцию, называя ее определенной системой интеллектуальных способностей (языковых способностей), системой знаний и убеждений, развиваемой уже в детском возрасте и во взаимодействии с иными факторами, определяющей виды поведения. Н. Хомским определены и условия изучения этой системы: «...мы должны изолировать и изучать систему языковой компетенции, которая лежит в основе поведения, но которая не реализуется в поведении каким-либо прямым или простым образом. И эта система языковой компетенции качественно отличается от всего, что может быть описано в терминах таксономических ме-

тодов структурной лингвистики, с помощью понятий S-R-психологии или понятий, выработанных в рамках математической теории или теории простых автоматов» [7. С. 15].

В «Языке и мышлении» Н. Хомский обращает особое внимание на исследования, ориентированные на определение системы правил, составляющих знание языка и, соответственно, на то, чтобы отыскать те принципы, которые управляют этими системами, определяют законы действия системы (в отличие от дескриптивизма). Подобный метод Н. Хомский называет галилеевским. Отметим, что первое издание «Языка и мышления» в 1972 г. было дополнено тремя статьями «Форма и значение в естественных языках», «Формальная природа языка», «Лингвистика и философия», что не внесло в интерпретацию явления «языковой компетенции» принципиально новых моментов.

Впервые проблема «языковой компетенции» превратилась в предмет дискуссий в середине XIX в., но именно Н. Хомский придал ей век спустя новизну. Ранее Н. Хомский писал о важнейшей проблеме лингвистической науки – отсутствии в ней парадигмы, что сосуществовало с огромным накопленным за века массивом фактического языкового материала. Этот массив нуждался в упорядочивании, и именно эту роль могла бы сыграть парадигма. С позиции Н. Хомского, теория лингвистики ориентирована на идеального говорящего – он слушает язык, его бытие осуществляется в однородной речевой общности, он независим от «грамматически незначимых условий» (этот термин Н. Хомским введен для обозначения обмолвок, оговорок, смены внимания, ограничения памяти, изменения плана в середине высказывания и т.п.). Возможна ли ситуация, в которой употребление является отражением компетенции? Н. Хомский полагает, что характер отличия компетенции (знания языка говорящим-слушающим) и употребления (реального применения языка) фундаментален, лишь в идеале употребление непосредственно отражает компетенцию, в речевой практике употребление не может явиться прямым отражением компетенции. Этим определена исследовательская задача: рассмотрев конкретную ситуацию говорения, определить совокупность правил, используемых в процессах говорения компетентным говорящим – слушающим. Языковая компетенция при этом представлена как целостность процессов порождения. Являясь по сути творческим феноменом, язык обеспечивает бесконечный в своем масштабе массив непредсказуемых ситуаций средствами их выражения; при этом грамматика языка дополняется универсальной грамматикой. В чем же заключен творческий аспект языка? Н. Хомский, не будучи удовлетворен картезианским объяснением, в работе «Язык и проблемы знания» пишет о творческой способности как о языковом механизме, который использует тот, кто говорит на языке: «...языковая способность – физический механизм в смысле, уже объясненном выше, – имеет некоторые определенные свойства и не имеет других. Задача универсальной грамматики как раз и состоит в том, чтобы сформулировать и описать эти свойства. Именно они позволяют человеческому разуму усваивать язык особого типа с порою в высшей степени странными и удивительными чертами» [Там же. С. 236]. И далее: «В случае языка существует особая способность, являющаяся одним из основных элементов человеческого разума. Она действует почти мгновенно, предопределенным способом, бессознательно и вне границ созна-

тельного контроля, причем одинаково у всех представителей данного вида, образуя в результате богатую и сложную систему знаний – конкретный язык» [7. С. 242]. В интерпретации Н. Хомского, порождающая грамматика имеет дело с процессами мышления, находящимися за пределами реального или потенциального осознания; пытается определить, «что говорящий действительно знает, а не то, что он может рассказать о своем знании». И эта установка определяет потенциал порождающей грамматики. Он заключен не в анализе и описании высказываний, но в возможности осуществления логико-математического процесса генерирования всех высказываний языка. Доминирующей идеей при этом является мысль о конечной совокупности правил, способных породить, генерировать правильные предложения языка. С этой идеей в лингвофилософию вошла «порождающая модель», основанная на разработке принципов реконструкции процессов языкового моделирования, дескриптивизм тем самым оттеснялся с приоритетных позиций. Была трансформирована и схема порождения речи. На смену схеме, представленной цепью «звук – слова – словосочетания – предложения» пришло представление, в котором «непосредственно составляющими» явились синтаксис и фонология, сам же процесс порождения речи в этой схеме имел иную направленность – от синтаксиса к фонологической составляющей. Несомненной заслугой Н. Хомского является то, что он сумел разглядеть присущие языку богатейшие конструктивные возможности, что сосуществует с ограниченным объемом вербальных средств. Для обоснования этого тезиса и введены понятия «языковая компетенция» и «языковое употребление». И в то время, как первое основано на ряде правил, употребляемых говорящим (с помощью этих правил создается огромное количество предложений), второе – реализация первого. И правила языка («лингвистические универсалии» в терминологии Н. Хомского) – это тот интеллектуальный багаж вида, вне которого человек как вид не смог бы существовать.

Порождение речи – процесс, имеющий специфическую направленность (от синтаксиса к фонологии), однако смысл предложения увиден Н. Хомским в семантике (на эту идею и работают труды Н. Хомского, посвященные проблемам генеративной семантики как направления генеративной лингвистики). Н. Хомским введено понятие «ядерных» фраз, как введены для обозначения внутрифразовых синтаксических связей и понятия «глубинная структура» – «поверхностная структура». Н. Хомский увидел в знании языка умение приписать семантическую и фонетическую интерпретацию глубинной структуре, одновременно выделив связанную с глубинной составляющей структуру, получившую название поверхностной. В чем же их различие?

В «Картезианской лингвистике», явившейся антологией лингвофилософской мысли, посвященной исследованию лингвофилософской рационалистической традиции XVII–XVIII и первой трети XIX в., Н. Хомский называет эту традицию незаслуженно забытой и излагает главные особенности подхода к языку, сформировавшиеся в проблемном поле рационализма и Античности.

Подход Н. Хомского к сути глубинной и поверхностной структур основан на представлении о том, что язык имеет две стороны – внутреннюю и внешнюю; последнее дает возможность аналитику увидеть способ, которым предложение выражает мысль (1) и его «физический облик» (2). Это и есть

то, что обеспечивает семантическую или фонетическую интерпретацию. Различие же глубинной и поверхностной структур заключено в том, что глубинная структура – базисная абстрактная структура. Она определяет семантическую интерпретацию предложения, в то время как структура поверхностная – та организация единиц, что связана с физической формой высказывания, его воспринимаемой или производимой формой, с фонетической интерпретацией. На этом, по мнению Н. Хомского, базируется фундаментальный тезис картезианской лингвистики (проявивший себя в «Грамматике» Пор-Рояля и картезианском подходе к языку): «...глубинная и поверхностная структуры не обязательно должны быть тождественными. Базисная организация предложения, важная для его семантической интерпретации, не обязательно непосредственно обнаруживается в реальной расстановке и группировке его конкретных компонентов» [8. С. 73].

Глубинная структура включает систему элементарных предложений, и в ситуации, когда из глубинной системы нужно создать реальное предложение, нужны правила – Н. Хомским они названы грамматическими трансформациями. Глубинная структура (а она выражает значение) едина для всех языков, в этом смысле она – простое отражение формы мысли. Трансформационные правила, посредством которых идет превращение глубинной структуры в поверхностную, различны для различных языков. Н. Хомский особую роль отводит семантическому содержанию предложения, полагая, что именно оно передается глубинной структурой реально произнесенного высказывания. Глубинная структура соотнесена с реальными предложениями, и любое из составляющих эту структуру абстрактных предложений имеет возможность непосредственно реализоваться в форме пропозиционального суждения – эти идеи раскрыты ранее в «Логике» Пор-Рояля. Н. Хомский полагает, что это тот массив идей, который должно учитывать в любой синтаксической теории, где уточняется понятие глубинной структуры и формируются принципы связи глубинной и поверхностной структур, – в любой теории трансформационной порождающей грамматики. Предназначение теории подобного рода – создать правила, помогающие определить вид глубинных структур, определить способ их соотношения с поверхностными структурами, систему правил семантической и фонологической интерпретации глубинных и поверхностных структур. В решении этих задач Н. Хомский видит способ детальной разработки и формализации понятий, которые «лишь частично находят словесное выражение» [Там же. С. 83]. В сознании осуществляющего высказывание всегда присутствует глубинная структура. Н. Хомский пишет: «...мы можем формализовать описанный выше подход посредством описания синтаксиса языка в терминах двух систем правил: базовой системы, порождающей глубинные структуры, и трансформационной системы, отображающей глубинные структуры. Базовая система состоит из правил, порождающих глубинные грамматические отношения между элементами с абстрактным порядком (правила переписывания грамматики непосредственных составляющих); трансформационная система состоит из правил опущения, пермутации, прибавления и т.д.» [Там же. С. 89].

Уже в «Грамматике» и «Логике» Пор-Рояля обнаруживает себя попытка развить теорию глубинной и поверхностной структуры. Н. Хомский развивает этот тезис на примере употребления наречий и глаголов, полагая, что тео-

рия поверхностной и глубинной структур имеет непосредственное отношение к идее творческого характера языкового употребления. Н. Хомский, обращаясь к идеям теории глубинной и поверхностной структур, пишет о том, что сама грамматическая структура предложений языка является продуктом, результатом и следствием трансформации, в основание которой положены правила «глубинной грамматики». Это врожденный механизм. Он конституирует знание языка и механизмы, способы овладения языком.

Идея различения глубинной и поверхностной структур предложения, как и идея правил, посредством использования которых создаются глубинные структуры (правила структуры составляющих – правила переписывания) и правила трансформации, благодаря которым возможно преобразование глубинных структур в поверхностные, содержалась уже в Стандартной теории. Порождающая грамматика в силу анализа правил трансформации на протяжении длительного периода имела название «Трансформационная грамматика». Глубинной структурой предложения являлась часть синтаксического описания, определяющая семантическую интерпретацию, в то время как в качестве поверхностной структуры выступает часть, определяющая фонетическую форму. Интересен вывод Н. Хомского о соответствии нескольких глубинных структур одной поверхностной; возможно и обратное, когда фонетическая форма соответствует разным смыслам. Это различие отражается в глубинных структурах («The police were ordered to stop drinking after midnight»).

Как работает язык? Ответ на этот вопрос уже на стадии Стандартной теории был сформулирован следующим образом: правила грамматики – врожденные, человек использует их на бессознательном уровне. Процесс производства предложения (деривация) связан с созданием глубинной структуры предложения (при этом учитываются правила переписывания и доступный лексикон), формируется поверхностная структура. В процессе восприятия последняя трансформируется в глубинную, чтобы затем быть понятой на уровне смысла. При этом правила – это синтаксические правила. Что касается Расширенной стандартной теории, применительно к ней речь идет о правилах семантической интерпретации и лексических правилах, отсюда и название Расширенной стандартной теории – «интерпретивизм», «лексикализм» (подробный анализ этапов теории Н. Хомского дан в [4, 9]).

Обратим внимание еще на один категориальный конструкт, играющий важнейшую роль в интерпретации парадигмы теории порождающей грамматики Н. Хомского – речь идет о понятии «рекурсия».

Что представляет собой рекурсия и какая роль в порождающей грамматике ей отведена? В основании модели генеративной грамматики Н. Хомского лежит ряд универсалий. Одной из универсалий является способность языка к рекурсии. В лингвистике рекурсией называют способность языка порождать вложенные предложения и конструкции. Если описывать рекурсию математически, то ее можно представить как алгоритм, построенный на основе функции, которая обращается сама к себе. В качестве примера рекурсии можно представить конструкцию из существительных с ее последующей трансформацией (пример: друг брата → жена друга брата → сестра жены друга брата и т.д.). Н. Хомский, обратившись к теории глубинной и поверхностной структур, содержащейся уже в лингвистических построениях Пор-

Рояля, увидел в них рекурсивные механизмы и полагал эти механизмы врожденной способностью человека. Позднее, в совместной статье с М. Хаузером и В. Фитчем, Н. Хомский пишет о «вычислительном механизме рекурсии» как об уникальном для нашего вида; при этом рекурсивная синтаксическая структура, отражающая соответствующую структуру мысли, является специфичной для человеческого языка [10. Р. 1573]. Эти рекурсивные механизмы позволяли обеспечивать процесс бесконечного использования тех средств, что сами по себе конечны, средств, которые описывались этой теорией. Таковой, делает вывод автор теории порождающей грамматики, и должна быть теория языка, претендующая на статус адекватной. «Как в случаях тривиальных (например, при конъюнкции, дизъюнкции и т.п.), так и в более интересных случаях, обсуждаемых в связи с относительными придаточными и инфинитивами, единственный способ расширения глубинной структуры заключается в добавлении полных предложений с базовой субъектно-предикатной структурой. Трансформационные правила опущения, пермутации и т.д. не играют никакой роли в создании новых структур. Разумеется, остается открытым вопрос, в какой степени грамматисты Пор-Рояля осознавали данные свойства собственной теории, находились ли они в центре их интересов» [11. С. 89].

Сложнейшим вопросом, ответ на который долгое время ищет наука о языке, является вопрос о том, как может быть объяснима способность человека создавать и интерпретировать бесконечный по своему объему массив грамматически верных высказываний (и смыслов), используя конечное, ограниченное множество высказываний, ранее встречаемых. Генеративисты в попытке ответить на этот вопрос исходят из предположения о рекурсивных механизмах, о том, что высказывание создается именно посредством использования применительно к уже известным выражениям конечного числа врожденных правил, это закодированные в мозгу правила, их реализация – функция мозга. И задача порождающей грамматики заключена в том, чтобы представить формальное описание этих правил (принципов), отсюда и то, что ее рассматривают как разновидность формальной лингвистики. «Хомский, – пишет, рассматривая проблемы порождения смысла в современном генеративизме А.Е. Сериков, – не связывая эволюцию языка с функцией передачи информации, исходит из существования врожденной человеческой способности к рекурсии (в частности, к синтаксису и операциям с числами), но выносит за ее пределы знание лексикона и собственно мышление. Поэтому как минимум часть языковых явлений объясняется социально-культурными факторами и передачей опыта от одних людей к другим. Такое утверждение не будет противоречить ни одной из существующих лингвистических теорий» [9. С. 158].

Сами же высказывания формируются в языке посредством рекурсивного использования конечного массива правил. Они имеют характер врожденных, а использование этого конечного числа правил обеспечено функциональными особенностями мозга.

Литература

1. Хомский Н. Синтаксические структуры = Syntactic Structures // Новое в лингвистике. М., 1962. Вып. 2. С. 412–527. URL: <http://codenlp.ru/books/ssh.pdf> (дата обращения: 13.05.18).

2. Хомский Н. Язык и мышление. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1972. 121 с.
3. Chomsky N. Language and Problems of Knowledge. The Managua Lectures. New York : The MIT Press, 1988. 205 p.
4. Харитончик З.А. Хомскианская революция: обещания и результаты // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. № 1. С. 5–11.
5. Chomsky N. Essays on Form and Interpretation. New York : North-Holland, 1977. P. VI+216.
6. Рикёр П. Конфликт интерпретаций : Очерки о герменевтике. М. : Академический проект, 2008. 695 с.
7. Хомский Н. Язык и мышление. Язык и проблемы знания. Благовещенск : БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1999. 254 с.
8. Хомский Н. Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли. М., 2005. 228 с.
9. Сериков А.Е. Проблема порождения смысла и современный генеративизм // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2007. № 2. С. 155–173.
10. Hauser M.D., Chomsky N., Fitch W.T. The Faculty of Language: What is it, who has it, and how did it evolve? // Science. 2002. Vol. 298, № 5598. P. 1569–1579.
11. Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. 2-е изд., испр. и доп. М. : Едиториал УРСС, 2002. 480 с.

Mikhail A. Kornienko, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: snoose@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 88–100.

DOI: 10.17223/1998863X/43/8

THE LINGUISTIC PHILOSOPHY OF NOAM CHOMSKY: FROM THE CARTESIAN TRADITION TO GENERATIVE GRAMMAR

Keywords: theory of generative grammar; dynamic rule of generation; language competence; deep structure; surface structure; recursion; innatism.

The article reveals the contribution of Noam Chomsky's theory of generative grammar to the linguistic and philosophical knowledge of the twentieth century. It is shown that the revolutionary nature of Chomsky's contribution lies in the new formulation of problems and in the use of the potential of the formalisation method in solving these problems. The author proves that the model of language proposed by Chomsky allowed transforming the basis of traditionalist structural linguistics. Conceptually significant in the article is a phenomenon Paul Ricoeur described as a "dynamic rule of generation": the dynamic concept of structuring activity comes to replace the "structured inventory" (Ricoeur's term). This allowed Ricoeur to call Chomsky's concept the concept of structure as an ordered dynamism. The stages of the formation of the generative grammar theory are indicated. It is also shown that this evolution reflects the specific features of this theory formed at the beginning of the 21st century. The postulate that the theory of morphological systems (forms of discourse) of Gustave Guillaume should be considered a variety of generative grammar is accepted in the article as the original one. Guillaume showed how a phrase is formed from words in the discourse activity; how the form of discourse, placing a word in the context of the phrase, completes the word; how the inclusion of a word in the context of the phrase creates an opportunity for words and discourses to be correlated with the world; finally, how signs "turn towards the universe" through the categories of discourse. Finally, the conceptualisation of the idea of innatism required such categories as language competence and use, deep structure, surface structure, recursion. Language has a rich constructive capacity which coexists with a limited number of verbal means. The author believes that the concepts "language competence" and "language use" are introduced to substantiate this thesis. The notions of "deep structure" and "surface structure" were introduced to denote syntactic links of the internal phase. Deep structure includes a system of elementary sentences. The grammatical structure of sentences is a product of transformation, based on the rules of deep grammar. It is an innate mechanism. It constitutes the knowledge of the language and the mechanisms of mastering the language. The ability of recursion (the ability to create nested sentences and constructs) is specific to the human language. Generativists explain the ability of a person to create and interpret an infinite number of grammatically correct utterances using a limited set of utterances previously found by the presence of recursive mechanisms: an utterance is created by applying a finite number of innate rules to the already known expressions. Generative grammar gives a formal description of these rules, and this allows us to consider it as a form of formal linguistics.

References

1. Chomsky, N. (1962) Sintaksicheskiye struktury [Syntactic Structures]. In: Zvegintsev, V.A. (ed.) *Novoye v lingvistike* [New in Linguistics]. Issue 2. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literature. pp. 412–527. [Online] Available from: <http://codenlp.ru/books/ssh.pdf>. (Accessed: 13th May 18).
2. Chomsky, N. (1972) *Yazyk i myshleniye* [Language and Mind]. Translated from English by B.Yu.Gorodetsky. Moscow: Moscow State University.
3. Chomsky, N. (1988) *Language and Problems of Knowledge*. The Managua Lectures. New York: The MIT Press.
4. Kharitonchik, Z.A. (2017) Chomskian revolution: promises and results. *Vestnik VGU. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and Intercultural Communication*. 1. pp. 5–11. (In Russian).
5. Chomsky, N. (1977) *Essays on Form and Interpretation*. New York: North-Holland.
6. Ricœur, P. (2008) *Konflikt interpretatsiy. Ocherki o germeneytike* [Conflict of Interpretations. Essays on Hermeneutics]. Translated from French by I. Vdovin. Moscow: Akademicheskij proyekt.
7. Chomsky, N. (1999) *Yazyk i myshleniye. Yazyk i problemy znaniya* [Language and Mind. Language and Problems of Knowledge]. Translated from English by I. Kobozeva, B. Gorodetsky, N. Isakadze, A. Arefyev. Blagoveshchensk: BGK im. I.A. Boduena de Kurtene.
8. Chomsky, N. (2005) *Kartezianskaya lingvistika. Glava iz istorii ratsionalisticheskoy mysli* [Cartesian Linguistics a Chapter in the History of Rationalist Thought]. Moscow: Librokom.
9. Serikov, A.E. (2007) Problema porozhdeniya smysla i sovremennyy generativizm [The problem of generation of meaning and modern generativism]. *Vestnik Samarskoy gumanitarnoy akademii. Seriya "Filosofiya. Filologiya"*. 2. pp. 155–173.
10. Hauser, M.D., Chomsky, N. & Fitch, W.T. (2002) The Faculty of Language: What is it, who has it, and how did it evolve? *Science*. 298(5598). pp. 1569–1579. DOI: 10.1126/science.298.5598.1569
11. Kibrik, A.A., Kobozeva, I.M. & Sekerina, I.A. (eds) (2002) *Sovremennaya amerikanskaya lingvistika: Fundamental'nyye napravleniya* [Modern American Linguistics: Fundamental Directions]. 2nd ed. Moscow: Editorial URSS.

УДК 160.1

DOI: 10.17223/1998863X/43/9

В.А. Ладов

Б. РАССЕЛ И Ф. РАМСЕЙ О ПРОБЛЕМЕ ПАРАДОКСОВ¹

Рассматривается проблема логических парадоксов, представленная в работах Б. Рассела и Ф. Рамсея. Рассел мыслил все парадоксы как подобные, тогда как Рамсей утверждал, что они делятся на две совершенно различные группы. Во второй половине XX в. точка зрения Рамсея стала общепринятой. Современный австралийский логик Г. Прист настаивает на том, что прав был все-таки Рассел, а Рамсей ошибался, ибо все парадоксы имеют общую структуру и способ их решения. Автор данной статьи утверждает, что в этом споре нельзя определить победителя, поскольку парадоксы оказываются подобными в одном отношении и различными в другом. Все парадоксы подобны по своей структуре и способу их решения, и здесь прав Рассел, однако они различны по своей природе, по тому основанию, на котором они возникают, и здесь прав Рамсей.

Ключевые слова: Рассел, Рамсей, парадокс, логика, математика, семантика, множество, высказывание, самореферентность.

Введение

В работе «Математическая логика, основанная на теории типов» [1] Б. Рассел сформулировал несколько парадоксов, которые, по его мнению, подобны. Позднее в статье «Основания математики» [2] Ф. Рамсей классифицировал парадоксы на две группы *A* и *B* и утверждал, что парадоксы из группы *A* не могут рассматриваться как подобные парадоксам из группы *B*. При этом Рамсей ссылался на более раннюю работу Д. Пеано, который заметил, что парадокс Ришара имеет, скорее, лингвистическую, а не математическую природу [3. Р. 157].

Современный австралийский логик Г. Прист указывает на то, что классификация Ф. Рамсея стала общим местом в логической литературе [4. Р. 25]. Тем не менее Прист берется оправдать Рассела, утверждая, что в исследованиях парадоксов прав был все же скорее Рассел, чем Рамсей, ибо все описанные Расселом парадоксы действительно имеют общую структуру, которую Прист называет схемой Рассела [Ibid. Р. 27].

Задача данной статьи – показать, что в этом споре нельзя определить того, кто прав. Представленные Расселом и Рамсеем парадоксы могут быть рассмотрены как подобные в одном отношении и как различные в другом. Одни парадоксы отличаются от других по своей природе, по тому основанию, на котором возникают, но все они подобны по той структуре рассуждения, которую они имеют, и по способу блокировки (обхода) данной структуры рассуждения, т.е. по способу решения парадоксов.

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00057).

Природа парадоксов

Природа парадоксов может быть разной, и здесь нельзя отрицать, что введенная Рамсеем классификация имеет смысл. Парадоксы имеют различную природу в том смысле, что сложности в некоторых из них возникают с самими логическими или математическими понятиями, тогда как другие парадоксы возникают, скорее, из-за проблем языка, из-за сложностей с прояснением значений языковых выражений, в которых понятия мышления представлены.

Так, к первой группе может быть отнесен парадокс Рассела, возникающий на основании проблематичности самого понятия множества множеств или класса классов. Сюда же попадает и парадокс Бурали-Форти, возникающий на основании проблематичности математического понятия ординала множества всех ординалов или наибольшего ординала. Рамсей причислял к данной группе и парадокс об отношении между двумя отношениями, сформулированный Расселом, ибо проблема здесь возникает именно с понятием отношения между двумя отношениями, где одно не находится в отношении себя самого к другому.

В других парадоксах речь идет либо о словах, выражающих понятия, либо о высказываниях, выражающих логические суждения. Одним из наиболее характерных примеров выступает берущий начало в Античности парадокс Лжеца. В данном парадоксе речь идет о высказывании одного из жителей острова Крит о своих согражданах. А. Тарский подчеркивал семантический характер данного парадокса, формулируя его таким образом, что в нем речь шла даже не о высказываниях, а о предложениях языка, т.е. о лингвистических сущностях [5. Р. 157–158].

К семантическим, или лингвистическим, парадоксам относят также парадокс Берри, в котором ставится вопрос об именовании некоторого числа определенным языковым выражением, парадокс наименьшего неопределимого ординала, в котором речь снова идет об именовании некоторого ординала определенным языковым выражением, парадокс Ришара, в котором конкретное дробное число задается через определение, выраженное в соответствующей языковой конструкции.

Рамсей относил в данную группу еще один парадокс, о котором не упоминал Рассел. В современной логической литературе данный парадокс известен как парадокс Греллинга, или гетерологический парадокс. В данном парадоксе речь идет об особом слове среди прилагательных, а именно о прилагательном «гетерологическое».

В данную группу можно поместить и парадокс, сформулированный современным американским логиком Р. Смаллианом [6. Р. 207; 7]: «Является ли правильным ответом на данный вопрос ответ 'нет'?» Здесь речь снова идет о некоторой лингвистической структуре – определенном вопросительном предложении.

Если в первых трех из упомянутых выше парадоксов рассматриваются логические и математические понятия, то все последующие парадоксы формулируются за счет внимания к средствам языкового выражения структур мышления, а именно за счет внимания к словам, фразам, высказываниям, предложениям.

Классификация парадоксов на группы A и B Ф. Рамсея может быть важна для прояснения природы парадоксов, т.е. для фиксации тех оснований, на которых парадоксы строятся. В группу A попадают парадоксы, основание которых находится в мышлении, тогда как в группу B попадают парадоксы, основание которых находится в языке.

Структура парадоксов

Несмотря на оправданность рамсеевского различения парадоксов на группы A и B относительно их природы, т.е. того основания, на котором они строятся, Рассел все равно прав в том, что приведенные им в работе «Математическая логика, основанная на теории типов» парадоксы подобны друг другу. Они могут различаться по своей природе, но все же подобны по структуре. Назовем структуру, объединяющую все парадоксы, структурой Рассела по аналогии с понятием «схема Рассела», которое вводит Г. Прист.

Из вышеупомянутой работы Г. Приста мы заимствуем идею подобия парадоксов по их структуре, тем не менее выражение самой этой структуры нам видится несколько иным, нежели то, что представлено Г. Пристом. Мы предлагаем обсудить все перечисленные парадоксы в рамках структуры, которая имеет следующий вид:

$$w = \{x: p(x)\}; \quad (1)$$

$$e \in x; \quad (2)$$

$$(e \in w) \ \& \ (e \notin w). \quad (3)$$

Рассмотрим, как эта структура обнаруживается в обсуждаемых парадоксах.

Парадокс Рассела. Будем собирать в класс w классы x , но только все те, которые имеют свойство p , а именно свойство быть классом, не являющимся своим собственным элементом. При образовании класса w возникает новый элемент e , который принадлежит x , поскольку тоже является классом. Причем в роли элемента e в парадоксе Рассела выступает сам образуемый класс w . Относительно элемента e оказываются истинными противоречащие друг другу положения, а именно данный класс e и принадлежит классу w и не принадлежит классу w . Предположим, что e принадлежит w , следовательно, e обладает свойством p , а именно не является своим собственным элементом. Поскольку в роли e выступает сам образуемый класс w , постольку предыдущее предложение может прочитываться следующим образом. Предположим, что w принадлежит себе самому, следовательно, w имеет свойство не принадлежать себе самому. Предположим, что w не принадлежит себе самому, следовательно, w принадлежит себе самому, поскольку класс w содержит в себе все возможные классы x , обладающие свойством p , а именно свойством не принадлежать себе самому. С какого бы предположения мы ни начинали рассуждение, вывод оказывается противоречащим посылке.

Парадокс Бурали-Форти. Для любого упорядоченного множества важной характеристикой выступает не только количество его элементов, но и их упорядоченность. Любой элемент упорядоченного множества может быть представлен в качестве порядкового номера – ординала, обозначаемого порядковым числом: первый, второй, третий и т.д. Если любое множество в качестве элементов может содержать также и другие множества, то любое

множество может быть рассмотрено в качестве ординала того или иного упорядоченного множества. Будем собирать в упорядоченное множество w все возможные элементы x , которые обладают свойством p , а именно свойством быть ординалом. Однако само w также может быть рассмотрено в качестве одного из ординалов множества всех ординалов. Таким образом, при образовании w возникает новый элемент e , который, во-первых, принадлежит x , поскольку тоже является ординалом, и во-вторых, является самим w . Относительно этого нового элемента e оказываются истинными два противоречащих друг другу положения, а именно: e принадлежит w , и не принадлежит w . Обоснование вывода (3) в структуре Рассела в отношении парадокса Бурали-Форти таково. В упорядоченное множество w включены все возможные ординалы. Причем среди них в качестве последнего элемента должен существовать самый большой ординал. Но само w также может быть рассмотрено в качестве ординала множества ординалов, а значит, оно должно иметь возможность быть своим собственным элементом. В таком случае w должно иметь порядковый номер, больший на 1, нежели порядковый номер последнего элемента в w . Таким образом, w оказывается ординалом, который больше самого большого ординала, т.е. если мы предполагаем, что w принадлежит w , то отсюда следует вывод, что w не принадлежит w .

Парадокс отношения. В формулировке Рамсея данный парадокс представлен как парадокс отношения между двумя отношениями, где одно не находится в отношении самого себя к другому [2. С. 38].

Этот парадокс сложно подкрепить примерами, ибо не просто привести пример отношения, которое находится в своем собственном отношении к другому отношению. Представляется, что формулировку данного парадокса можно было бы упростить, если вместо собственного отношения некоторого отношения к другому отношению рассмотреть собственное отношение некоторого отношения к самому себе. Это уточнение будет вполне уместным, ибо у Рассела, от которого отталкивается Рамсей, речь идет о *любых* отношениях R и S [1. С. 22], таким образом, S можно заменять на R и, наоборот, R на S . Следовательно, формулировка проблемы может быть представлена в рамках лишь одного отношения R к самому себе (R в отношении R к R).

Например, логическое отношение пересечения между понятиями не находится в отношении пересечения к себе самому. А вот логическое отношение тождества между понятиями находится в отношении тождества к себе самому.

Теперь посмотрим, как в данном парадоксе представлена структура Рассела. Образует класс w , состоящий из отношений x , таких, которые обладают свойством p , сформулированным в высказывании: «Отношение, которое не имеет собственного отношения к себе самому».

В класс w попадут, например, такие логические отношения между понятиями, как отношение пересечения или отношение подчинения, тогда как отношение тождества в данный класс не попадет. Однако высказывание, выражающее свойство p отношений x , образующих w , также обозначает и новое специфическое отношение e в чистом виде, т.е. без каких-либо иных свойств, кроме свойства быть отношением, не имеющим собственного отношения к себе самому. В таком случае если e состоит в отношении e к e , то, поскольку e является таким отношением, которое не имеет собственного отношения к

себе самому, e не состоит в отношении e к e . Следовательно, нельзя непротиворечиво утверждать, относится ли e к классу w .

Парадокс Лжеца. Образует класс w , состоящий из высказываний x , имеющих свойство p , выраженное в высказывании: «Высказывание, которое не является истинным». В данный класс w попадут, например, такие высказывания, как « $2 + 2 = 5$ » или «На обратной стороне Луны нет кратеров», тогда как высказывания « $2 + 2 = 4$ » и «На обратной стороне Луны имеются кратеры» в класс w не попадут.

Однако при образовании класса w возникает новый специфический элемент e в качестве высказывания, выражающего свойство p элементов x , т.е. e представляет собой высказывание «Высказывание, которое не является истинным». Высказывание e принадлежит x , поскольку является одним из высказываний наряду с теми, которые были упомянуты выше. Но когда мы пытаемся ответить на вопрос, принадлежит ли элемент e классу w , мы впадаем в противоречие, а именно: высказывание «Высказывание, которое не является истинным» не является истинным (т.е. принадлежит w) только в том случае, когда оно верно говорит о себе, что оно не является истинным, т.е. является истинным (а значит, не принадлежит w).

Парадокс Берри. Образует класс w , состоящий из таких x , которые обладают свойством p , выраженным следующей фразой: «Наименьшее целое число, не именуемое менее чем десятью словами» (строго говоря, в оригинальном тексте Рассела речь идет о наименьшем целом числе, которое не может быть поименовано фразой, состоящей из менее чем девятнадцати слогов английского языка [8. Р. 223]. И Рассел даже называет это конкретное число – 111 777. Но привести надлежащую формулировку на русском языке, точно соответствующую примеру Рассела, весьма затруднительно. И здесь переводчик работы Рассела – В.А. Суровцев – нашел оптимальное решение, он представил собственную формулировку на русском языке, сохраняя при этом саму суть парадоксальной ситуации). Очевидно, что под x может подразумеваться только один-единственный специфический элемент e , а именно наименьшее целое число, не именуемое менее чем десятью словами. Однако когда мы пытаемся ответить на вопрос, попадает ли данный элемент e в класс w , то приходим к противоречию. С одной стороны, e обладает свойством быть наименьшим целым числом, не именуемым менее чем десятью словами, а значит, попадает в w , с другой стороны, элемент e обозначается при помощи фразы «Наименьшее целое число, не именуемое менее чем десятью словами», которая содержит девять слов русского языка, а значит, e не обладает свойством p и, следовательно, не попадает в w .

Парадокс наименьшего неопределимого ординала. Существуют неопределимые ординалы. Среди этих ординалов имеется наименьший. Следовательно, существует наименьший неопределимый ординал. Однако этот ординал определяется с помощью выражения «наименьший неопределимый ординал». Следовательно, данный ординал является определимым.

В структуру Рассела данный парадокс может быть вписан следующим образом:

x – ординалы;

p – свойство быть наименьшим неопределимым ординалом;

w – класс ординалов, которым присуще свойство p ;

e – наименьший неопределимый ординал;

e принадлежит x ;

e и принадлежит, и не принадлежит w .

Парадокс Ришара. Здесь рассматривается класс десятичных дробей, которые могут быть определены за конечное число слов. Затем вводится определение такой дроби, которая не будет попадать в этот класс. Вместе с тем утверждается, что само определение такой дроби дается за конечное число слов. Отсюда делается вывод, что данная дробь и попадает в класс десятичных дробей, которые могут быть определены за конечное число слов, и не попадает.

Рассел пишет: «Парадокс Ришара родствен парадоксу о наименьшем неопределимом ординале» [1. С. 23]. Данное родство действительно можно заметить, но только при том условии, если мы произведем определенную инверсию парадокса Ришара и начнем его формулировку с рассмотрения класса десятичных дробей, которые не могут быть определены за конечное число слов. Определим конкретный элемент данного класса при помощи выражения «Дробь, которая не может быть определена за конечное число слов». При этом указанное выражение, очевидно, имеет конечное число слов. Следовательно, рассматриваемая дробь и может, и не может быть определена за конечное число слов.

В такой «инверсионной» формулировке парадокс Ришара соответствует структуре Рассела аналогично тому, как соответствует этой структуре парадокс наименьшего неопределимого ординала, а именно:

x – дроби;

p – свойство быть дробью, которая не определяется за конечное число слов;

w – класс дробей, которым присуще свойство p ;

e – дробь, которая не определяется за конечное число слов;

e принадлежит x ;

e и принадлежит, и не принадлежит w .

Парадокс Греллинга. Все прилагательные можно разделить на два типа – гетерологические и автологические. Гетерологическим называется такое прилагательное, которое обозначает свойство, не присущее ему самому. Например, слово «сладкое» само не является сладким. Автологическим называется такое прилагательное, которое обозначает свойство, присущее ему самому. Например, слово «русское» само русское.

Поставим вопрос относительно слова «гетерологическое». Это слово является автологическим или гетерологическим? Если оно автологическое, то ему присуще свойство, которое оно выражает, а значит, оно гетерологическое. Если оно гетерологическое, то ему не присуще свойство, которое оно выражает, а значит, оно не является гетерологическим и, как следствие, является автологическим. С какой бы посылки мы ни начинали, получаем противоречие.

Парадокс Греллинга вписывается в структуру Рассела следующим образом. Образует класс w , состоящий из прилагательных x , которым присуще свойство p – быть гетерологическим. Однако при формулировке p возникает новый специфический элемент e – слово «гетерологическое». Об элементе e можно однозначно сказать, что он принадлежит x , поскольку e – прилагательное.

тельное. Однако об элементе e нельзя однозначно сказать, принадлежит он w или не принадлежит.

Парадокс Смаллиана. В качестве развития расселовско-рамсеевской проблематики парадоксов можно рассмотреть парадокс, сформулированный в логике второй половины XX в. Р. Смаллианом. Данный парадокс формулируется в виде следующего вопроса: «Будет ли правильным ответом на данный вопрос ответ ‘нет’?» Если ответить утвердительно, то из этого будет следовать отрицательный ответ. Если ответить отрицательно, то в соответствии с принципом двойного отрицания отсюда будет следовать утвердительный ответ. Любой вариант ответа на данный вопрос порождает противоречие.

Парадокс Смаллиана также можно вписать в структуру Рассела. Будем собирать в класс w вопросы x , но только такие, которым присуще свойство p – быть вопросом, правильный ответ на который «нет». Например, вопрос « $2 + 2 = 5$?» попадет в данный класс, тогда как вопрос « $2 + 2 = 4$?» не попадет. При последовательном наполнении класса w мы обнаруживаем специфический элемент e , который определенным образом связан с формулировкой свойства p . Этот элемент e представляет собой вопрос: «Будет ли правильным ответом на данный вопрос ответ ‘нет’?» Очевидно, что элемент e принадлежит x , ибо также является вопросом. Вместе с тем об элементе e нельзя сказать, не впадая в противоречие, принадлежит ли он w или не принадлежит.

Решение парадоксов

Важным аргументом в пользу тезиса Г. Приста о том, что по проблеме парадоксов следует признать правомерной позицию Рассела, представлявшего все парадоксы как подобные друг другу, является аргумент о единообразном способе решения парадоксов. Г. Прист говорит о принципе единого решения [4. Р. 32] и указывает на то, что этот принцип должен состоять в обходе схемы Рассела. В самом деле, если все рассмотренные парадоксы имеют единообразную структуру, то и преодолеть их можно единообразно, разрушив эту структуру. В нашей терминологии мы будем говорить о блокировке структуры Рассела.

Само собой, данный способ решения парадоксов сформулирован впервые не Г. Пристом и тем более не В. Ладовым. Он сформулирован самим Б. Расселом. В работе «Математическая логика, основанная на теории типов» Рассел называет основанием парадоксов явление самореферентности [1. С. 18]. Соответственно, решение парадоксов он видит в запрете на самореферентность, на котором и строится теория типов как основание новой логики, свободной от парадоксов.

Если посмотреть на ту Структуру парадоксов, которая представлена выше, то становится понятным, что самореферентность всегда присуща специфическому элементу e . Соответственно, и преодоление парадоксов, следуя мысли Рассела, должно состоять в запрете на образование данного элемента. Именно таким образом будет осуществляться блокировка Структуры Рассела. Ниже кратко рассмотрим, как проявляется самореферентность в элементе e во всех обсуждаемых парадоксах и как этот элемент устраняется в каждом конкретном случае преодоления парадоксов.

В парадоксе Рассела элемент e содержит самореферентность, поскольку в качестве e выступает класс w , который содержит себя самого. Соответствен-

но, преодоление парадокса состоит в запрете на образование класса w (т.е. запрет на образование элемента e).

В парадоксе отношения элемент e содержит самореферентность, поскольку здесь ставится вопрос об отношении специфического отношения к себе самому. Преодоление парадокса состоит в том, что данный вопрос объявляется бессмысленным (т.е. элемент e не разрешается вводить в рассуждение).

В парадоксе Бурали-Форти элемент e содержит самореферентность, поскольку в качестве e выступает ординал множества всех ординалов, который должен сам оказаться внутри этого множества. Преодоление парадокса состоит в объявлении бессмысленности понятия наибольшего ординала (т.е. элемент e не разрешается вводить в рассуждение).

В парадоксе Лжеца элемент e содержит самореферентность, поскольку представляет собой специфическое высказывание, которое говорит о себе самом. Преодоление парадокса состоит в запрете на продуцирование такого высказывания, логический субъект которого представляет собой само это высказывание (т.е. запрет на образование элемента e).

В парадоксе Берри элемент e содержит самореферентность, поскольку является числом, которое обладает свойством $S1$, а также свойством $S2$, представляющим собой описание свойства $S1$. В данном случае преодоление парадокса состоит в запрете смешения свойства и его описания, представленного как свойство, в одном объекте (т.е. в запрете на образование элемента e , в котором смешиваются свойство и описание этого свойства).

В парадоксе наименьшего неопределимого ординала элемент e содержит самореферентность по той же причине, что и в парадоксе Берри, а именно он является ординалом, который обладает свойством $S1$, а также свойством $S2$, представляющим собой описание свойства $S1$.

В парадоксе Ришара имеет место ситуация, аналогичная той, что зафиксирована в парадоксе Берри и парадоксе наименьшего неопределимого ординала.

В парадоксе Греллинга элемент e содержит самореферентность, поскольку он представляет собой прилагательное, которое обладает тем самым свойством, которое выражает. Преодоление парадокса состоит в запрете на образование объектов, при формировании которых смешиваются понятия выражать свойство и обладать свойством (т.е. запрет на образование элемента e).

В парадоксе Смаллиана элемент e содержит самореферентность, поскольку он представляет собой вопрос, содержание которого касается самого этого вопроса. Преодоление парадокса может быть представлено как объявление данного рода вопросов бессмысленными (т.е. элемент e не разрешается вводить в рассуждение).

Выводы

Проведенные в данной статье исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Утверждения о том, что все парадоксы подобны (Рассел) и что они не являются подобными (Рамсей), не противоречат друг другу, ибо признак подобия здесь рассматривается в разных отношениях. Все парадоксы подобны

по своей структуре и способу их решения, но они могут быть представлены как различные по своей природе, по тому основанию, на котором они возникают.

2. Значение работы Г. Приста в том, что по проблеме парадоксов он возвращает нас к Расселу, преодолевая общепринятое мнение, что Рамсей правомерно переформулировал проблему парадоксов. Парадоксы действительно имеют общую структуру (схему – в терминологии Приста) и могут рассматриваться унифицированно.

3. Тем не менее Прист все же не прав в том, что возвращение к Расселу ведет к отрицанию классификации Рамсея. Несмотря на общую структуру, парадоксы могут иметь различную природу, а значит, идеи Рамсея не должны быть отвергнуты.

Литература

1. Рассел Б. Математическая логика, основанная на теории типов // Логика, онтология, язык. Томск, 2006. С. 16–62.
2. Рамсей Ф.П. Основания математики // Философские работы. М. : Канон+, 2011. С. 16–56.
3. Peano G. Rivisita di Matematica, 1906. № 8.
4. Priest G. The Structure of the Paradoxes of Self-Reference // Mind. 1994. Vol. 103, № 409. P. 25–34.
5. Tarski A. The Concept of Truth in Formalized Languages // Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford : Oxford University Press, 1956. P. 152–278.
6. Floridi L. Philosophy of Information. Oxford : Oxford University Press, 2011.
7. Landini G. Wittgenstein's Apprenticeship with Russell. Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
8. Russell B. Mathematical Logic as Based on the Theory of Types // American Journal of Mathematics. 1908. Vol. 30, № 3. P. 222–262.

Vsevolod A. Ladov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ladov@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 101–110.

DOI: 10.17223/1998863X/43/9

RUSSELL AND RAMSEY ON THE PROBLEM OF PARADOXES

Keywords: Russell; Ramsey; paradox; logic; mathematics; semantics; set; statement; self-reference.

The problem of logical paradoxes is considered in the article. At the beginning of the 20th century, the problem was presented by Bertrand Russell and Frank Ramsey. Russell thought of all paradoxes as similar to each other. Ramsey asserted that they made up two completely different groups. In the second half of the 20th century, Ramsey's point of view was dominant. Graham Priest, a modern Australian logician, affirms that Russell was right and Ramsey was wrong for all paradoxes have a similar structure and one way of solution. The author of the article asserts that in this discussion one cannot decide on the winner because paradoxes are similar in one relation and different in another. All paradoxes are similar concerning the structure and the way to solve them. Russell was right in this relation. However, all paradoxes are different concerning the foundation they are built on, and Ramsey was right in this relation. Paradoxes have different foundations because difficulties in some of them arise in relation to logical and mathematical concepts, but difficulties in other paradoxes arise in relation to the clarification of meanings of linguistic expressions in which concepts of thought are presented. For example, Russell's paradox can be included in the first group of paradoxes because of the problem with the concept of the set of all sets. The Burali-Forti paradox can also be included in this group because of the problem with the concept of the set of all ordinal numbers. Other paradoxes have some problems with either words that express concepts or statements that express propositions. That is why these paradoxes should be included in the second group of paradoxes. The Liar paradox is one of the

most characteristic examples in this case. In this paradox, we have a problem with an utterance of a citizen of Crete. Alfred Tarski emphasised the linguistic character of the paradox. In the formulation of the paradox, Tarski spoke about sentences of language. Sentences are more distinct linguistic essences than utterances.

References

1. Russell, B. (2006) *Matematicheskaya logika, osnovannaya na teorii tipov* [Mathematical Logic as Based on the Theory of Types]. Translated from English by V.A. Surovtsev. In: Surovtsev, V.A. (ed.) *Logika, ontologiya, yazyk* [Logic, Ontology, Language]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 16–62.
2. Ramsey, F.P. (2011) *Filosofskie raboty* [Philosophical papers]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+. pp. 16–56.
3. Peano, G. (1906) *Rivisita di Matematica*. 8.
4. Priest, G. (1994) The Structure of the Paradoxes of Self-Reference. *Mind*. 103(409). pp. 25–34. DOI: 10.1093/mind/103.409.25
5. Tarski, A. (1956) The Concept of Truth in Formalized Languages. In: Tarski, A. (ed.) *Logic, Semantics, Metamathematics*. Oxford: Oxford University Press. pp. 152–278.
6. Floridi, L. (2011) *Philosophy of Information*. Oxford: Oxford University Press.
7. Landini, G. (2007) *Wittgenstein's Apprenticeship with Russell*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Russell, B. (1908) Mathematical Logic as Based on the Theory of Types. *American Journal of Mathematics*. 30(3). pp. 222–262.

УДК 1 (091)

DOI: 10.17223/1998863X/43/10

А.М. Стрельцов

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПРИЗВАНИЯ ФИЛОСОФА В «СОКРАТИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ» И.Г. ГАМАНА

В статье разбирается социально-политическая проблематика дебютного трактата И.Г. Гамана, в котором он отвергает трудовую этику Просвещения, а также пытается разрушить понятие публики как общественного идеала. С точки зрения Гамана, философ, относящийся серьёзно к своему призванию, не может рассчитывать на широкое общественное признание, но должен быть готов к жизни, полной лишений.

Ключевые слова: Гаман, Просвещение, Сократ, аксиология, метасхематизм.

Поводом к написанию «Сократических достопримечательностей» (далее – СД) И.Г. Гаманом послужили встречи с ним его бывшего работодателя Иоганна Кристофа Беренса и Иммануила Канта летом 1559 г., на которых ему было выдвинуто деловое предложение заняться переводом ряда статей энциклопедии Дидро и д'Аламбера для просвещения немецкой публики. Беренс и Кант надеялись, что вовлечённость в эту работу окажет воздействие на самого Гамана, пережившего своеобразное «обращение» в Лондоне годом ранее. Они стремились таким образом вернуть его к идеалам Просвещения.

Через некоторое время Гаман ответил отказом на это предложение, но ему требовалось ещё «объяснить себя». Собственно, СД и явились таким объяснением. Дебютную работу Гамана можно, таким образом, рассматривать в качестве апологетики его конкретного жизненного выбора и его мировоззрения в целом.

В вводной части трактата Гаман в своём особом неподражаемом стиле проводит социально-политическую критику режима просвещённого абсолютизма Фридриха II. Хотя эта проблематика не занимает основного места в трактате, но скорее создаёт общий фон для основной части работы, посвящённой оригинальной трактовке концепции «веры» Юма, а также обсуждению «незнания» и «гения» Сократа, всё же этот аспект данного сочинения Гамана заслуживает определённого внимания.

Гаман предельно заостряет проблематику морального выбора философа. На что может рассчитывать литератор, философ, интеллектуал его эпохи, если поиск истины он ставит выше, чем угождение власть предержащим? Отстаивая собственное мировоззрение, Гаман ставит аксиологическую дилемму перед представителями элиты, репрезентированными Беренсом и Кантом как двумя непосредственными адресатами его работы (Беренс представляет мир торговли, Кант – науки) [1. С. 35].

В качестве полигона для трансляции своих идей Гаман не случайно избрал личность Сократа. Как метод философствования Сократа, так и самоотверженное стремление к истине и особенно благородная смерть сделали его этическим эталоном для будущих поколений. Два парадоксальных момента

жизни и смерти Сократа особенно впечатлили его современников и потомков: поразительное несоответствие его неказистого внешнего облика и внутреннего содержания [2. С. 178–179], что шло вразрез с калокагатией как общепринятой установкой греческой культуры, и удивительный переворот в событии его казни, при котором осужденная на смерть жертва сохранила честь, в то время как позор был уготован её судьям.

При переходе от античной философии к патристике произошла «христианизация» образа Сократа. С наступлением времени Просвещения маятник качнулся в противоположную сторону. Даже в сравнении с эпохой Ренессанса акцент был не на синтезе, но на противопоставлении греческой Античности и христианства наряду с критикой последнего.

Гаман устанавливает типологические взаимосвязи между собой и Сократом, в некотором смысле он воспринимает себя как *Socrates redivivus*, что не означает, что он претендует на нечто большее в сравнении с самим Сократом. Он просто смещает линии конфликта – вместо рафинированного рационалиста Сократа, представленного в современную эпоху в первую очередь деятелями французского Просвещения и берлинскими *literati*, которым, как они считали, противостоят ретроградные церковники, Сократ Гамана предстаёт как человек, осознавший недостаточность опоры на собственный разум.

Освальд Байер характеризует метасхематический подход Гамана следующим образом: «Он видит себя в зеркале других и других в зеркале собственных переживаний. Он помещает себя на их место, словно смотрит на мир их глазами» [3. С. 118]. Этот гамановский метод метасхематизма [4. Р. 88–91; 5. С. 501–503] включает две части: (1) личную вовлечённость автора текста в описываемые им события (Гаман предстаёт в образе Сократа, надевает на себя, если угодно, маску Сократа); (2) непрямой способ передачи контента адресатам (Гаман представляет «метасхематически» отношения между собой и Беренсом и Кантом как отношения между Сократом и софистами его времени).

«Эстетическое подражание» Сократу, который, как известно, ничего не написал, в случае Гамана выражается, в частности, в том, что он пишет, словно ведёт диалог с читателем. Некоторые ясные утверждения трактата – как острова, между которыми нет переправы. Читателю предлагается достроить взаимосвязи, броситься вплавь. То есть от него требуется не только теоретическое осмысление проблемы, но и практическая вовлечённость, не только интеллектуальное согласие либо несогласие, но связанный с этим жизненный выбор.

Lange Weile

Вплетая особым образом социально-политическую проблематику в структуру СД, Гаман показывает его позицию в отношении культурной и мировоззренческой экспансии идей французского Просвещения в Пруссии.

Полное название работы сразу интригует: «Сократические достопримечательности для скуки (*lange Weile*) публики, собранные любителем досуга (*langen Weile*). С двойным посвящением для Никого и Двоих». Такой заголовок требует интерпретации как минимум двух ключевых понятий: *lange Weile* (скука, досуг) и «публика».

В каком смысле Гаман использует понятие *lange Weile*? В эпоху Просвещения главным достоинством считался труд. Даже внешне бессмыслен-

ный труд, служащий поддержанию роскоши, способствует процветанию всего общества, как утверждает в «Персидских письмах» Монтескьё [6. С. 173]. В «О духе законов» Монтескьё заявляет, что использование разума позволяет человеку заниматься любым тяжелым трудом. Даже про труд в рудниках, который ранее выполняли только рабы и преступники, он говорит, что «люди, занимающиеся им, живут вполне счастливо» [7. С. 225]. Такие представления получили развитие и в немецкой версии Просвещения: «Во время немецкого Просвещения возникло представление о работе как деятельности, которая приводит к счастью... Феодальный или паразитический буржуазный образ жизни, не подразумевавший труда, регулярно отвергался в романах, трактатах и пособиях по самосовершенствованию. Праздность, зачастую связываемая со скукой, осуждалась как по религиозным... так и политическим причинам, в виде критики аристократии. Напротив, работа подразумевала только положительные коннотации, такие как счастье, удовольствие, Bildung (личный рост) и образование» [8. С. 1436].

Учитывая обстоятельства жизни Гамана, который в то время находился на иждивении отца, разумно предположить, что Беренс осуждал его за праздность. С самого начала «Сократических достопримечательностей» Гаман выступает против такой трудовой этики, которая не даёт человеку задуматься о насущных вопросах бытия, делает его винтиком большой государственной машины. Этому он противопоставляет концепцию Лютера *sola gratia*: удовлетворение приобретается не в результате тяжелых усилий, но даётся *gratis*, даром. С присущей ему иронией Гаман употребляет понятие *lange Weile* в двух смыслах. Для «публики» это бессмысленное времяпрепровождение (поскольку бессмысленна и сама «публика»), скука, которую Гаман, как может показаться на первый взгляд, стремится прогнать подобно тому, как это делают прочие авторы. Применительно же к самому Гаману это понятие здесь не имеет отрицательного смысла, вопреки мнению Гильманова, который отмечает, что Гаман «знал ползучую силу скуки» до его лондонского обращения [9. С. 184]. В этом втором значении *lange Weile* означает скорее досуг, свободное времяпрепровождение [10. С. 105]. В частности, именно в этом значении Гаман использует данную конструкцию, говоря в «Облаках», трактате-послесловии к СД, о «пароксизме досуга», который был у ап. Павла в Афинах [Там же]. «Скука публики» – эфемерное понятие, которое использовалось власть предержащими для удовлетворения своих личных интересов, «досуг» же Гамана характеризует его позицию свободного человека, удовлетворённого собой. После завершения работы над трактатом Гаман отмечает: «Я работал над этим исследованием с упоением, и... оно получилось у меня, как я того желал. Поскольку сам собой я могу быть доволен, я мало завишу от приёма у публики» [11. С. 410]. Несомненно, такая позиция имеет прямую корреляцию с жизненным выбором самого Гамана, отказавшегося от публичной карьеры, при которой ему пришлось бы идти на компромиссы, предпочтя ей свободное творчество.

Публика как «никто»

«Никто» и «двое» в посвященной титульной страницы трактата означают соответственно публику и Беренса с Кантом. Мнение, что «никто» – сам Гаман [12. С. 57], не может быть признано до конца удовлетворительным по

причине очевидного отождествления публики с «никто» в обращении к публике. Действительно, Гаман использует строфу из «Киклопа» Еврипида о «никто» [10. С. 59], так что можно подумать, что он представляет себя хитрым Одиссеем, обманувшим публику-Полифема. Однако главный аргумент Гамана направлен против «публики» как абстрактного понятия, которому воздают тщетное поклонение, притом что публика не способна слышать, видеть и понимать, иначе говоря, не имеет референта в мире реальных вещей.

В нелюбви Гамана к абстракциям проявляются его номиналистские тенденции, вполне уместные для него как последователя теологии Лютера, хотя встречаются и попытки интерпретировать Гамана как «тонкой разновидности реалиста» [13. С. 27–28]. Такое отношение к абстракциям привело Гамана к провозглашению мнимости публики как понятия и в ещё большей степени к мнению о тщетности преклонения перед публикой.

Для стиля Гамана в этом месте характерна достаточно острая ирония, причём не как временное снятие напряжённости, позволяющее далее сконцентрироваться на серьёзных вопросах, но как часть его стиля и метода философствования. Так, его обращение к публике построено в виде молитвы к несуществующему идолу публики, который уподоблен тупому ничего не понимающему циклопу (именно в этой связи Гаман цитирует одноименную пьесу Еврипида). Кушанье СД обратит этого адресата в ничто подобно тому, как кушанье Даниила разорвало идола Вила в Дан 14 : 27. На реальных же адресатов СД – Беренса и Канта – этот пирожок, как утверждает Гаман, подействует в качестве слабительного, очистив их для служения истине, которую он, Гаман, возвещает [10. С. 59].

Гаману действительно важны отдельные личности, к которым он обращается, в первую очередь двое его конкретных адресатов [Там же. С. 61], а не понятие «публика», попытка угождения которой скрывает тот факт, что бенефициаром таких действий становится элита, а не конкретные эксплуатируемые люди, исчезающие за абстрактным понятием «публики».

Аксиологическая альтернатива

Политическая направленность окончания трактата образует своеобразную *inclusio* с его началом, позволяющее видеть политический подтекст во всей работе, хотя он и не выражен так явно, как в более поздних работах Гамана, написанных на французском языке.

Перед читателем СД ставится нелегкий выбор: служить истине подобно тому, как это делал Сократ и, предположительно, делает Гаман, что подразумевает жизнь, полную лишений, либо «раболепствовать и блюдолизничать» [Там же. С. 82]. Этим занимаются современные софисты, деятели Просвещения в Берлине, обучившиеся этой науке у своих французских аналогов. Обращаясь к публике, декларируя намерения о её просвещении, они фактически обслуживают интересы правящей верхушки. Согласно Гаману, устраняя авторитет традиции, общество не приходит к большей свободе, но, постулируя автономию разума, меняет одно поклонение на другое. Это новое рабство для него неприемлемо. Себя Гаман рассматривает как свободного человека, который позволяет себе плыть против течения и не подчиняться мнению большинства, даже если тем самым он лишает себя дивидендов, которые ему сулила бы более коллаборационистская позиция. Сам Гаман готов жить «от

крох». К такому же выбору он пытается склонить Беренса и Канта – предприятие, оказавшееся в итоге совершенно безнадёжным. В этом упоминании о крохах – тройная аллюзия на насыщающие крохи Христа в Мф 15 : 27, окончание платоновского диалога «Гиппий Большой» («шелуха и обрывки речей» [14. С. 416] и собственную раннюю работу с одноименным названием («Brocken»), которую он, впрочем, не публиковал.

Итак, Гаман заключает, что философия как любовь к истине не приносит, как правило, земного счастья или временных благ тем, кто её практикует. Философ не должен удивляться отсутствию признания у публики. Его удел – «питание от крох» как аналог смерти Сократа от рук афинян, поступающие же против совести должны довольствоваться прислуживанием интересам высших классов, забыв о своём высоком предназначении.

Литература

1. *Sparling R.A.* Johann Georg Hamann and the Enlightenment Project. Toronto : University of Toronto Press, 2011.
2. *Светлов P.B.* Сократ в пространстве античного воображения // СХОЛН. 2015. Vol. 9. 1. С. 169–184.
3. *Bayer O.* Zeitgenosse im Widerspruch. J.G. Hamann als radikaler Aufklärer. München; Zürich, 1988. S. 118.
4. *O'Flaherty J. C.*, trans. and ed. Socratic Memorabilia: A Translation and Commentary. Baltimore: The John Hopkins Press, 1967.
5. *Unger R.* Hamann und die Aufklärung. Halle, 1925.
6. *Монтескье Ш.Л.* Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения римлян. М. : Канон-пресс-Ц, 2002.
7. *Монтескье Ш.Л.* Избранные произведения о духе законов. М., 2011.
8. *Delon M.* Encyclopedia of the Enlightenment. Routledge, 2013.
9. *Гильманов В.Х.* Гаман и литература Просвещения : (Опыт универсальной герменевтики) : дис. ... д-ра филол. наук. Калининград, 2006.
10. *Hamann J.G.* Sämtliche Werke. 6 Bde. Historisch-kritische Ausgabe von J. Nadler. Wien : Herder, 1949–1957. Bd 2. S. 57–109.
11. *Hamann J.G.* Briefwechsel. 6 Bde von Walther Ziesemer und Arthur Henkel. Wiesbaden : Insel, 1955–1975. 160. An Johann Gotthelf Lindner, Königsberg, den. 11 Sept. 1759. Bd. 1. S. 408–411.
12. *De Pascale, Carla.* Il razionale e l'irrazionale. La filosofia critica tra Hamann e Schopenhauer. Edizioni ETS, № 134. Pisa : Edizioni ETS, 2014. P. 57.
13. *Milbank J.* "Knowledge: The Theological Critique of Philosophy in Hamann and Jacobi" // Radical Orthodoxy: A New Theology, ed. by John Milbank, Catherine Pickstock, and Graham Ward. London : Routledge, 1999. P. 21–37.
14. *Платон.* Собрание сочинений: в 4 т. М. : Институт философии РАН, 1993. Т. 1.

Alexey M. Streltsov, Theological Seminary of Siberian Evangelical Lutheran Church (Novosibirsk, Russian Federation); Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: streltsov@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 111–116.

DOI: 10.17223/1998863X/43/10

AXIOLOGICAL PROBLEMS OF THE PHILOSOPHER'S CALLING IN HAMANN'S SOCRATIC MEMORABILIA

Keywords: Hamann; Enlightenment; Socrates; axiology; metaschematism.

The paper analyses the social-political ramifications of Johann Georg Hamann's 1759 debut treatise *Socratic Memorabilia*, in which he challenges the cultural and ideological expansion of the ideas of the French Enlightenment in Prussia. Using his own "metaschematism" method, Hamann takes the role of a Socrates of his own time and criticises the policy of enlightened absolutism of Frederick the

Great. He poses an axiological alternative to his addressees Immanuel Kant and Johann Christoph Berens: serving the truth irrespective of the consequences or conscientious pleasing those in authority under the slogan of enlightening the public. Hamann rejects the labour ethic of the Enlightenment, which praised even hard and meaningless labour for the sake of the flourishing of society. Instead, he proposes the concept of “leisure” (Lange Weile), which allows him to preserve the freedom of creativity. Hamann attempts to destroy the concept of the public as a societal ideal by viewing it as an abstraction that does not have a referent in the real world. Being a widely spread practice in the Enlightenment context, an attempt to please the public would conceal the fact that it is the elite (and not specific people hidden behind the terminology of the “public” who are being exploited) that becomes the beneficiary of such activities. According to Hamann, a philosopher who views his calling highly will not necessarily count on wide recognition by society, but must be ready to be misunderstood and lead a life full of hardships.

References

1. Sparling, R.A. (2011) *Johann Georg Hamann and the Enlightenment Project*. Toronto: University of Toronto Press.
2. Svetlov, R. (2015) Socrates in the context of the ancient imagination. *ΣΧΟΛΗ*. 9(1). pp. 169–184. (In Russian).
3. Bayer, O. (1988) *Zeitgenosse im Widerspruch. J. G. Hamann als radikaler Aufklärer* [Contemporary in contradiction. J.G. Hamann as a radical enlightener]. München, Zürich: Piper.
4. O’Flaherty, J.C. (1967) *Socratic Memorabilia: A Translation and Commentary*. Baltimore: The John Hopkins Press.
5. Unger, R. (1925) *Hamann und die Aufklärung*. Halle: Niemeyer.
6. Montesquieu, Ch.L. (2002) *Persidskiye pis'ma. Razmyshleniya o prichinakh velichiya I padeniya rimlyan* [Persian letters. Reflections on the Causes of the Greatness and Fall of the Romans]. Translated from French by N. Sarkitov. Moscow: Kanon-press.
7. Montesquieu, Ch.L. (2011) *Izbrannyye proizvedeniya o dukhe zakonov* [On the Spirit of the Laws]. Translated from French. Moscow: [s.n.].
8. Delon, M. (2013) *Encyclopedia of the Enlightenment*. Routledge.
9. Gilmanov, V.Kh. (2006) *Gaman i literatura Prosvescheniya (Opyt universal'noy germeneyivki)* [Hamann and Enlightenment Literature (Experience of Universal Hermeneutics)]. Phylology Dr. Diss. Kaliningrad.
10. Hamann, J.G. (1949–1957) *Sämtliche Werke* [Collected Works]. Vol. 6. Vienna: Herder. pp. 57–109.
11. Hamann, J.G. (1955–1975) *Briefwechsel. 6 Bde von Walther Ziesemer und Arthur Henkel*. Vol. 1. Wiesbaden: Insel. pp. 408–411.
12. De Pascale, C. (2014) *Il razionale e l'irrazionale. La filosofia critica tra Hamann e Schopenhauer* [The rational and the irrational. The critical philosophy between Hamann and Schopenhauer]. Edizioni ETS.
13. Milbank, J. (1999) Knowledge: The Theological Critique of Philosophy in Hamann and Jacobi. In: Milbank, J., Pickstock, C. & Ward, G. (eds) *Radical Orthodoxy: A New Theology*. London: Routledge. pp. 21–37.
14. Plato. (1993) *Sobraniye sochineniy v 4 t.* [Works in 4 vols]. Vol. 1. Moscow: Institute of Philosophy RAS.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.4 316.6

DOI: 10.17223/1998863X/43/11

Т.А. Булатова, А.П. Глухов

СОСТОЯНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ТОМСКЕ В ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МИГРАНТОВ¹

Анализируются результаты социологического исследования межэтнических отношений, проведенного на основе глубинных полуструктурированных интервью с иностранными студентами из ближнего и дальнего зарубежья в университетах Томска. Выявляются социально-коммуникативные и психологические проблемы в рамках межэтнических отношений в системе «образовательный мигрант – принимающее сообщество». Описаны факторы, порождающие проблемы непонимания в рамках взаимодействия и обучения, потенциально конфликтогенные ситуации в контексте в целом позитивного отношения к образовательным мигрантам в сибирском регионе. Ключевые слова: образовательные мигранты, межнациональные отношения, этнические различия, толерантность.

Теоретическим базисом для проведения исследования послужила гипотеза R. Ford (2011) [1], который предположил, что отношение населения принимающей страны будет изменяться в зависимости от этнической принадлежности иммигрантов и их страны происхождения. Так, Ford предоставил в качестве результатов исследования утверждения о том, что в Великобритании негативные установки ниже к выходцам из Австралии и Западной Европы и выше – к иммигрантам из Африки, Южной Азии. В Швейцарии иммигранты из бывшей Югославия и Турции были восприняты более негативно, чем приезжие из стран Северной и Западной Европы [2, 3]. Исследователи рассмотрели вопросы наличия этнической иерархии, основанной на различных мерах социальной дистанции между этническими мигрантами. В контексте социальной психологии были выделены три основных принципа построения этнических иерархий.

Первый состоит в том, что почти все мигранты предпочитают социальные контакты в пределах их собственного этнического комьюнити. Во-вторых, при контактах с другими этническими группами существует иерархия предпочтений, которые разделяются в пределах одной группы (внутригрупповой консенсус). В-третьих, представители разных этнических групп, в том числе те, которые находятся внутри иерархии, принимают ее как данность (межгрупповой консенсус). Количественные исследования в Европе, США и Канаде продемонстрировали, что мигранты североевропейского происхождения обычно стоят во главе иерархии, а затем идут представители

¹ Статья написана на основе материалов, полученных в ходе реализации научного проекта «Социологический анализ межэтнических отношений в Томской области», осуществляемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 17-13-70005, 2017).

Южной и Восточной Европы, в то время как выходцы из стран Азии и Африки находятся на нижних ступенях иерархии. В отношении иммигрантов в России данные гипотезы проверялись А. Бессудновым [4].

В западных исследованиях причины иерархических различий иммигрантов со стороны принимающего сообщества интерпретировались, прежде всего, в расовых терминах [5]. История России не была отягощена расовым противостоянием и дискриминацией, поэтому российское массовое сознание не нагружено очевидными расовыми предрассудками, способными влиять на отношение к мигрантам. В нашем исследовании мы ориентировались на предшествующие исследовательские установки ученых применительно к мигрантам в России (образовательным, в последующем трудовым), заключающиеся в обнаружении наличия иерархии толерантных отношений к мигрантам со стороны принимающей стороны в зависимости от страны исхода. Полагаем, что акцентирование фактора этнической гетерогенности иностранных приезжих (мигрантов) важно для более точного понимания отношения к ним населения. Однако основания для категоризации групп образовательных (и трудовых) мигрантов по признаку «позитивности – негативности» отношения к ним агентов принимающей стороны могут отличаться.

Межэтнические отношения в регионе всегда привлекали внимание исследователей, а сами исследования являлись комплексными в плане поставленных задач, исследуемых типов отношений, методологических подходов [6]. Проблемы этнической толерантности или ксенофобии многогранны и ранее рассматривались исследователями томских вузов в различных аспектах [7–10].

В рамках представленного исследовательского проекта в июне – сентябре 2017 г. были проведены 20 глубинных полуформализованных интервью с иностранными студентами томских вузов, в частности НИ ТГУ, ТГПУ (на базе Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра) НИ ТПУ. Опрашивались бакалавры 2, 3, 4-х курсов, в основном гуманитарных направлений подготовки. Респонденты были выходцами из Узбекистана, Таджикистана, Бразилии, Вьетнама, Китая, Мали, Индонезии, Палестины, Монголии, Конго, Алжира, Польши.

Целью исследования было выявление социально-коммуникативных и психологических проблем в рамках межэтнических отношений в системе «образовательный мигрант – принимающее сообщество». В задачи исследования входило изучение общей ситуации выстраивания взаимоотношений и наличие «точек напряжения» в комплексе коммуникаций иностранных студентов с ключевыми целевыми аудиториями – педагогами, российскими сокурсниками, соседями по кампусу, университетскими знакомыми и жителями Томска. В опросах при интерпретации отношений к приезжим мы использовали методологический подход, основанный на концепции социокультурных различий как ключевого дифференцирующего фактора, дополняя его подходами социальной психологии. Изучение отношения к мигрантам со стороны различных ключевых целевых групп: педагогов, студенческого сообщества, жителей Томска – проводилось в перспективе видения его самими образовательными мигрантами. Обоснованность такого подхода, по нашему мнению, связана с тем, что, будучи одновременно и объектом и субъектом влияния, респонденты достаточно точно определяют общую картину и могут выявить

отдельные неблагоприятные ситуации, маркирующие контекст межэтнических отношений в регионе.

В ответах на вопросы интервью респонденты назвали несколько реализованных ими возможностей выбора города и вуза для образования. Некоторые из них уже имели первое высшее образование, полученное в своей стране, другие сначала работали в Томске, затем поступили учиться. Выбор места обучения осуществлялся на основании рекомендаций знакомых студентов и рекламных усилий вузов (выездных приемных комиссий и рекрутеров, что характерно в отношении мигрантов из СНГ). Для зарубежных студентов был также важен опыт соотечественников, кроме того, имело место ограничение выбора из предложений стран-участниц программ мобильности, по распределению министерств образования соответствующих стран. Интернет-источники играли роль в выборе необходимой стипендиальной программы и информации о принимающей стороне.

В ситуации пребывания в другой стране в рамках образовательной миграции различия в культуре и ценностях становятся причиной возникновения непонимания между представителями разных этносов. «Большинство межэтнических конфликтов носит социокультурный характер, например различия в языке, религии, нормах, ценностях, обычаях, традициях, стереотипах, национальных символах, способах мышления и поведения и т.д. Конфликт ценностей относится к числу наиболее сложно разрешимых» [11]. Ощущение «культурного шока» может являться одним из факторов, не позволяющим приезжим адекватно раскрыть свой образовательный потенциал и построить отношения на новом месте [12].

Увеличение числа иностранных студентов и возможное их предпочтение при зачислении российским абитуриентам, а впоследствии легко прогнозируемое наличие систематических задолженностей в учебе в результате недостаточного знания русского языка и другим причинам формируют неоднозначное отношение к образовательным мигрантам со стороны остальных участников образовательного процесса. Российские студенты в целом приветствуют привлечение иностранных студентов в вузы. Однако некоторые опасаются, что учащимся-гражданам будет уделяться меньше внимания в результате предпочтения, оказываемого иностранным студентам [13]. Отдельные инциденты, связанные с приведенными выше опасениями, были озвучены нашими респондентами. Негативный вклад в отношения между иностранными и российскими студентами вносят усугубляющаяся ситуация конкуренции за места в вузах, сравнительно лучшие условия проживания иностранных студентов в общежитиях, большая поддержка со стороны преподавателей иностранным студентам, делегируемые преподавателями тьюторские обязанности, налагаемые на русских студентов.

Как предполагалось выше, на микросоциальном внутригрупповом уровне почти все этнические мигранты предпочитают социальные контакты в пределах их собственной группы. Действительно, в ходе интервью на вопросы о том, с кем предпочитают общаться иностранные студенты, были получены ответы о комьюнити этнических «своих». Расширение границ группы фундируют общая религиозная принадлежность, отсутствие трайбалистских предрассудков вне своей страны (для афростудентов), хорошее знание рус-

ского языка [8] для общения с российскими или иностранными студентами, знающими русский язык.

Для психо-эмоционального комфорта мигрантов необходима возможность свободной коммуникации с представителями своего этноса. Респонденты отмечают, что поддерживают связь с представителями своей национальности, проживающими в Томске: с образовательными мигрантами и с представителями местных диаспор. Взаимодействие происходит на уровне участия в конфессиональных ритуалах, праздниках, в образовательном процессе и бытовой сфере: *...разные мероприятия проходят в Томске, вот мы и участвуем в них, показываем свою национальность... нашу традицию, наши обычаи сохраняем* (А., Узбекистан). При этом русские друзья иностранных студентов также могут свободно принимать участие в праздновании этнически символических дат.

Фактором привлекательности региона для мигрантов является возможность отправления своих религиозных обрядов и посещения храмов. Томск можно назвать городом, где наличествует многообразная конфессиональная представленность. Хотя и выяснилось, что религиозные общины и храмы в Томске большинство опрошенных по разным причинам посещают не часто, однако наличие самой возможности реализовать свои религиозные потребности воспринимается мигрантами как важный предпочтительный фактор. При этом некоторые иностранные студенты отмечают, что они являются приверженцами конфессий, храмы которых не представлены в Томске.

В рамках основной задачи исследования – изучения межэтнических отношений с принимающей стороной в оценке самих мигрантов – мы выявили наличие иерархии отношений к образовательным мигрантам со стороны российского образовательного сообщества и местного населения. По данным интервью, большее число претензий в плане нонтолерантного отношения было высказано выходцами из Средней Азии, составляющими большинство среди иностранных студентов в Томске. Китайские и вьетнамские студенты были в большей степени удовлетворены отношением к ним принимающей стороны (студентов, преподавателей, населения). У афростудентов внутреннее ощущение дискомфорта было связано прежде всего с реакцией местного населения и других студентов на фенотипические внешние отличия, также отмечалась некоторая тревога при нахождении в ситуациях клубного досуга.

Евростуденты в плане отношения местного населения и других студентов могут быть отнесены к привилегированной группе. Они легко контактируют с российскими студентами. Последние, в свою очередь, могут использовать для общения английский язык, не так значительны между ними культурные и ценностные различия. Однако европейских студентов пока меньшинство в томских вузах.

Рассматривая данные проведенных интервью в контексте представленной выше иерархической гипотезы, следует сказать, что она нашла обоснованное подтверждение. Можно говорить о наличии иерархии в отношении к иностранным студентам, но она не основывается, на наш взгляд, на расовых различиях, а прежде всего на культурно-ценностных, социально-психологических дифференциациях. Можно согласиться с утверждением Н.К. Радиной [14] о том, что имеет место иерархия опекаемости иностранных студентов в вузах. Так, студенты из азиатских республик СНГ только по формальному

признаку относятся к иностранным и предоставлены в процессе обучения и адаптации сами себе. Студенты из Китая, Вьетнама Африки, других стран дальнего зарубежья пользуются большим вниманием со стороны преподавателей из международных поддерживающих центров вузов. Европейским студентам, приезжающим по краткосрочному обмену (например, из Польши), уделяется значительно больше внимания со стороны административных структур вузов. Так называемый «административный национализм» был отмечен также в опросах иностранных студентов Москвы, Воронежа, Томска предшествующими исследователями [6, 14].

Следует отметить, что большинство иностранных студентов придерживалось общепринятых норм принимающей стороны, связанных с одеждой, поведением, в бытовых условиях усваивались традиции проведения российских праздников, национальная кухня. Мы интерпретируем это как желание со стороны иностранных студентов адаптироваться и интегрироваться в принимающую среду при сохранении собственных традиций. Ситуацию дискомфорта отмечала одна студентка из Индонезии, строго придерживающаяся национально-религиозных требований в одежде и отправлении культа, это было связано с любопытством окружающих и многочисленными вопросами, провоцируемыми необычным внешним видом.

Межгрупповые этнические взаимодействия были одинаково общепринятыми для религиозно отличающихся групп (например, сунниты и шииты). Также один из респондентов высказал мнение, что негативные межэтнические отношения однозначно повлияли бы на его отношение к стране, с которой они испортились. Практически все иностранные студенты испытывают гордость за принадлежность к своей национальности и стране.

Исходные или скорректированные пребыванием в Томске установки иностранных приезжих на выстраивание типа взаимоотношений и взаимодействия с представителями принимающей стороны также важны для понимания вклада образовательных мигрантов в сферу межнациональных отношений в регионе. Способность мигрантов в эпоху «транснационализма» сочетать в себе несколько идентичностей (в том числе идентичность представителей местного сообщества) создает условия, при которых успешное взаимодействие с местным населением становится критически важным как еще один фактор привлекательности региона. Многие томские образовательные мигранты открыты для общения с населением, находятся с россиянами в деловых, дружеских отношениях. Открытость иностранных мигрантов в отношении инокультурной среды принимающей стороны выразилась в довольно широких уровнях принятия и приближения ее: респонденты отметили следующие возможности: *все можно: дружба, брак* (Мали); *просто друзья* (Индонезия); *...вместе учиться и работать* (Китай); *...соседство, трудовая деятельность* (Вьетнам). Можно сказать, что у приезжих образовательных мигрантов в целом нет установок на изоляцию, у всех проявляется готовность, по меньшей мере, к совместной учебе, дружеским отношениям.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во-первых, межэтнические отношения в Томской области, со слов образовательных мигрантов, можно определить в целом как благоприятные. В части ответов респондентов пребывание в Томске характеризуется выражением «как дома». Наши респонденты затруднялись рассказать о причинах и примерах

притеснений иностранцев в России. Некоторые из них отметили, что со стороны томичей чувствуется страх в отношении мусульман «из-за угрозы террористических действий».

Во-вторых, существует иерархия в отношении к разным категориям образовательных мигрантов со стороны принимающего сообщества, связанная с социокультурными и социально-психологическими факторами. В качестве рекомендации в образовательном процессе и на бытовом уровне (проживание в общежитии) следует избегать совмещения политически или религиозно потенциально конфликтных образовательных мигрантов и уделять внимание всем иностранным студентам, обучающимся в томских вузах, независимо от страны исхода.

В-третьих, изменяющаяся внешняя политическая ситуация может повлиять как позитивно, так и негативно на отношения между трудовыми мигрантами, образовательными мигрантами и принимающей стороной.

Как показали материалы интервью, мигранты в Томской области практически не встречаются с проявлениями открытой ксенофобии и национального превосходства. Однако латентное недовольство со стороны россиян присутствует и связано, вероятно, с конкуренцией за бюджетные места, недостаточным финансированием системы образования, террористической фобией, стереотипами восприятия, возможно, с другими причинами, требующими осмысления.

Литература

1. Ford R. Acceptable and unacceptable immigrants: the ethnic hierarchy in British immigration preferences // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2011. № 37. P. 1017–1037.
2. Hainmueller J., Hangartner D. Who gets a Swiss passport? A natural experiment in immigrant discrimination // American Political Science Review. 2013. № 107. P. 159–187.
3. Hagendoorn (1995) Hagendoorn L., et al. (1998). Inter-ethnic preferences and ethnihierarchies in the former Soviet Union // International Journal of Intercultural Relations. № 22. P. 483–503.
4. Bessudnov A. Ethnic Hierarchy and Public Attitudes towards Immigrants in Russia European Sociological Review Advance Access published February 13 2016 European Sociological Review, 2016. P. 1–14 doi: 10.1093/esr/jew002 Original Article OXFORD
5. Bridges S., Mateut S. Should They Stay or Should They Go? Attitudes Towards Immigration in Europe // Scottish Journal of Political Economy. 2014. № 61. P. 397–429.
6. Полетаев Д.В., Деметтьева С.В., Лебедева С.Г. Вузы России как механизм адаптации учебных мигрантов. 2009. № 375. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0375/analit05.php> (дата обращения: 20.01.18).
7. Рыкун А.Ю., Абрамова М.О., Сухушина Е.В. Отношение молодежи г. Томска к трудовым и образовательным мигрантам (на примере исследования молодежи г. Томска) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 37. С. 171–183.
8. Погодаев Н.П. Владение русским языком как условие адаптации студентов-мигрантов из Таджикистана в университетском пространстве Томска // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 1 (29). С. 91–103.
9. Нам И.В. «Новые этнические группы (диспоры) в г. Томске // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 5 (37). С. 33–43.
10. Китайские, вьетнамские, монгольские образовательные мигранты в академической среде / науч. ред. Е.Ю. Кошелева. Томск : ТПУ, 2013. 418 с.
11. TSU, TPU and SibGMU entered the list of universities for the export of Russian education // Portal vtomske.ru. URL: <https://news.vtomske.ru/news/146243-tgu-tpu-i-sibgmu-voshli-v-spisok-vuzov-dlya-eksporta-rossiiskogo-obrazovaniya> (дата обращения: 05.12. 2017).
12. Кушнарёва А.А. Реализация образовательных возможностей студентов-мигрантов в вузах России и Великобритании: на пути к решению // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2012. № 1 (5). С. 16–23.

13. Деева А. Из России с дипломом : В томские вузы наберут иностранных студентов // Портал Smartnews, 30 апреля 2017 года. URL: <http://smartnews.ru/regions/tomsk/6833.html#ixzz4w24hzK8i> (дата обращения: 05.12. 2017).

14. Рабина Н.К. Образовательная миграция в контексте новой миграционной политики России // XV апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / под ред. Е.Г. Ясин. М., 2015. Кн. 4. С. 271–278.

Tatyana A. Bulatova, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: bulatowa@mail.ru

Andrey P. Glukhov, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: GlukhovAP@tspu.edu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 117–124.

DOI: 10.17223/1998863X/43/11

THE STATE OF INTER-ETHNIC RELATIONS AS ASSESSED BY EDUCATION MIGRANTS

Keywords: education immigrants; international relationships; ethnic differences; tolerance.

This article presents an analysis of regional inter-ethnic relations: it describes a study conducted on the basis of deep semi-formalised interviews with foreign students from near and far abroad who study in Tomsk universities. The relevance of the topic is implied by the multinationality of Russian regions, the balanced development of which is possible only in the context of inter-ethnic harmony and the increasing flows of labour and education migration to Russia. Various factors such as politics, economy, demography and social culture can influence the tolerance of the society and initiate some conflict situations. Education migration is a new trend in the system of Russian university education. The number of international students in Russia is rising constantly. This publication includes the analysis of relations between education migrants and local people. The article is based on the results of a sociological survey conducted in June – October 2017 in Tomsk State Pedagogical University. Participants of the study gave their opinion on the current situation and their assessment to it, which helped the authors of the article to find out some misunderstandings between people. The study was conducted in Tomsk State Pedagogical University and Tomsk State University. About twenty international students were interviewed to identify negative and positive factors in inter-ethnic relations. According to the results, negative factors did not appear systematically. A lot of problems were connected with the new unknown language and cultural differences, the educational equality between Russian and international students was unbalanced as well. The students from Central Asia felt that they were assessed more negatively than non-CIS students. Most migrants suppose that friendship with the local society exists, but in real situations migrants were at a distance from the citizens. People from Central Asia communicated with other diasporas, but this communication was quite limited and covered only national holidays. People from the same ethnic groups were helping each other. The obtained data allow pointing out factors which can influence inter-ethnic relations and education migrant adaptation, they also help to offer corrective measures in education migrant adaptation strategies.

References

1. Ford, R. (2011) Acceptable and unacceptable immigrants: the ethnic hierarchy in British immigration preferences. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 37. pp. 1017–1037. DOI: 10.1080/1369183X.2011.572423
2. Hainmueller, J. & Hangartner, D. (2013) Who gets a Swiss passport? A natural experiment in immigrant discrimination. *American Political Science Review*. 107. pp. 159–187. DOI: 10.1017/S0003055412000494
3. Hagendoorn, L., et al. (1998) Inter-ethnic preferences and ethnihierarchies in the former Soviet Union. *International Journal of Intercultural Relations*. 22. pp. 483–503. DOI: 10.1016/S0147-1767(98)00020-0
4. Bessudnov, A. (2016) Ethnic Hierarchy and Public Attitudes towards Immigrants in Russia. *European Sociological Review*. 32(5). pp. 567–580. DOI: 10.1093/esr/jcw002
5. Bridges, S. & Mateut, S. (2014) Should They Stay or Should They Go? Attitudes Towards Immigration in Europe. *Scottish Journal of Political Economy*. 61. pp. 397–429.
6. Poletayev, D.V., Dementyeva, S.V. & Lebedeva, S.G. (2009) Vuzy Rossii kak mekhanizm adaptatsii uchebnykh migrantov [Russian universities as a mechanism for the adaptation of educational

migrants]. *Demoskop Weekly*. 375. [Online] Available from: <http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0375/analit05.php>. (Accessed: 20th January 2018).

7. Rykun, A.Yu., Abramova, M.O. & Sukhushina, E.V. (2017) Otnosheniye molodezhi g. Tomsk k trudovym i obrazovatel'nym migrantam (na primere issledovaniya molodezhi g. Tomsk) [Attitude of the Tomsk youth to the work and educational migrants (a case study of the Tomsk youth)]. *Vestnik Tomskogogosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 37. pp. 171–183. DOI: 10.17223/1998863X/37/17

8. Pogodayev, N.P. (2015) Competence in the Russian language as a condition of adaptation of students from Tajikistan at the universities of Tomsk. *Vestnik Tomskogogosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 1(29). pp. 91–103. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863y/29/10

9. Nam, I.V. (2015) New ethnic groups (diaspora) of Tomsk. *Vestnik Tomskogogosudarstvennogo universiteta. Istoriya – Tomsk State University Journal of History*. 5(37). pp. 33–43. (In Russian). DOI: 10.17223/19988613/37/5

10. Kosheleva, E.Yu. (ed.) (2013) *Kitayskiye, v'yetnamskiye, mongol'skiye obrazovatel'nyye migranty v akademicheskoy srede* [Chinese, Vietnamese, Mongolian educational migrants in the academic environment]. Tomsk: Tomsk Polytechnical University.

11. Shaev, A. (2017) *TSU, TPU and SibGMU entered the list of universities for the export of Russian education*. [Online] Available from: <https://news.vtomske.ru/news/146243-tgu-tpu-i-sibgmu-voshli-v-spisok-vuzov-dlya-eksporta-rossiiskogo-obrazovaniya>. (Accessed: 5th December 2017).

12. Kushnareva, A.A. (2012) The Implementation of Equal Educational Opportunities of Migrant Students at Universities of Russia and the UK: towards a Solution. *Professional'noye obrazovaniye v Rossii i za rubezhom – Professional Education in Russia and Abroad*. 1(5). pp. 16–23. (In Russian).

13. Deyeva, A. (2017) *Iz Rossii s diplomom. V tom'skiye vuzy naberut inostrannykh studentov* [From Russia with a diploma. Tomsk universities will recruit foreign students]. [Online] Available from: <http://smartnews.ru/regions/tomsk/6833.html#ixzz4w24hzK8i>. (Accessed: 5th December 2017).

14. Radina, N.K. (2015) *Obrazovatel'naya migratsiya v kontekste novoy migratsionnoy politiki Rossii* [Educational migration in the context of the Russian new migration policy]. In: Yasin, E.G. (ed.) *XV aprel'skaya mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva: v 4 kn.* [The 15th April International Scientific Conference on the Problems of the Development of the Economy and Society: In 4 books]. Book 4. Moscow: HSE. pp. 271–278.

УДК 314.012

DOI: 10.17223/1998863X/43/12

Т.Б. Гудкова

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА: ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕОРИИ

Проанализированы предпосылки, основные положения и практическая значимость теории второго демографического перехода, представлены аргументы ее основоположников в пользу «жизнеспособности» концепции и ее применимости к различным странам и регионам мира, изложены критические замечания оппонентов теории и автора статьи.

Ключевые слова: демографическая теория, первый демографический переход, второй демографический переход, брачно-семейное поведение, рождаемость, конвергенция, дивергенция, ценности.

Введение

Прошло более шестидесяти лет с момента публикации статьи Руперта Вэнса «Нужна ли теория демографам?» [1], но лишь немногие исследователи ответят на этот вопрос утвердительно. Демография обычно воспринимается как эмпирическая социальная наука, статус теории в ней по сей день остается проблематичным. Авторы большинства работ, посвященных демографическим проблемам, ограничиваются анализом эмпирических данных, в лучшем случае – разработкой методов такого анализа. Тем не менее в демографии время от времени появляются и теоретические обобщения, которые привлекают внимание представителей этой научной дисциплины, порождают различные интерпретации, вызывают споры и в конечном счете вносят заметный вклад в развитие научной демографии в целом. Кроме того, они всегда расширяют поле взаимодействия демографии со смежными дисциплинами, будь то психология, социология, экономика или статистика.

Изучение таких теоретических обобщений, их сопоставление с уже имеющимися теориями и концепциями – важная задача демографических исследований. Тщательная оценка теорий, точек зрения и даже ретроспективных взглядов на происходившие в прошлом изменения ведет к лучшему пониманию актуальных демографических проблем, а значит, и к выработке более эффективных ответов на возникающие реальные вызовы, к развитию наших представлений о том, какие меры необходимо принимать в демографической политике.

Сопоставление теоретических взглядов, анализ их развития позволяют более точно формулировать исследовательские вопросы, уменьшают концептуальную путаницу, побуждают к проверке соответствия между объясняющими теориями и объясняемыми фактами. Выдающийся канадский демограф, пионер в области математической демографии Натан Кейфиц весьма провокационным образом показал, насколько важным может быть такая ра-

бота: «Более глубокое понимание основы наших знаний и суждений не может не улучшить их» [2. Р. 287].

Важным результатом эпистемологического анализа дисциплины является понимание того, что на самом деле представляет собой наука о народонаселении. И в этом направлении перед нами раскрывается перспектива движения в сторону «процессо-ориентированной демографии» [3], которая разрабатывает теории на основе тщательного анализа процессов, лежащих в основе демографического поведения, и затем тестирует теорию, используя операционализированные данные в терминах точно определенных переменных. Объединив индивидов или другие единицы анализа в группы или подгруппы, однородные по конкретным характеристикам, можно продемонстрировать, как отдельные действия, независимо от того, считаются ли они в основном адаптивными или биологически детерминированными, приводят к демографическим изменениям. Такой подход, по мнению Дирка ван де Каа, мог бы также помочь в преодолении растущего разрыва между теоретиками демографического поведения, с одной стороны, и разработчиками демографических моделей – с другой.

В начале 70-х гг. прошлого столетия выдающийся английский (венгерского происхождения) философ и методолог науки Имре Лакатос предложил теорию развития науки, «основанную на идее соревнующихся исследовательских программ» [4. С. 160]: побеждает та программа, которая обеспечивает «прогрессивный сдвиг проблем», т.е. не только предсказывает новые факты, но и объясняет факты, ранее установленные «теорией-соперницей». В демографической науке на роль «теории-соперницы» основной исследовательской программы, именуемой теорией демографического перехода (ТДП), с середины 1980-х гг. стала претендовать теория второго демографического перехода (ВДП).

Генезис и развитие теории второго демографического перехода

Теория «классического» демографического перехода была сформулирована Фрэнком Ноутстейном в 1945 г. как нарратив, описывающий процесс снижения смертности и рождаемости в ряде европейских стран с конца XVIII в. в ответ на изменения в экономических, технологических (в частности, в медицине) и культурных условиях. Теория явилась полезным и весьма убедительным обобщением демографического опыта в европейском регионе. Согласно ТДП население всех регионов мира в конечном счете будет следовать одному и тому же пути развития – от равновесия высокой смертности и высокой рождаемости к равновесию низкой смертности и низкой рождаемости.

В середине 1960-х гг. выяснилось, что эта теоретическая модель имеет существенный недостаток: после завершения перехода рождаемость не остается достаточно высокой для обеспечения замещения поколений [5]. Под катализирующим влиянием значительно улучшенной высокоэффективной контрацепции, которая еще более совершенствовалась в условиях развития государства благосостояния, и заметных изменений в предпочтениях и приоритетах рождаемость стала снова снижаться. Даже достигнув уровня намного ниже необходимого для замещения поколений, никаких признаков ее восста-

новления обнаружено не было. Наряду с этим произошли многочисленные изменения в демографическом поведении: женщины стали рожать в более позднем возрасте, нерегистрируемое сожителство стало обычным явлением, произошел разрыв между матримониальным и сексуальным поведением, увеличилась доля детей, родившихся вне брака, организация личной жизни стала носить плюралистический характер, в то же время брак стал менее стабильным, чем в предыдущие десятилетия. Снижение смертности в старших возрастах ускорило процесс старения. И еще недавно бывшая донором миграции для других регионов Европа стала регионом-реципиентом. Это, в свою очередь, оказало глубокое влияние на состав населения европейских стран. Они стали культурно неоднородными – ситуация, с которой им было чрезвычайно сложно справиться. Становилось все более очевидным, что этот новый набор демографических факторов не может быть объяснен как временный феномен. Для его описания и был предложен термин «второй демографический переход» (ВДП).

В основе идеи о новой стадии демографического развития, как отмечают авторы концепции ВДП [6, 7], лежит анализ истории детства французского историка Филиппа Ариеса и его работа «Две последовательные мотивации к снижению рождаемости на Западе» 1980 г. По мнению Ариеса, снижение рождаемости было вызвано изменившейся мотивацией к деторождению: с конца XVIII в. и вплоть до 30-х гг. XX в. снижение рождаемости происходило за счет увеличения эмоциональных и финансовых инвестиций в ребенка («эра ребенка-короля»). Согласно Лестегу данная мотивация больше не является доминирующей, и ВДП ознаменовал изменение ориентации взрослых людей в сторону собственной самореализации. Ребенок, хотя еще присутствует в жизненных планах пар и индивидов, не имеет прежних «королевских» привилегий в эпоху, когда выбор человека осуществляется в пользу собственного развития. Следует отметить, что Ариес [8] ссылаясь на наблюдения Альфреда Соби о том, что снижение рождаемости вызвано новым феноменом: люди начали отказываться от *нежелательных детей*, т.е. это не означает, что ценность детей уменьшилась, наоборот, возросла «самоценность» детей [9]. К тому же, несмотря на некоторое колебание в начале 2000-х гг. [10], норма двух детей остается чрезвычайно стабильной в Европе [11].

Другой предпосылкой теории ВДП является положение экономической теории рождаемости Ричарда Истерлина о том, что незамещающая рождаемость уже стала структурной, и данная тенденция имеет долгосрочную перспективу в западных странах. Следуя идее цикличности в рождаемости Истерлина, малые когорты имеют больше возможностей для трудоустройства и большую вероятность достичь уровня благосостояния своих родителей, поэтому люди раньше вступают в брак и переключаются на деторождение, тогда как дети многочисленных поколений создают противоположный демографический эффект. Второй демографический переход не устанавливает подобной связи, но утверждает, что изменения экономических и культурных условий служат важными факторами, определяющими тенденции рождаемости [7].

Признавая важность экономических последствий как на макро-, так и на микроуровне, теория ВДП особое внимание уделяет идейным факторам и

культурным изменениям. По всей видимости, идейные сдвиги изменили отношение людей к браку, деторождению, собственному здоровью и в целом оказали влияние на демографические процессы. Объяснение демографической ситуации выходит за рамки экономических колебаний и может быть дополнено представлением о том, что поведение людей, в том числе демографическое, начинает меняться, когда подвергается пересмотру система ценностей в обществе и происходит переориентация отдельного индивида в зависимости от выбранного им жизненного пути (например, сдвиг в сторону одиночного проживания, до- и послебрачного сожительства, откладывания рождений, внебрачных рождений, разводов и распада союзов). Таким образом, теория ВДП включает как экономические, так и социологические рассуждения и по этой причине тесно связана с концепцией постматериализма Рональда Инглхарта. Согласно Инглхарту начиная с 1970 г. непрерывно прослеживается сдвиг от материалистических приоритетов к постматериалистическим – переход «первостепенной роли от вопросов материальной и личной защищенности к проблемам самовыражения и качества жизни» [12. С. 57]. Австрийским демографом Джозефом Шмидом были выделены «старые» и «новые» ветви постматериализма. Старые ветви – установка на достижение успеха и статуса: растущие ожидания; стремление к предметам роскоши; ощущение относительной депривации. Новые ветви характеризуются принадлежностью к субкультурам и приверженностью постматериалистическим ценностям [13. Р. 7]. Прямым следствием данного сдвига является то, что ВДП предсказывает характерные для него демографические последствия (структурную незамещающую рождаемость, рост альтернативных форм совместного проживания) и за пределами западных стран, если в незападных странах в равной степени будут развиваться потребности более высокого порядка (потребности в самореализации) и распространяться демократические институты, обеспечивающие сохранение социокультурного многообразия [7].

И наконец, базисом теории ВДП считается теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу, предложенная в 1954 г. По мере того как население становится богаче и образованнее, внимание людей устремляется от потребностей, связанных с выживанием, безопасностью и солидарностью, к индивидуальной самореализации, признанию, низовой демократии, самовыражению в работе и ценности образования. Стоит отметить, что, говоря о самоактуализации как вершине пирамиды потребностей, А. Маслоу подразумевает под ней «стремление человека к самовоплощению, к актуализации заложенных в нем потенций» [14. С. 68] и связывает ее с людьми зрелого возраста (в силу опыта, а не как трактуется у Лестега – вследствие богатства и образования). Далее, к потребности в признании и самоактуализации человек устремляется после того, как удовлетворена потребность в принадлежности и любви, и семья и дети в этом плане представляют особую ценность. Самоактуализированный человек «постиг высшую ценность человеческих душевных качеств» [Там же. С. 191]. В данном контексте ссылка на Маслоу для подкрепления доводов основоположников теории ВДП представляется противоречащей им.

Теория второго демографического перехода впервые была апробирована Роном Лестегом и Дирком ван де Каа в 1986 г., когда исследователями была

установлена взаимосвязь изменений в рождаемости, формировании семьи и партнерском поведении, которые начались в середине 1960-х гг. во многих странах Западной и Северной Европы. Широкую известность теория получила после публикации ван де Каа 1987 г. работы «Европейский второй демографический переход» в Демографическом бюллетене ООН [13]. В 1990-х гг. теорию начали «тестировать» на странах Центральной и Восточной Европы, что вызвало интерес у многих исследователей – представителей данных регионов. В начале 2000-х гг. были проведены две научно-исследовательские конференции, в ходе которых развернулись теоретические дебаты вокруг теории второго демографического перехода. Обсуждение позволило выявить сильные и слабые стороны концепции, и дальнейшее развитие концепции велось в русле поиска и обоснования ответов на поставленные вопросы.

Теоретические дебаты вокруг второго демографического перехода

Теория второго демографического перехода, как уже отмечалось, связывает тенденции демографического поведения с изменениями ценностей в западных обществах [15]. Будучи «основной концепцией среди ученых в области народонаселения, занимающихся демографическими изменениями в европейских обществах» [16. Р. 1], теория ВДП вызывает и по сей день много споров.

Во-первых, высказываются некоторые возражения относительно правомерности использования понятия «второй демографический переход». Массимо Ливи-Баччи, к примеру, утверждает, что «существует только один «демографический переход» в мировой истории» [17. Р. 28], остальное – это «предпереходные» либо «постпереходные» изменения. Дэвид Коулмен задается вопросами, действительно ли это «второй»? Действительно ли «демографический»? И действительно ли «переход»? Не является ли он продолжением первого демографического перехода? [18]. Джон Колдуэлл предлагает заменить термины «первый демографический переход» и «второй демографический переход» на «первый» и «второй переход в рождаемости» [19. С. 429]. «Речь, по-видимому, все-таки идет не о собственно демографическом переходе, а о серии его следствий во всем, что касается организации личной жизни человека», – замечает А.Г. Вишневецкий [20. С. 65].

С появлением «второго демографического перехода» потребовалось объяснить, что подразумевается под «первым демографическим переходом» (ПДП), поскольку до тех пор существовали просто демографический переход и описывающая его теория (ТДП). Основным аргументом ван де Каа и Лестега в пользу ВДП является то, что в отличие от классического демографического перехода, «конечной точкой» которого предполагалось равновесие низкой смертности и низкой рождаемости (следовательно, отсутствие «демографической» потребности в устойчивой иммиграции), нулевой естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни выше 70 лет, нуклеарный тип семьи (супружеская пара с детьми) – ожидания начала 1970-х гг. – ВДП не предполагает подобного равновесия в качестве «конечной точки». Главное различие между первым и вторым переходами заключается в их движущих силах: в то время как снижение смертности послужило «двигате-

лем» для первого перехода, снижение рождаемости стало «двигателем» для второго. В то же время между ними есть и смысловые различия: если фундаментальным принципом первого перехода является «рационализация жизни», то второго – право на самореализацию для каждого человека – «индивидуализация жизни» [21. Р. 8]. Лестег [7] не отрицает того факта, что ПДП явился необходимой предпосылкой для ВДП, и вслед за своим единомышленником ван де Каа выделяет ряд отличий ПДП и ВДП как демографического (брачность, рождаемость), так и социального характера (социетальный фон). Однако если следовать логике преемственности между ПДП и ВДП, тогда демографические и социальные изменения в период ВДП необходимо рассматривать не как обособленно происходящие, а как закономерно вытекающие из ПДП. Это, в свою очередь, противоречит идее самостоятельности второго демографического перехода.

Во-вторых, доказательства причинно-следственной связи между ценностными и поведенческими изменениями представляются малоубедительными. Связь между ценностями и поведением может быть не прямой и может варьироваться в зависимости от контекста [16]. Так, главный недостаток «классической» теории демографического перехода авторы теории ВДП видят в том, что она не предсказывает снижения рождаемости ниже уровня замещения поколений. Причину снижения рождаемости ниже уровня замещения поколений ван де Каа и Лестег видят в «идейном сдвиге» – в росте индивидуализма и секуляризации [13, 22]. В то же время исследования Т. Сobotки показывают, что страны, которые испытали самые передовые сдвиги в ценностях и семейном поведении, характерные для ВДП, не имеют особо пониженных показателей рождаемости. Напротив, большинство европейских стран имеют коэффициент рождаемости, близкий к порогу замещения, включая Скандинавские страны, Бельгию, Нидерланды, Францию и Великобританию, и при этом демонстрируют прогресс в ВДП [23]. Более того, страны, которые наиболее активно развивались по пути ВДП, испытывают существенное «восстановление» показателей рождаемости в старших репродуктивных возрастах (эффект отложенных рождений). Что касается роста индивидуализма, то аргументы Самуила Престона [24] выглядят более убедительными: индивидуализм не мог возникнуть сам по себе, он, как наиболее популярная система ценностей, стал результатом «измененных условий» общества.

Нам представляется, что демографические изменения являются, скорее, первичным стимулом, тогда как идейные и ценностные – реакцией на них. Механизм демографических изменений был запущен задолго до начала второго демографического перехода: как только отпало давление высокой смертности, потеряла смысл и высокая рождаемость, после стали самостоятельными все три вида поведения – матримониальное, прокреативное и сексуальное.

Третьим спорным моментом теории является степень распространения ВДП за пределами западных обществ [25, 26]. Теория второго демографического перехода выдвигает гипотезу о сокращении межнациональной гетерогенности в европейских странах по мере их прохождения через «стандартную» последовательность демографических событий [13]. Согласно основоположникам теории, несмотря на запаздывание, с которым изменения охватывают

различные европейские страны, индивидуализация демографического поведения, вероятно, произойдет во всей Европе. Более того, сторонники теории подчеркивают схожесть тенденций в брачно-партнерской сфере в некоторых промышленно развитых странах Азии, Дальнего Востока и Латинской Америки [7] и предсказывают выбор аналогичных моделей поведения. Несмотря на особенности культурно-исторического развития, прогнозы ВДП, в основной набор которых входят (1) индивидуальная свобода выбора и плюрализм форм брачно-партнерских отношений; (2) стремление к самореализации и, как результат, снижение рождаемости; (3) глобальная коммуникация и диффузия идей; (4) сдвиг в сторону «постматериалистических» ценностей и ценностей самовыражения, правомерны и для этих стран [27].

Согласно оппонентам теории влияние различных исторических и современных событий будет сохраняться в ближайшем будущем, следовательно, процесс сближения траекторий демографического поведения в Европе может быть затруднен как культурными, так и институциональными факторами [25, 28]. Дэвидом Реэром был поднят вопрос о различиях европейских моделей семьи [25]. Он противопоставляет модель семьи в Южной Европе, основанной на «сильных» связях, модели семьи в Северо-Западной Европе, где, как он утверждает, связи были «слабыми» в течение многих столетий. Эта особенность рассматривается в качестве фактора, оказывающего значительное влияние на поворотные жизненные этапы. Карл Майер [28] же утверждает, что давние различия в социально-экономических институтах играют решающую роль в том, каким образом экономическая глобализация влияет на модели жизненного пути. С его точки зрения, не следует ожидать сходимости в паттернах жизненного пути до тех пор, пока остаются дифференцированными институциональные структуры.

По мнению Антона Кайстена, сохраняющиеся различия брачно-семейного и репродуктивного поведения в Европе и значительные колебания в межстрановых изменениях не могут быть объяснены как проявление межнациональной разницы в скорости, с которой страны движутся по одной и той же траектории. Они скорее выступают в качестве индикатора дифференциации структурных условий и моделей развития семейной жизни в Европе. Кайстен не отрицает распространенности индивидуализации и плюрализации во всех европейских странах, но отмечает существенные различия в интенсивности этих процессов и особенностях трансформации форм организации семейной жизни для каждой отдельно взятой страны [29]. Это созвучно тому, о чем писала Кати Бох в конце 1980-х гг.: «Какими бы ни были существующие структуры, они характеризуются принятием разнообразия, предоставившим мужчинам и женщинам возможность выбора в пределах системы из имеющихся вариантов той модели жизни, которая наилучшим образом отвечает их собственным потребностям и устремлениям» [30. Р. 296]. Таким образом, общей чертой, характеризующей изменения в моделях формирования семьи в Европе, является «сближение к разнообразию».

Франческо Биллари рассматривает вероятность конвергенции демографического поведения внутри региона ЕЭК ООН. По его мнению, сходимость можно было бы ожидать в результате глобальной тенденции в сторону увеличения сходства в социально-экономических и институциональных системах, а также общего направления идейных сдвигов. Но, несмотря на общие

тенденции, все страны ЕЭК ООН вряд ли достигнут одного уровня, ввиду долгосрочных и глубоко укоренившихся культурных различий, с одной стороны, и разнородности институциональных условий – с другой, обеспечивая тем самым зависимость эволюция от предшествующего развития и, по всей видимости, сохранение различий [31].

Главный недостаток теории ВДП Дэвид Коулмен видит в отсутствии в ней должного внимания к роли международной миграции. Тогда как увеличение числа иммигрантов в странах с низким уровнем рождаемости приводит к значительным изменениям в «национальном составе населения и, следовательно, в культуре, внешнем облике, социальном опыте и самосознании жителей европейских стран» [32. Р. 402]. Растущая тенденция поддержания численности населения стран с рождаемостью ниже уровня воспроизводства за счет большого притока мигрантов получила название «третий демографический переход». И хотя сам Коулмен, предложивший этот термин, в своих последующих публикациях его не использует, предпочитая оперировать понятием демографического перехода (первого, классического) с привнесением в него компонента миграции, в научной литературе термин «третий демографический переход» закрепился. Так, например, Даниэль Лихтер в исследовании «Интеграция или фрагментация: расовое разнообразие и будущее Америки» пишет о том, что «новая иммиграция изменила фундаментальный характер Америки. Иммиграция стала национальной политической проблемой, а не просто государственной или локальной» [33. Р. 364]. Впервые наблюдаются изменения в расовом составе подрастающего поколения американцев, и многие из этих детей – дети иммигрантов. Лихтер подчеркивает, что эти дети находятся в «авангарде третьего демографического перехода, который трансформирует Америку» [Ibid. Р. 364].

Как видим, с момента публикации ван де Каа 1987 г. о втором демографическом переходе вокруг вопроса о сходящихся и расходящихся процессах в европейских обществах развернулась дискуссия даже не в двух, а в трех направлениях: те, кто приводят аргументы в пользу конвергенции семейно-брачного поведения, те, кто ожидают сохранения его особенностей в каждой стране, и те, кто указывают на дивергенцию моделей жизненного пути, а следовательно, и брачно-партнерских траекторий. Дискуссия, таким образом, затронула проблему интерпретации концептуальных рамок теории и потребовала ответа на вопрос, все ли страны и регионы должны следовать концептуальной схеме?

Согласно ван де Каа на уровне стран и регионов данный вопрос требует специальных исследований. Однако «цель концептуальной основы именно в том, что она позволяет исследователям выявить и изучить национальные и региональные особенности и, если возможно, объяснить и понять обнаруженные различия. Отклонения от довольно общей модели сами по себе не уменьшают ценности концептуального инструмента исследования или его концептуальных рамок» [21. Р. 8]. Далее демограф говорит о скорости конвергенции к «стандартной модели», которая зависит от диффузии конкретных идей, охватывающих группы населения с весьма различными социально-экономическими условиями, культурным опытом и в разное время. Следовательно, требуется больше времени для того, чтобы поведенческие сдвиги произошли в других странах и регионах.

Заключение

Несмотря на то, что концепция второго демографического перехода играет важную роль в дискуссии о демографическом будущем Европы и находится в центре внимания многих исследователей, единого мнения о ее парадигмальном характере, т.е. способности совершить «прогрессивный сдвиг проблем», пока нет. Авторы теории ВДП подчеркивают роль идейного фактора в изменении демографического поведения – сдвиг в сторону одиночного проживания, до- и послебрачного сожительства, откладывания рождений, высокой доли внебрачной рождаемости и увеличения числа распавшихся союзов. Такая точка зрения является достаточно дискуссионной, поскольку связь между ценностями и поведением может быть обратной и зависит от рассматриваемого контекста. Авторы теории ВДП также выдвигают гипотезу о конвергенции демографического поведения к «стандартной модели», которая задается наиболее «продвинутыми» в ВДП обществами, т.е. Скандинавскими странами. В ряде исследований данная гипотеза не находит подтверждения в связи с возможностью сохранения различий между брачно-семейным поведением населения Северо-Западной Европы, «родины» новых моделей семьи, и восточноевропейских стран. Тем не менее теория ВДП является тем концептуальным инструментом, который позволяет выявлять и изучать национальные и региональные особенности брачно-семейного поведения и имеет эвристический потенциал с точки зрения объяснения новейших тенденций демографических процессов.

Литература

1. *Vance R. B.* Is theory for demographers? // *Social Forces*. 1952. № 31. P. 9–13.
2. *Keyfitz N.* How do we know the facts of demography? // *Population and Development Review*. 1975. P. 267–288.
3. *Van de Kaa D.J.* Emerging Issues in Demographic Research for Contemporary Europe // *Population Studies*. 1991. № 45 (1). P. 189–206.
4. *Лакатос И.* Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М. : Медиум, 1995.
5. *Van de Kaa D.J.* Demographic transitions // *Zeng Y., ed. Encyclopedia of life support systems (EOLSS). Demography*, 1. Oxford : Eolss Publishers, 2010. P. 65–103.
6. *Van de Kaa D.J.* The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries. Paper presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security. Tokyo, Japan, 2002. 34 p.
7. *Lesthaeghe R.* The second demographic transition: A concise overview of its development // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2014. № 111 (51). P. 18112–18115.
8. *Ariès P.* Two successive motivations for the declining birth rate in the West // *Population and Development Review*. 1980. С. 645–650.
9. *Вишневецкий А.Г.* Место исторического знания в изучении прокреативного поведения в СССР // *Избранные демографические труды*. М., 2005. Т. 2. С. 257–296.
10. *Goldstein J.R., Sobotka T., Jasilioniene A.* The end of lowest-low fertility? // *Population and Development Review*. 2009. № 35(4). P. 663–700.
11. *Sobotka T., Beaujouan É.* Two is best? The persistence of a two-child family ideal in Europe // *Population and Development Review*. 2014. 40(3). P. 391–419.
12. *Инглхарт П., Вельцель К.* Модернизация, культурные изменения и демократия : Последовательность человеческого развития. М. : Новое изд-во, 2011. 464 с.
13. *Van de Kaa D.J.* Europe's second demographic transition // *Population Bulletin*. 42(1). The Population Reference Bureau. Washington, 1987. 57 p.
14. *Маслоу А.Г.* Мотивация и личность : пер. с англ. СПб. : Изд. дом «Питер», 2009.
15. *Van de Kaa D.J.* Anchored Narratives: The Story and Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Fertility // *Population Studies*. 1996. № 50. P. 389–432.

16. *Billari F.C., Liefbroer A.C.* Is the Second Demographic Transition a useful concept for demography? Introduction to a debate // Vienna yearbook of population research. 2004. № 2. P. 1–3.
17. *Livi Bacci M.* Comment: desired family size and the future course of fertility // Population and Development Review. 2001. № 27. P. 282–289.
18. *Coleman D.* Why we don't have to believe without doubting in the «Second Demographic Transition» – some agnostic comments // Vienna Yearbook of Population Research. 2004. № 2. P. 11–24.
19. *Caldwell J.C.* Three Fertility Compromises and Two Transitions // Population Research and Policy Review. 2008. № 27. P. 427–446.
20. *Вишневецкий А.Г.* Незавершенная демографическая модернизация в России // СПЕРО. 2009. № 10. С. 55–82.
21. *Van de Kaa D.J.* Is the Second Demographic Transition a useful research concept: Questions and answers // Vienna Yearbook of Population Research. 2004. № 2. P. 4–10.
22. *Lesthaeghe R.* The second demographic transition in Western countries: An interpretation // Gender and family change in industrialized countries. 1995. P. 17–62.
23. *Sobotka T.* The diverse faces of the second demographic transition in Europe // Demographic Research. 2008. 19(8). P. 171–224.
24. *Preston S.H.* Changing values and falling birth rates // Population and Development Review 12 (Supp.). 1986. P. 176–195.
25. *Reher D. S.* Family ties in Western Europe: persistent contrasts / Population and Development Review. 1998. P. 203–234.
26. *Coleman D.* Partnership in Europe; its Variety, Trends and Dissolution // Finnish Yearbook of Population Research. 2013. 48. P. 5–49.
27. *Lesthaeghe R.* The unfolding story of the second demographic transition // Population and Development Review. 2010. № 36 (2). P. 211–251.
28. *Mayer K.U.* The paradox of global social change and national path dependencies: life course patterns in advanced societies // A.E. Woodward and M. Kohli (eds.). Inclusions-Exclusions. London : Routledge, 2001. P. 89–110.
29. *Kuijsten A.C.* Changing family patterns in Europe: A case of divergence? // European Journal of Population. 1996. № 12 (2). P. 115–143.
30. *Boh K.* European Family Life Patterns – A Reappraisal // K. Boh et al. (eds). Changing Patterns of European Family Life: A Comparative Analysis of 14 European Countries, Routledge. London; New York, 1989. P. 265–298.
31. *Billari F.C.* Partnership, childbearing and parenting: trends of the 1990s. // M. Macura, A.L. MacDonald, W. Haug (Eds.). The New Demographic Regime. Population Challenges and Policy Responses. 2005. P. 63–94.
32. *Coleman D.A.* Immigration and ethnic change in low-fertility countries: A third demographic transition // Population and Development Review. 2006. № 32. P. 401–446.
33. *Lichter D.T.* Integration or fragmentation: Racial diversity and the American future // Demography. 2013. № 50. P. 359–391.

Tatiana B. Gudkova, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation).

E-mail: tbgudkova@hse.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 125–136.

DOI: 10.17223/1998863X/43/12

CONCEPTUALISATION OF THE SECOND DEMOGRAPHIC TRANSITION: HEURISTIC POTENTIAL AND LIMITATIONS OF THEORY

Keywords: demographic theory; first demographic transition; second demographic transition; matrimonial family behaviour; fertility; convergence; divergence; values.

The concept “Second Demographic Transition” (SDT) plays an important role in the discussion about the demographic future of Europe and draws the attention of many researchers to this transition. The SDT theory was initially formulated by Dirk van de Kaa and Ron Lesthaeghe in 1986. They found that, since the mid-1960s, in many countries of Europe there have been significant changes in fertility and family formation patterns. The emergence of this concept required an explanation of what should be understood as the First Demographic Transition (FDT), since until then such a concept did not exist. One of the topics of the article focuses on the comparison of SDT and FDT, in particular, on the background and factors of these two transitions. The framework of the SDT theory has evolved over time,

but its main points have remained unchanged. The theory suggests a connection between changes in reproductive and matrimonial behaviour, living arrangements and changes in values – “ideational shift”. The forms of marriage and family relations show a new dimension which hardly received attention in former times: the individual and independent choice of the partner, the equality of rights of partners, the importance of a lot of individual characteristics that match individual preferences, etc. The article deals with the idea, the phenomenon, causes and the extent of the universality of the second demographic transition. Despite the fact that the SDT concept is the mainstream conceptual framework of sub-replacement fertility and family changes, there is no consensus on its universality and sufficiency. The SDT theory suggests a hypothesis about the reduction of inter-ethnic heterogeneity in European countries through the “standard” sequence of demographic events. Moreover, the supporters of the theory emphasise the similarity in family formation and partnership behaviour in some industrialised countries of Asia, the Far East and Latin America, and predict the similar individual choice of living arrangements patterns. Can we find a convergence of marriage and partnership behaviour in different countries during SDT? Will SDT become a worldwide phenomenon (as the First “Classical” Demographic Transition) or will it remain “regionally diversified”? The article attempts to get closer to the answer to these main questions. The SDT theory has not only supporters but also opponents. In this regard, the article presents a critical review of the theory of the Second Demographic Transition.

References

1. Vance, R.B. (1952) Is theory for demographers? *Social Forces*. 31. pp. 9–13. DOI: 10.2307/2572565
2. Keyfitz, N. (1975) How do we know the facts of demography? *Population and Development Review*. 1(2). pp. 267–288.
3. Van de Kaa, D.J. (1991) Emerging Issues in Demographic Research for Contemporary Europe. *Population Studies*. 45(1). pp. 189–206. DOI: 10.1080/14774747.1991.11878502
4. Lakatos, I. (1995) *Fal'sifikatsiya i metodologiya nauchno-issledovatel'skikh program* [Falsification and methodology of research programs]. Translated from English. Moscow: Medium.
5. Van de Kaa, D.J. (2010) Demographic transitions. In: Zeng, Y. (ed.) *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)*. Oxford: Eolss Publishers. pp. 65–103.
6. Van de Kaa, D.J. (2002) *The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries*. Paper presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security. January 29, 2002. Tokyo, Japan.
7. Lesthaeghe, R. (2014) The second demographic transition: A concise overview of its development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 111(51). pp. 18112–18115. DOI: 10.1073/pnas.1420441111
8. Ariès, P. (1980) Two successive motivations for the declining birth rate in the West. *Population and Development Review*. 6(4). pp. 645–650.
9. Vishnevskiy, A.G. (2005) *Izbrannyye demograficheskiye trudy* [Selected Demographic Works]. Vol. 2. pp. 257–296.
10. Goldstein, J.R., Sobotka, T. & Jasilioniene, A. (2009) The end of lowest-low fertility? *Population and Development Review*. 35(4). pp. 663–700. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2009.00304.x
11. Sobotka, T. & Beaujouan, É. (2014) Two is best? The persistence of a two-child family ideal in Europe. *Population and Development Review*. 40(3). pp. 391–419. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2014.00691.x
12. Inglehart, R. & Welzel, K. (2011) *Modernizatsiya, kul'turnyye izmeneniya i demokratiya: Posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya* [Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence]. Moscow: Novoye izdatel'stvo.
13. Van de Kaa, D.J. (1987) Europe's second demographic transition. *Population Bulletin*. 42(1).
14. Maslow, A.G. (2009) *Motivatsiya i lichnost'* [Motivation and Personality]. Translated from English by T. Gurman, N. Mukhina. St. Petersburg: Piter.
15. Van de Kaa, D.J. (1996) Anchored Narratives: The Story and Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Fertility. *Population Studies*. 50. pp. 389–432. DOI: 10.1080/0032472031000149546
16. Billari, F.C. & Liefbroer, A.C. (2004) Is the Second Demographic Transition a useful concept for demography? Introduction to a debate. *Vienna Yearbook of Population Research*. 2. pp. 1–3. DOI: 10.1553/populationyearbook2004s1
17. Livi Bacci, M. (2001) Comment: desired family size and the future course of fertility. *Population and Development Review*. 27. pp. 282–289.

18. Coleman, D. (2004) Why we don't have to believe without doubting in the "Second Demographic Transition" – some agnostic comments. *Vienna Yearbook of Population Research*. 2. pp. 11–24.
19. Caldwell, J.C. (2008) Three Fertility Compromises and Two Transitions. *Population Research and Policy Review*. 27. pp. 427–446. DOI: 10.1007/s11113-008-9071-z
20. Vishnevskiy, A.G. (2009) Nezavershennaya demograficheskaya modernizatsiya v Rossii [Incomplete demographic modernization in Russia]. *SPEPO*. 10. pp. 55–82.
21. Van de Kaa, D.J. (2004) Is the Second Demographic Transition a useful research concept: Questions and answers. *Vienna Yearbook of Population Research*. 2. pp. 4–10. DOI: 10.1553/populationyearbook2004s4
22. Lesthaeghe, R. (1995) The second demographic transition in Western countries: An interpretation. In: Oppenheim Mason, K. & Jensen, A.M. (eds) *Gender and family change in industrialized countries*. Clarendon Press. pp. 17–62.
23. Sobotka, T. (2008) The diverse faces of the second demographic transition in Europe. *Demographic Research*. 19(8). pp. 171–224. DOI: 10.4054/DemRes.2008.19.8
24. Preston, S.H. (1986) Changing values and falling birth rates. *Population and Development Review*. 12 (Supp.). pp. 176–195.
25. Reher, D.S. (1998) Family ties in Western Europe: persistent contrasts. *Population and Development Review*. pp. 203–234. DOI: 10.2307/2807972
26. Coleman, D. (2013) Partnership in Europe; its Variety, Trends and Dissolution. *Finnish Yearbook of Population Research*. 48. pp. 5–49.
27. Lesthaeghe, R. (2010) The unfolding story of the second demographic transition. *Population and Development Review*. 36(2). pp. 211–251. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x
28. Mayer, K.U. (2001) The paradox of global social change and national path dependencies: life course patterns in advanced societies. In: Woodward, A.E. & Kohli, M. (eds) *Inclusions-Exclusions*. London: Routledge. pp. 89–110.
29. Kuijsten, A.C. (1996) Changing family patterns in Europe: A case of divergence? *European Journal of Population*. 12(2). pp. 115–143. DOI: 10.1007/BF01797080
30. Boh, K. (1989) European Family Life Patterns – A Reappraisal. In: Boh, K. et al. (eds) *Changing Patterns of European Family Life: A Comparative Analysis of 14 European Countries*. London; New York: Routledge. pp. 265–298.
31. Billari, F.C. (2005) Partnership, childbearing and parenting: trends of the 1990s. In: Macura, M., MacDonald, A.L. & Haug, W. (eds) *The New Demographic Regime. Population Challenges and Policy Responses*. United Nations. pp. 63–94.
32. Coleman, D.A. (2006) Immigration and ethnic change in low-fertility countries: A third demographic transition. *Population and Development Review*. 32. pp. 401–446. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2006.00131.x
33. Lichter, D.T. (2013) Integration or fragmentation: Racial diversity and the American future. *Demography*. 50. pp. 359–391. DOI: 10.1007/s13524-013-0197-1

УДК 316.1

DOI: 10.17223/1998863X/43/13

Е.С. Закутина

БОЛЬ: МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Показано, какие изменения претерпело отношение к боли в медицине: от сверхъестественных представлений к отказу в самостоятельной ценности, а затем – к осознанию комплексной природы феномена. Сделаны выводы о том, как на фоне таких изменений боль оказалась в фокусе социологического интереса и как формировались взгляды на такой объект исследования.

Ключевые слова: боль, социология боли, социология медицины, история медицины.

Медицинская история боли: поиск «разгадки»

На протяжении всей истории человечества боль была неотъемлемой частью жизни людей. Уже в древности осознавалась неразрывная связь между болью и человеческим страданием. При этом любая болезнь, равно как и исцеление, считались проявлением воли высших сил, а боль несла в себе некий скрытый смысл. Врач, спасающий человека от боли, был сродни шаману, выступая посредником между миром физическим и духовным, стараясь этот скрытый смысл разгадать и объяснить. В силу того, что наука не обладала достаточным потенциалом для того, чтобы определить природу боли, объяснение последней через некий мифологический контекст представлялось единственно возможной опцией. В Древнем Египте, Индии, Китае господствовали представления о том, что человек испытывает боль под воздействием неких внешних сил, проникновения злых духов в организм человека [1. С. 2]. А потому процесс лечения предполагал такие манипуляции, которые в буквальном смысле могли бы выгнать духов наружу: чихание, потение, рвота, испражнения, вскрытие тел. Применялись также разного рода заклинания, проводились ритуалы.

Важный сдвиг в понимании боли оказался связан с фигурой Гиппократом (460–377 гг. до н.э.), который вместе с учениками был нацелен на отказ от религиозных и мифических представлений о человеческом организме в пользу рациональных оснований медицинской практики. В этом заключался своего рода вызов многочисленным народным лекарям – всевозможным магам и шарлатанам, которые составляли на тот момент конкуренцию Гиппократу в его лечебной деятельности [2. Р. 9]. Понимание того, что боль может быть сенсорным опытом, впервые появилось у древних греков. При этом существовали различные взгляды относительно того, какая часть человеческого организма ответственна за «производство» боли. Так, Аристотель (384–322 гг. до н.э.) считал, что это сердце, а Платон (428–348 гг. до н.э.) считал мозг «болевым центром». Египтяне продвинулись ещё дальше, выявив связь между периферической и центральной нервной системой при возникновении боли – эти открытия приписываются египетским учёным Герофилу

(335–280 гг. до н.э.) и Эразистрату (ок. 300–240 гг. до н.э.). Спустя ещё 400 лет римский мыслитель Гален (129–199 гг. до н.э.), обнаружив работы египтян, значительно развил предложенную ими модель нервной системы. Он считал, что боль представляет собой ощущение и, как и другие ощущения, рождается в мозге. Таким образом, ко временам Римской империи был достигнут значительный прогресс в осмыслении боли как физиологического ощущения.

Несмотря на то, что развитие научных представлений во многом способствовало вытеснению сверхъестественных факторов из дискурса о боли, о полном устранении культурных смыслов боли говорить не приходится. Историк медицины Рихард Тёллнер пишет, что вплоть до второй половины XVII в. в европейской культуре боль считалась страданием души, связанным с несовершенством мира, а потому стойко ассоциировалась с фундаментальным злом, которое необходимо искоренить [3]. В английском языке слово *rain* является родственным латинскому слову *poena* – «наказание». Боль, грех, наказания – тесно связанные понятия по многим трудах, особенно религиозного толка, на протяжении многих веков [4. Р. 10]. В Средние века и во времена Ренессанса споры о природе боли продолжались. Попытки объяснить боль через какие-либо внешние силы становились всё менее популярными. Уильям Гарвей (1578–1657), известный благодаря открытию кровообращения, поддерживал идею Аристотеля о том, что именно болевое ощущение сконцентрировано в сердце, тогда как Рене Декарт (1596–1650) указывал на ведущую роль мозга в опыте боли. Вклад Декарта в понимание боли оказался значительным – его размышления о том, что существует специфическая болевая система, которая осуществляет передачу сообщений от болевых рецепторов на коже человека в его мозг [5. Р. 972], предопределили биомедицинское понимание боли на многие десятилетия вперёд. Но несмотря на теоретические открытия в этой области, значительных успехов в обезболивании не было достигнуто вплоть до XVIII в. [1. Р. 3].

Продвижения в теоретизировании боли, произошедшие в XVIII–XIX вв., были связаны с открытием анатомического деления спинного мозга на сенсорный и моторный отделы. Сформировались две основные теории о боли: теория специфичности и теория интенсивности. Первая, опиравшаяся на идеи Декарта, о которых было сказано выше, заняла доминирующие позиции, предопределив понимание боли как самостоятельного сенсорного феномена, для лечения которого необходимо изучить его анатомические основания. Отличительной чертой теории специфичности боли является тот факт, что боль в отсутствие диагностируемых физиологических нарушений не может иметь статус реальной. Иными словами, хронические боли, которые могут быть очень продолжительными, не будучи при этом сопровождаемыми какими-либо иными физиологическими симптомами, оказываются при таком подходе за рамками медицинского объяснения. «Реальной» же болью считается только та, которая возникает как непосредственный ответ на некое опасное воздействие на организм – этот физиологический механизм боли как ответной реакции на такое воздействие получил название ноцицепции, предложил которое английский физиолог Чарльз Скотт Шеррингтон [6]. Другая теория – теория интенсивности – представляла боль не как отдельное ощущение, а как следствие чрезмерной стимуляции других ощущений. Иными словами, со-

гласно данной теории боль мы чувствуем тогда, когда стимуляция сенсорной системы достигает критического уровня. Несмотря на существующие отличия, теории специфичности и интенсивности объединяет то, что в обеих боль рассматривается как ощущение, сенсорный опыт, возникающий в ответ на некий стимул. На идее о взаимосвязи между опытом боли и болевым стимулом базируется принятие одномерной, редукционистской модели боли: что она является либо физической, либо психогенной.

Именно в XIX в., на волне развития сенсорных теорий боли, начала формироваться система, которая позднее вылилась в «убийство боли», о котором столь критично напишет Иван Иллич [7]. В этот период в Париже, в одном из главных центров западной медицины, стала зарождаться так называемая анатомическая модель здоровья и болезни, в основе которой лежит «идеал механической объективности» [8. Р. 55]. Всё возрастающая рациональность и медиализация повседневной жизни вылились в создание «медицинской полиции», а любые врачебные манипуляции с телом превратились в процесс социального контроля [9]. Если до этого врачи придерживались более холистического подхода и жизненный мир больного обладал для них высокой значимостью, то с этого времени большее внимание начинают уделять конкретным повреждениям организма, не принимая во внимание прочие характеристики субъекта. Гольдберг отмечает, что проблема медицины состояла не в том, что страдания людей от боли оставались без внимания, а в том, что это внимание сместилось с субъективного переживания опыта боли на его конкретные материальные причины. В такой объективации боли он видит корень проблем, существующих сегодня в сфере менеджмента боли, поскольку боль всегда сопротивляется объективации, представляя сугубо уникальный опыт. Если перелом, вызывающий боль, можно увидеть на рентгеновском снимке, то саму боль нельзя. Ещё сложнее обстоит дело с хронической болью, поскольку в этом случае даже её причину нельзя зафиксировать объективными способами.

Современные клинические методы постановки диагноза опираются на эту традицию объективации, берущую начало в XIX в., при этом по мере развития медицинских технологий объективация боли лишь продолжает усиливаться: так, постановка диагноза возможна вовсе без обращения к жалобам пациента. Врачам нет необходимости полагаться на знание пациента о его собственном состоянии, поскольку они обладают техническими средствами для того, чтобы выйти на заболевание напрямую. Хотя уже и в XIX в., как пишет Розалин Рей, врачи использовали возможности клинко-патологического метода, чтобы «проводить независимые наблюдения, без учёта жалоб пациента» [10. Р. 99]. Подтверждением служат слова американского врача-невролога Уильяма Хэммонда, который в конце XIX в. писал, что жалобы пациента на боль можно считать иррелевантными, если они входят в противоречие с объективными клиническими показателями [11. Р. 35].

Иными словами, в XIX в. социальные, политические и культурные силы в совокупности способствовали тому, чтобы сформировался метод, который обещал его приверженцам выйти за рамки жалоб клиента и перейти к объективным данным человеческого тела. Укрепление традиции в обязательном порядке соотносить боль с некой объективно диагностируемой причиной имело весьма существенные социальные последствия. Так, антрополог Джин

Джексон пишет, что в обществе сложилась некая «моральная иерархия» боли: в тех случаях, когда можно обнаружить причину боли «в теле» человека с помощью объективных механических процедур, моральная ценность, приписываемая боли, оказывается выше, чем когда причины боли неочевидны [12]. В первом случае больной получает больше внимания со стороны окружающих и более адекватное лечение, а во втором, напротив, сталкивается с большим риском стигматизации.

Между тем по мере увеличения числа исследований, посвящённых вопросам боли, ближе к XX в. был сделан шаг к осознанию того, что боль не всегда следует рассматривать как сопутствующий фактор заболевания и травмы – она может иметь вполне самостоятельное значение, а отношения между опытом боли и болевым стимулом не всегда однозначны. Начала формироваться основа для развития отдельной медицинской дисциплины, посвящённой боли. Способствовали движению в этом направлении и исторические события: так, период между двумя мировыми войнами XX в. ознаменовался небывало большим количеством молодых людей, страдающих от разнообразных физических повреждений, полученных в результате военных действий. Зачастую попытки помочь страдающим людям оказывались безуспешными, в результате чего проблема хронической боли стала проявляться всё более выпукло. Это послужило почвой для исследований в области боли. Так, например, французский хирург Рене Лериш, основываясь на своём богатом опыте оперирования раненых солдат Первой мировой войны, выявил, что повреждение нервных окончаний в связи с какой-либо травмой может приводить к тому, что даже в ответ на привычное воздействие, которое обычно не вызывает неприятных ощущений, будет сопровождаться сильными болевыми ощущениями в будущем – таким образом, возникает боль патологическая, боль-болезнь [13. Р. 91]. Следовательно, боль следует рассматривать как вполне самостоятельный феномен, а не просто спутник какого-либо физического повреждения. Лериш писал, что медицина будет проигрывать в борьбе с болью до тех пор, пока будет направлена лишь на устранение её последствий, не уделяя должного внимания пониманию тех причин, которые лежат в её основе [14. Р. 22]. Уильям К. Ливингстон в 1930-х гг. работал с пациентами, получившими производственные травмы, и на основании своих наблюдений сделал предположение, что продолжительные сильные боли вызывают изменения в нервной системе органического характера, приводящие к состоянию хронических болей – он назвал это «порочным кругом» боли [15. Р. 1190].

Вторая мировая война вызвала новый всплеск исследовательского интереса к проблемам боли. В 1946 г. был открыт первый мультидисциплинарный центр боли, основателем которого стал американский врач Джон Боника. Уникальность его подхода состояла в привлечении целой команды врачей разных специальностей к лечению боли – в этом проявилось осознание сложной природы боли. В 1950-х гг. американский анестезиолог Генри К. Бичер, опираясь на опыт лечения гражданских пациентов и военных повреждений, пришёл к выводу, что боль возникает как комбинация физиологических ощущений и когнитивного и эмоционального компонентов, иными словами, подчеркнул важность «сознательного» элемента боли. Например, если для обычного человека боль несёт за собой нарушение привычного хода жизни,

страх серьёзного заболевания, то для солдата на полях сражений боль означает возможность покинуть место битвы, увеличенные шансы выжить – отсюда и объяснение тому факту, что наблюдаемые солдаты демонстрировали зачастую гораздо меньшую боль, чем гражданские со схожими или даже меньшими повреждениями.

Вплоть до 1965 г. продолжались поиски объяснительной теории боли, и важной вехой в этом движении стали исследования Роналда Мелзака и Дэвида Уолла. Благодаря научным разработкам этих учёных парадигма специфичности боли, берущая начало от Декарта, была изменена. Ученые разработали собственную теорию – теорию воротного контроля (*gate-control theory*), в которой подчёркивалась важность аффективного и оценочного компонента боли наряду с сенсорным [16. Р. 275]. Развивая эту теорию, они пришли к выводу, что восприятие боли человеком и реакция на неё во многом зависят от психологических (предыдущий опыт, внимание по отношению к боли, эмоции) и когнитивных факторов, а эти факторы определяются социокультурным воспитанием и опытом человека [5]. Распространение теории Мелзака и Уолла привело к пониманию того, что изучение боли требует мультидисциплинарного подхода.

В 1974 г. состоялся первый международный симпозиум, посвящённый проблеме боли. Первым президентом Международной ассоциации по изучению боли был упомянутый выше доктор Джон Дж. Боника, который предупредил представителей медицинской аудитории о существовании «огромных пробелов в понимании механизмов и физиопатологии боли» [17. Р. 7]. Новая веха в понимании боли связана с осознанием внутренней сложности этого феномена. Новый образ мышления о боли отражён в словах Аллана И. Басбаума: «Боль соотносится с соматическим импульсом точно так же, как красота с визуальным стимулом. Это очень субъективный опыт» [18. Р. 86]. Такое заявление можно считать манифестом революции в понимании и лечении боли.

В 1979 г. Международной ассоциацией по изучению боли было сформулировано определение боли, которое по сей день считается наиболее «авторитетным»: «...неприятное ощущение и эмоциональное переживание, вызванное реальным или потенциальным повреждением тканей или описываемое в терминах такого повреждения» [19]. Такое определение можно назвать прорывным, поскольку оно официально закрепило многогранный статус боли, открыв горизонт для изучения боли с разных углов. Основная особенность этого определения состоит в том, что оно подразумевает наличие субъективного компонента боли и допускает возможность боли без существования какой-либо физиологической причины для этого. Между тем не стоит считать определение боли, представленное Международной ассоциацией боли, истиной в последней инстанции: например, Линтон пишет, что к этому определению стоит добавить дополнительный аспект – она проявляется в поведении человека [20]. Экклстон и Кромбез указывают на то, что в данном определении не учитываются аффективно-нормативные аспекты боли: боль отвлекает внимание, вмешивается в поведение, побуждает к действию [21]. Но нельзя отрицать тот факт, что появление в медицинской сфере – которую принято считать источником редукционистского, механистического, однобокого подхода в изучении боли – такого определения,

включающего, во-первых, эмоциональный аспект, а во-вторых, признающего возможность существования боли в отсутствие объективно наблюдаемого её источника, служит маркером более пристального отношения к боли, которое нашло отражение в том числе и в социальных науках.

Изучение боли через социологические линзы: «разгадка» не нужна?

Итак, от пренебрежения болью медицинская наука со временем перешла к риторике борьбы с болью, победы над ней. В этом дискурсе боль приравнивается к некой загадке, которая может быть вот-вот решена, необходимо лишь собрать некоторые дополнительные сведения об этом феномене. По мере того как медицина наращивает возможности для решения загадки боли, социальные науки, обратив свой взор на этот феномен, ставят под вопрос саму возможность наличия «разгадки». Ещё не так давно вопросы боли вообще не попадали в поле зрения социологии, даже в таких специальных отраслях, как социология медицины. Идеи Декарта о том, что человек представляет собой объединение души и тела, способствовали не только развитию сенсорных теорий боли в медицине, но и устранению любых вопросов, связанных с телом человека, из области интересов социальных наук. Но начиная с середины XX в. социология рационального, «бестелесного» актора начинает терять доминирующие позиции [22. С. 116] под напором постмодернистской критики «гранд-нарративов» и феминистской критики патриархальных моделей [23. Р. 69]. По мере того как внимание социологов всё более привлекают такие темы, как социальные репрезентации, дискурс тела, социальная история тела, сложные взаимоотношения между телом, обществом и культурой, внимание к вопросам боли становится более пристальным. При этом боль оказывается той точкой консенсуса, в которой душа и тело проявляют неразрывную связь друг с другом. Рассматривать боль не как ощущение, а как опыт, т.е. ощущение, прошедшее сквозь призму культуры, – такую позицию предлагают занять в отношении боли представители социальных наук [24. Р. 11]. Понимание о многогранности феномена боли нашло отражение в определениях боли, предлагаемых исследователями, например: «физический опыт, который неотделим от своего когнитивного и эмоционального значения» [25. Р. 89]; «некая игра, которая в равной степени является как персонально и культурно обусловленной, так ментально и телесно, подобно акту любви» [26. Р. 1663]; «культурно определяемый физиологический и психологический опыт» [27. Р. 207]. Помещая боль в социальный контекст и рассматривая проявление боли в разнообразных ситуациях, исследователи приходят к выводу, что медико-физиологический подход явно недостаточен для описания опыта боли во всей его сложности и полноте.

В 1969 г. в свет выходит книга Марка Зборовски «Люди с болью» («People in Pain»), в которой автор показывает значение культуры и социализации в опыте боли [28]. Это важная веха в развитии социологического анализа боли: оказывается, говорить об этом феномене, ранее считавшемся исключительно физиологическим, можно и нужно в контексте социальном. По выражению Джона Энканделы [29], Зборовски стал флагманом социологического анализа опыта боли, а предвосхитила его работу книга Ирвина Гоффмана «Богадельни: Эссе о социальном положении душевнобольных пациентов и

прочих обитателей» [30], которую можно считать прорывной с точки зрения социологического исследования феноменов, изучение которых ранее считалось прерогативой медицины. Впоследствии работа Зборовски вызвала достаточно много критики с указанием на то, что «его подход к культурному анализу не в состоянии рассмотреть боль как жизненный мир отдельных лиц в контексте местного социума и исторической эпохи» [31. Р. 2], но нельзя умалять её новаторское значение в рассмотрении боли как социально обусловленного феномена.

Лейтмотивом социологических (равно как и философских, и культурологических) исследований боли становится некий протест против медикализации боли, стремление сохранить холистическую модель лечения человека. Рассматривая боль не просто как физиологическое ощущение, но как многогранный опыт, они стремятся закрепить субъективный характер боли, позволяя приблизиться к облегчению существования людей, для которых достижения медицины не становятся гарантом избавления от страданий. И даже если смириться с тем, что медицинский диагноз служит основой, на которой базируется интерпретация боли, и именно он определяет её значение [32. Р. 34], отстаивается возможность «подключения» социально обусловленного измерения. При этом наполнение этого измерения может быть самым различным – от социокультурных особенностей воспитания человека, как у Зборовски, до гендерных аспектов [16. Р. 289], социальной ситуации, в которой возникает боль и которую она может переопределять [33. Р. 87], и особенностей болевого поведения [34; 35. Р. 92–94]. В качестве объединяющего элемента для различных подходов к рассмотрению боли можно назвать то, что они выступают против исключения боли из жизни, против сведения её исключительно к нарушению работы организма, которое можно легко исправить с помощью подходящей таблетки, не оставив места для размышлений о значении боли.

Проследивая историю боли в научном контексте, можно отметить своеобразный парадокс. Так, в древние времена, когда медицина находилась в зачаточном состоянии, боль неизменно была вписана в некий культурный контекст, её нельзя было рассматривать в отрыве от личности страдальца, его жизни. Боли приписывалось мистическое значение, она служила сигналом о несовершенстве поступков, души, мира в целом. По мере того как развивался корпус медицинских знаний, совершенствовались медицинские технологии, появлялись всё новые способы купирования боли, субъективный аспект уходил на задний план, а внимание всё больше переключалось на объективность материального строения человеческого организма. На этом принципе механической объективности на протяжении долгих лет выстраивались отношения общества с болью. На рубеже XX и XXI столетий встаёт вопрос о том, чтобы снова вернуть субъективность, уникальность человеческого Я и неповторимость социального контекста в разговор о боли. Интересно, что именно благодаря достижению условной пиковой точки в объективации боли и дегуманизации медицинского процесса представители социальных наук обратили внимание на вопросы боли. Впрочем, изменения в отношении боли, произошедшие и в самой медицине, о которых было сказано выше, отказ от дуалистических представлений, появление новых моделей в рассмотрении боли, прежде всего биопсихосоциальной ([36–38] и др.), также создают бла-

гоприятный контекст для развития более комплексного понимания боли в социальных науках.

Едва ли основная задача социологии состоит в том, чтобы описать загадку боли и предложить свою «разгадку». Однако, помещая боль в социальный контекст и рассматривая такие вопросы, как влияние социальной ситуации на выражение и восприятие боли, межкультурные различия в проявлении боли, особенности коммуникации врачей и пациентов по поводу боли, социология показывает ограниченность биомедицинской модели данного феномена и приглашает к мультидисциплинарному взаимодействию.

Литература

1. *Schwartz D.P., Parris W.C.V.* Historical Perspectives on Pain Management // Contemporary Issues in Chronic Pain Management / ed. by W.C.V. Parris. Nashville: Springer Science & Business Media, 2012. P. 1–9.
2. *Scheper-Hughes N., Lock M.M.* The mindful body: A prolegomenon to future work in medical anthropology // Medical Anthropology Quarterly. 1987. P. 6–41.
3. *Toellner R.* Die Umbewertung des Schmerzes im 17. Jahrhundert in ihren Voraussetzungen und Folgen // Medizinhistorisches Journal. 1971. Т. 6, № 1. P. 36–44.
4. *Tsui S.L., Chen P.P., Ng K.F.J.* (ed.). Pain Medicine: A Multidisciplinary Approach. Vol. 1. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010. 648 p.
5. *Melzack R., Wall P.D.* Pain mechanisms: a new theory // SCIENCE. 1965. 150 (3699). P. 971–978.
6. *Sherrington C.* The Integrative Action of the Nervous System. Oxford : Oxford University Press. 1906. 412 p.
7. *Ilich I.* Medical nemesis. New York : Pantheon Books, 1976. 201 p.
8. *Goldberg D.S.* The Bioethics of Pain Management: Beyond Opioids. New York : Routledge, 2014. 164 p.
9. *Foucault M.* Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977 / ed. by C. Gordon. New York : Pantheon, 1980. 270 p.
10. *Rey R.* The History of Pain. London : Harvard University Press, 1995. 408 p.
11. *Hammond W.A.* On Certain Conditions of Nervous Derangement. New York : G.P. Putnam's Sons, 1881. 256 p.
12. *Jackson J.E.* Stigma, liminality, and chronic pain: Mind–body borderlands // American Ethnologist. 2005. № 32 (3). P. 332–353.
13. *Boddice R.G.* Pain and emotion in modern history. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. 284 p.
14. *Giordano J.* (ed.). Maldynia: Multidisciplinary Perspectives on the Illness of Chronic Pain. Boca Raton : CRC Press, 2016. 280 p.
15. *Albrecht G., Sharon L. S.* (ed). Encyclopedia of disability. Vol. 5. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005.
16. *Bendelow G.* Pain perceptions, emotions and gender // Sociology of Health & Illness. 1993. 15 (3). P. 273–294.
17. *Bonica J.J.* Advances in Neurology. New York: Raven Press, 1974. 850 p.
18. *Basbaum A.I.* Unlocking the Secrets of Pain: The Science // 1988 Medical and Health Annual. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1988. P. 84–103.
19. *IASP* Таксономия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iasp-pain.org/Taxonomy> (дата обращения: 15.12.2017).
20. *Linton S.J.* Understanding pain for better clinical practice // Pain Research and Clinical Management Series. Vol. 16. Amsterdam : Elsevier, 2005. 180 p.
21. *Eccleston C., Crombez G.* Pain demands attention: a cognitive-affective model of the interruptive function of pain // Psychological Bulletin. 1999. № 125. P. 356–366.
22. *Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.П.* Социология тела и социальной политики // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. № 7 (2). С. 115–137.
23. *Turner B.S.* Regulating Bodies: Essays in Medical Sociology. London : Routledge, 2002. 290 p.
24. *Porter R.* Oh, My Aching Back // London Review of Books. 1995. № 17 (21). P. 9–11.
25. *Bendelow G., Williams S.* Pain and the mind-body dualism: a sociological approach // Body & Society. 1995. № 1 (2). P. 83–103.

26. Kugelmann R. Complaining about chronic pain // *Social Science & Medicine*. 1999. № 49 (12). P. 1663–1676.
27. Callister L.C. Cultural influences on pain perceptions and behaviors // *Home Health Care Management & Practice*. 2003. № 15 (3). P. 207–211.
28. Zborowski M. *People in pain*. San Francisco : Jossey-Bass, 1969. 274 p.
29. Encandela J.A. Social science and the study of pain since Zborowski: a need for a new agenda // *Social Science & Medicine*. 1993. № 36 (6). P. 783–791.
30. Goffman E. *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York : Anchor Books / Doubleday, 1961. 1st ed. 386 p.
31. Kleinmann A., Brodwyn P.E., Good B.J. et al. Pain as human experience: An introduction // Delvecchio Good M., Brodwyn P.E., Good B.J., Kleinmann A., eds. *Pain as Human Experience: An Anthropological Perspective*. Berkeley : University of California Press, 1992. P. 1–14.
32. Morris D.B. *The Culture of Pain*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991. 354 p.
33. Davis B.D. *Caring for People in Pain*. New York : Routledge, 2002. 268 p.
34. Lascaratou C. *The Language of Pain: Expression Or Description?* Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2007. 264 p.
35. Wittgenstein L. *Philosophical Investigations*. Chichester : Wiley-Blackwell, 2010. 592 c.
36. Engel G.L. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine // *Science*. 1977. № 196. P. 129–136.
37. Flor H., Hermann C. Biopsychosocial models of pain // Dworkin R.H., Breitbart W., eds. *Psychosocial aspects of pain: a handbook for healthcare providers*. Progress in Pain Research and Management. Vol. 27. Seattle: IASP Press, 2004. P. 47–75.
38. Turk D.C., Flor H. Chronic Pain: A behavioral perspective // Gatchel K.J., Turk D.C., eds. *Psychosocial Factors in Pain: Critical Perspectives*. New York : Guilford Press, 1999. P. 18–34.

Evgeniya S. Zakutina, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation).

E-mail: es.podstreshnaya@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 137–147.

DOI: 10.17223/1998863X/43/13

PAIN: MEDICAL HISTORY AND PREMISES OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Keywords: pain; sociology of pain; sociology of medicine; history of medicine.

For a long time, pain, like other issues related to the corporeality of a person, was beyond the sphere of sociological interest. Since the second half of the 20th century, the situation has been changing, and the established models of the “disembodied” actor have been gradually denied. It is still too early to claim that sociology of pain is an established domain of research, but Mark Zborowski’s *People in Pain* (1969) made a substantive contribution into studying pain as a complex phenomenon embracing physiological as well as psychological, cognitive and social aspects. Despite the methodological and conceptual differences, sociological approaches to the study of pain share a common feature that is a protest against the reductionist, unidimensional approach to pain that obtained a dominant position in the scientific discourse due to medical influence. Sociologists highlight that pain is always subjective, while medical representatives, being the main source of a “valid” knowledge of pain, are inclined to leave this subjectivity beyond their analysis. The article examines how the attitude towards pain in medicine has changed with time in order to understand what the prerequisites for the appearance of pain issues in the focus of sociological analysis were. The achievements of medicine promoted the transition from treating pain as an independent entity, conceptualised in terms of the mythological, the supernatural, to considering it only as a concomitant sign of physiological damage, without any independent value. The development of medical technologies has made it possible to proceed to such methods of diagnosing, in which patient’s complaints become irrelevant, and it is possible to reach the disease “directly” without resorting to subjective factors. This reduction of personality to an organism as a mechanism that went out of order caused a certain protest from sociologists and promoted the increased interest in studying such issues. Meanwhile, at the moment in medical science too there have been significant shifts in the study of pain: first, it regained its independent status, which was reflected in the formation of a specific domain of pain studies and the creation of a specialised international association, and, second, an evidence base was accumulated that confirms that the relationship between the pain stimulus and pain as such is far from unambiguous and depends on many factors, including social ones.

References

1. Schwartz, D.P. & Parris, W.C.V. (2012) Historical Perspectives on Pain Management. In: Parris, W.C.V. (ed.) *Contemporary Issues in Chronic Pain Management*. Nashville: Springer Science & Business Media. pp. 1–9.
2. Scheper-Hughes, N. & Lock, M.M. (1987) The mindful body: A prolegomenon to future work in medical anthropology. *Medical Anthropology Quarterly*. 1(1). pp. 6–41. DOI: 10.1525/maq.1987.1.1.02a00020
3. Toellner, R. (1971) Die Umbewertung des Schmerzes im 17. Jahrhundert in ihren Voraussetzungen und Folgen [The reevaluation of pain in the 17th century in its premises and consequences]. *Medizinhistorisches Journal*. 6(1). pp. 36–44.
4. Tsui, S.L., Chen, P.P. & Ng, K.F.J. (eds) *Pain Medicine: A Multidisciplinary Approach*. Vol. 1. Hong Kong: Hong Kong University Press.
5. Melzack, R. & Wall, P.D. (1965) Pain mechanisms: a new theory. *SCIENCE*. 150(3699). pp. 971–978. DOI: 10.1126/science.150.3699.971
6. Sherrington, C. (1906) *The Integrative Action of the Nervous System*. Oxford: Oxford University Press.
7. Illich, I. (1976) *Medical Nemesis*. New York: Pantheon Books.
8. Goldberg, D.S. (2014) *The Bioethics of Pain Management: Beyond Opioids*. New York: Routledge.
9. Foucault, M. (1980) *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. New York: Pantheon.
10. Rey, R. (1995) *The History of Pain*. London: Harvard University Press.
11. Hammond, W.A. (1881) *On Certain Conditions of Nervous Derangement*. New York: G.P. Putnam's Sons.
12. Jackson, J.E. (2005) Stigma, liminality, and chronic pain: Mind–body borderlands. *American Ethnologist*. 32(3). pp. 332–353.
13. Boddice, R.G. (2014) *Pain and emotion in modern history*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
14. Giordano, J. (ed.) (2016) *Maldynia: Multidisciplinary Perspectives on the Illness of Chronic Pain*. Boca Raton: CRC Press.
15. Albrecht, G. & Sharon, L.S. (eds) *Encyclopedia of Disability*. Vol. 5. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
16. Bendelow, G. (1993) Pain perceptions, emotions and gender. *Sociology of Health & Illness*. 15(3). pp. 273–294. DOI: 10.1111/1467-9566.ep10490526
17. Bonica, J.J. (1974) *Advances in Neurology*. New York: Raven Press.
18. Basbaum, A.I. (1988) Unlocking the Secrets of Pain: The Science. In: Bernstein, E. (ed.) *1988 Medical and Health Annual*. Chicago: Encyclopaedia Britannica. pp. 84–103.
19. IASP. (n.d.) *IASP Taxonomy*. [Online] Available from: <http://www.iasp-pain.org/Taxonomy>. (Accessed: 15th December 2017).
20. Linton, S.J. (2005) *Understanding Pain For Better Clinical Practice*. Amsterdam: Elsevier.
21. Eccleston, C. & Crombez, G. (1999) Pain demands attention: a cognitive-affective model of the interruptive function of pain. *Psychological Bulletin*. 125. pp. 356–366. DOI: 10.1016/S0304-3959(97)00010-9
22. Romanov, P.V. & Yarskaya-Smirnova, Ye.R. (2004) Sotsiologiya tela i sotsial'noy politiki [Sociology of the body and social policy]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – The Journal of Sociology and Social Anthropology*. 7(2). pp. 115–137.
23. Turner, B.S. (2002) *Regulating Bodies: Essays in Medical Sociology*. London: Routledge.
24. Porter, R. (1995) Oh, My Aching Back. *London Review of Books*. 17(21). pp. 9–11. DOI: 10.1148/rg.2016150194
25. Bendelow, G. & Williams, S. (1995) Pain and the mind-body dualism: a sociological approach. *Body & Society*. 1(2). pp. 83–103. DOI: 10.1177/1357034X95001002004
26. Kugelmann, R. (1999) Complaining about chronic pain. *Social Science & Medicine*. 49(12). pp. 1663–1676.
27. Callister, L.C. (2003) Cultural influences on pain perceptions and behaviours. *Home Health Care Management & Practice*. 15(3). pp. 207–211. DOI: 10.1177/1084822302250687
28. Zborowski, M. (1969) *People in Pain*. San Francisco: Jossey-Bass.
29. Encandela, J.A. (1993) Social science and the study of pain since Zborowski: a need for a new agenda. *Social Science & Medicine*. 36(6). pp. 783–791. DOI: 10.1016/0277-9536(93)90039-7

-
30. Goffman, E. (1961) *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. 1st ed. New York: Anchor Books.
 31. Kleinmann, A., Brodwyn, P.E., Good, B.J. et al. (1992) Pain as human experience: An introduction. In: Delvecchio Good, M., Brodwyn, P.E., Good, B.J. & Kleinmann, A. (eds) *Pain as Human Experience: An Anthropological Perspective*. Berkeley: University of California Press. pp. 1–14.
 32. Morris, D.B. (1991) *The Culture of Pain*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press.
 33. Davis, B.D. (2002) *Caring for People in Pain*. New York: Routledge.
 34. Lascaratou, C. (2007) *The Language of Pain: Expression Or Description?* Amsterdam: John Benjamins Publishing.
 35. Wittgenstein, L. (2010) *Philosophical Investigations*. Chichester: Wiley-Blackwell.
 36. Engel, G.L. (1977) The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*. 196. pp. 129–136. DOI: 10.1126/science.847460
 37. Flor, H. & Hermann, C. (2004) Biopsychosocial models of pain. In: Dworkin, R.H. & Breitbart, W. (eds) *Psychosocial aspects of pain: a handbook for healthcare providers. Progress in Pain Research and Management*. Vol. 27. Seattle: IASP Press. pp. 47–75.
 38. Turk, D.C. & Flor, H. (1999) Chronic Pain: A behavioral perspective. In: Gatchel, K.J. & Turk, D.C. (eds) *Psychosocial Factors in Pain: Critical Perspectives*. New York: Guilford Press. pp. 18–34.

УДК 316.4

DOI: 10.17223/1998863X/43/14

Ю.А. Зубок, В.И. Чупров

РИСКОГЕННОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ

Риски становятся социальными, аккумулируются в ходе конструирования людьми собственной социальной реальности и конкретизируются в представлениях о ней, влияя на восприятие не только внешней среды, но и своей жизни. Анализ связи проводился на основе данных экспертного и массового опросов в регионах с максимальным и минимальным уровнем экологических и техногенных рисков, оказывающих влияние на социокультурный субсредовой локус. Отмеченные экспертами угрозы – разрушение исторических и культурных объектов, исторически сложившейся культурной инфраструктуры и базовых оснований национального самосознания – по-разному рефлексируются населением.

Ключевые слова: культурная среда обитания, угрозы, риск, социальные настроения.

1. Рискогенность социокультурной среды

Современная цивилизация, ставшая, по выражению Д. Белла, первым мирным средством приумножения собственных богатств, внесла множество противоречий в жизнедеятельность людей. Во всем разнообразии они проявляются там, где достижение комфорта сопровождается существенными трансформациями среды обитания, где свобода, дарованная новыми технологиями, входит в противоречие с амбивалентностью их влияния на среду обитания, где взаимодействие техники и человека в единой системе грозит отчуждением людей и их вытеснением из привычных ниш, где формирование новых рационально-технологических принципов взаимодействий входит в противоречие с этическими представлениями, а возможности регулирования противоречий и компетентностный уровень людей не успевают за интенсивностью изменений.

Подобные противоречия становятся объективной базой эскалации неопределенности и расширения пространства рисков в социальной среде обитания различных социальных групп. Внедряясь во все без исключения сферы – техническую, природную, информационную, социокультурную, они становятся частью повседневной жизни людей в среде обитания. Вследствие взаимодействия с рискогенной средой изменения происходят в сознании, эмоциональном состоянии и поведении людей. А риски становятся *социальными*. Они аккумулируются в ходе конструирования людьми собственной социальной реальности и конкретизируются в представлениях о ней, влияя на восприятие не только внешней среды, но и себя. В результате риск как объективная характеристика социальной действительности сопровождается формированием субъективного образа социальной реальности как рискогенной, отличающейся высоким потенциалом репродуцирования средового и деятельностного риска.

В какой бы части среды обитания ни концентрировался рискогенный потенциал, для человека нарушение в любом из субсредовых локусов сопряжено с большей или меньшей дестабилизацией жизни. А степень влияния техногенных или информационных угроз ничуть не уступает по силе рискогенного воздействия изменениям в сфере культуры, т.е. в так называемом социокультурном локусе.

Он охватывает все пространство культуры как совокупности достижений материального и духовного мира, артефактов, идей и смыслов, ценностно-нормативных образцов, способов организации и регулирования жизнедеятельности. Различные объекты и явления традиционной и современной культуры, с которыми молодые люди сталкиваются в повседневной жизни, отражаются в их сознании в ценностной форме, приобретая статус культурного наследия. Благодаря их аккумуляции в рамках социокультурного локуса и трансляции в специфических формах памяти уравниваются два темпоральных состояния – меняющейся современности и прошлого [1. С. 38; 2]. В этом своем проявлении социокультурный локус является неотъемлемой частью механизма социальной интеграции и средством связи прошлого и настоящего в среде обитания, обеспечивая ее целостность. Одновременно с этим культура наполняет взаимодействия людей в среде их обитания жизненными смыслами и определяет на индивидуальном, групповом и общественном уровнях отношение друг к другу, к природе, самому культурному наследию, его сущности и социальной значимости.

Современное состояние социокультурного субсредового локуса характеризуется изменениями в различных его аспектах, последствия которых молодыми людьми могут восприниматься как рискогенные, а могут таким статусом не наделяться. При этом изменения в области материальных ценностей (историко-культурные и природные ландшафты, архитектура и т.п.) могут связываться с одними видами риска, а нематериальных (элементы сознания, нормы, ценности, образцы поведения) – с другими. По-разному могут интерпретироваться и факторы рискогенных изменений.

Существующие экспертные исследования показывают, что риски, связанные с разрушением материальной части социокультурного локуса, обусловлены и естественными (природными), и антропогенными факторами. Если в первом случае ущерб причиняется климатическими условиями региона (уровнем влажности, температурным режимом и т.д.) и прочими природными катаклизмами (подтоплениями, биопоражениями, оползнями и т.п.), то во втором потери спровоцированы действиями людей – от прямого разрушения до опосредованного наступления техногенных структур на привычное социокультурное окружение [3].

С одной стороны, ущерб культурно-историческим памятникам и памятникам ландшафтной архитектуры может быть нанесен химически агрессивной средой, загрязнением воздуха, вибрацией от тяжелой техники и колебаниями почвы. С другой – расширением земельных угодий, применяемых для хозяйственных целей, наращиванием культурного слоя, особенно в городской среде, нарушением температурного режима, что приводит к ослаблению фундамента и стен построек с последующим искажением их внешнего вида и разрушением.

Недостатки и несоблюдение правового обеспечения охраны памятников, неэффективная работа государственных структур по контролю над их сохранением и использованием открывают возможности для несанкционированного строительства, отсутствия регламента застройки, передачи вместе с землей находящихся на ней памятников приводит к массовой гибели объектов культурно-исторического наследия в стране.

Коммерческое строительство, распродажа земель в охранных зонах, демонтаж исторических зданий с целью выгодного использования материалов, поджоги на коммерчески привлекательных территориях и освобождение земель под новое строительство признаны едва ли не главными причинами утраты памятников. Одновременно отсутствие научного и профессионального подходов к реставрации, подмена ремонтно-реставрационных работ коренной перестройкой, достраиванием и перепланировкой объектов культуры, замена исторических комплексов копиями также являются фактором массового сокращения подлинных памятников истории и культуры [3], внося свою лепту в разрушение материальной части социокультурного субсредового локуса.

Культурный нигилизм и утилитарный подход в отношении к памятникам культуры, вульгарная рационализация в оценке их значимости, коррумпированность местной власти и слабость общественного контроля, подмена исторической ценности коммерческой, неоправданное обновление и перестраивание, превращение культурных памятников в средство извлечения прибыли и предмет формального знаково-символического обмена фатально отражаются на деформации культурной среды обитания на всей территории РФ. В ряде случаев одновременно проявляются все факторы риска.

Риски, характерные для материальной части культурного субсредового локуса, возникают на фоне фундаментальных трансформаций другой его составляющей, относящейся к сфере нематериальных культурных ценностей. Рискогенность среды обитания в этом аспекте связана с переформатированием смысложизненных ориентиров и механизмов взаимодействия людей друг с другом и с окружающей средой, а также способов их саморегуляции. Культурные нормы теряют однозначность и всеобщий характер, не гарантируя предсказуемость взаимодействий в среде обитания. Пространство культуры наполняется множеством автономных самоорганизующихся акторов, создающих новые смыслы и конструирующих на их основе новую культурную реальность. Смешиваясь с традиционными, они со временем становятся частью культурного наследия. Сам процесс переформатирования аксиологических структур представляет собой конкуренцию противоречивых смыслов, когда общество, выстраивая новую смысловую матрицу, переживает драматичный этап апробации новых образцов, сопряженный с утратой «онтологической безопасности» (Э. Гидденс) как необходимого чувства уверенности в преэминентности и постоянстве окружающего мира [4. С. 60].

Нарушение преэминентности и постоянства возникает во всех случаях, когда изменяется привычная среда обитания в ее материальной и нематериальной части. Снижение уровня безопасности приводит к повышению рискогенности социокультурного средового локуса в целом. И хотя в зависимости от «доминантного тезауруса» (В.А. Луков) рискогенными могут признаваться прямо противоположные процессы, когда для одних угрозой является утрата

традиционных смыслообразующих начал, а для других, напротив, их сохранение и реставрация. Между тем всякой социокультурной системе свойственно стремление и к изменению, и к самосохранению, и в противоречии между этими крайними тенденциями формируются конкретные модели развития. При этом воспроизводство традиционных элементов культуры является предметом заботы не только в связи с сохранением исторической и культурной уникальности, но и как один из элементов механизма постепенных преобразований, не отягощенных состоянием полной социальной неопределенности.

Поэтому рискогенность социокультурной среды обитания связывается с угрозами разрушения исторически сложившейся культурной инфраструктуры, с одной стороны, и базовых оснований национального самосознания – с другой. В культурной инфраструктуре возникают средовые риски, связанные с сохранением и воспроизводством материальной составляющей социокультурного локуса – исторических и культурных объектов, относящихся к культурному наследию. К средовым рискам относится разрушение исторических и культурных объектов под влиянием климатических, природных, техногенных факторов, а также деятельности самого человека – проявления вандализма, несанкционированный снос памятников, халатное отношение к их сохранению.

В нематериальной составляющей социокультурного локуса референтами риска выступили утрата исторической памяти; изменение или распад культурных традиций, деформация оснований культурной идентичности; разрушение этических норм; нарушения прав и свобод на основе национальных и религиозных различий, проявления дискриминации; возникновение неформальных объединений контркультурной направленности.

Каждый из показателей по-своему отражается в настроениях молодых людей, живущих на определенной территории.

2. Состояние социокультурного субсредового локуса

В 2016 г. число памятников истории и культуры, зарегистрированных в едином Госреестре, составило 79 628 объектов, что на 44% превышало показатели 2015 г. (35 547 памятников) [5. С. 51]. В 2012–2016 гг. отмечалась в целом возрастающая динамика расходов из консолидированного бюджета Российской Федерации на культуру [6. С. 60]. Расходы государственных внебюджетных фондов выросли на 24,3%. В то же время доля указанных расходов в структуре ВВП за последние годы снизилась, составив в 2016 г. 0,49% ВВП. Только за период 2014–2015 гг. расходы в номинальном выражении уменьшились на 8,1 процента. А объем выделенных финансовых средств за последние 3 года (2014–2016 гг.) сократился с 97,8 млрд рублей в 2014 г. до 87,3 млрд рублей в 2016 г., т.е. на 0,1% ВВП. Нестабильное финансовое положение в сфере культуры сопровождается множественными нарушениями в организации функционирования и использования культурных объектов. Отсутствие финансирования, устойчивая практика нарушений и недостатки охранной деятельности усугубляют ущерб, наносимый культурному наследию природными и техногенными факторами. Как следствие, среди памятников, стоящих на государственной охране, в хорошем состоянии находились в 2012, 2013 и 2015 гг. соответственно 15, 14 и 14,27%. В удовлетворитель-

ном – 61, 58 и 57,06%. В неудовлетворительном – 18, 19 и 20,7%. В аварийном – 4, 6 и 5,88%. В руинированном – 2, 3 и 2,09% [6]. Не сложно заметить ухудшение состояния памятников культуры в стране, среди которых почти каждый третий находится в критическом состоянии.

Для более детального анализа рискогенности социокультурного субсредового локуса были взяты регионы, выделенные ВНИИ ГОЧС МЧС России¹ на основе данных об уровне экологического и техногенного риска. С помощью ранжирования субъектов РФ по критериям «уровень техногенной безопасности» и «уровень экологической безопасности» было отобрано 10 регионов с максимальным и минимальным уровнем экологических и техногенных рисков: Костромская, Саратовская, Брянская, Кировская, Тверская, Нижегородская, Амурская области; Краснодарский край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика².

По статистическим показателям развития культуры в этих регионах (доли расходов на культуру в консолидированном бюджете субъектов РФ, расходов в расчете на душу населения, степень сохранности и разрушения памятников) наименее благоприятным положением дел отмечаются Костромская, Тверская, Брянская, Нижегородская и Кировская области. По показателю аварийности и руинированности объектов названные области относятся к регионам с максимальным уровнем угроз социокультурной безопасности. Показатель доли расходов на культуру в консолидированном бюджете регионов варьируется в диапазоне от 3,79% в Тверской области до 1,98% в Карачаево-Черкесской Республике. В них прослеживается связь доли расходов на культуру с состоянием памятников. Однако в других регионах, в том числе с максимальным уровнем угроз, такая связь отсутствует, притом что выделенных средств не хватает на поддержание объектов культуры в должном состоянии. Очевидно, не только недостаток финансирования, но и характер распределения средств являются факторами рискогенности социокультурной среды обитания.

Оценка угроз безопасности проводилась на основании экспертного опроса по следующим показателям: разрушение исторических и культурных объектов в регионе; проявление вандализма, надругательства над историческими памятниками; несанкционированный снос памятников; утрата исторической памяти в различных группах населения; изменения или утрата культурных традиций; кризис культурной идентичности в различных группах населения; разрушение культурных оснований национально-этнической и религиозной идентичности населения; разрушение нравственных ценностей и моральных норм среди населения; проявление дискриминации, нарушение прав и свобод граждан на основе национальных и религиозных различий; возникновение

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

² В каждом регионе был проведен экспертный и массовый опрос. В состав экспертов входили профильные специалисты отраслевых организаций, административные работники и государственные служащие, сотрудники профильных кафедр высших учебных заведений и НИИ, специалисты общественных организаций. Всего в опросе участвовало 120 экспертов. Экспертиза проводилась путем независимой оценки экспертами природных, техногенных, информационных, социокультурных угроз для населения регионов и экспертного заключения о путях их минимизации как факторов социальных рисков. Опрос населения проводился по репрезентативной выборке в 59 населенных пунктах 10 субъектов Российской Федерации среди жителей старше 18 лет методом личного интервью по месту жительства. Всего опрошено 3400 человек.

неформальных объединений контркультурной направленности. Для сравнительного анализа угроз используем индекс вероятности возникновения угроз (ИВВУ)¹. В результате ранжирования полученных экспертных оценок на первые три места вышли угрозы разрушения базовых оснований национального самосознания населения регионов – нравственных ценностей и моральных норм (ИВВУ = 41,5), исторической памяти (27,7), культурных традиций (обычаев, нравов, обрядов, ритуалов) (21,6). А на четвертое и пятое места – угрозы разрушения исторически сложившейся культурной инфраструктуры: соответственно разрушения исторических и культурных объектов (ИВВУ = 17,4), проявления вандализма, надругательства над историческими памятниками (ИВВУ = 5). Отрицательные значения индексов соответствуют низкой вероятности возникновения угроз.

Сравнение полученных данные с аналогичными показателями в регионах с максимальным уровнем угроз (в Костромской, Тверской, Брянской, Нижегородской и Кировской областях) показывает, что в этих регионах значимость угроз отличается. Доминирующей угрозой эксперты сочли возможное разрушение исторических и культурных объектов (ИВВУ = 60), отметив критическое состояние исторически сложившейся культурной инфраструктуры в этих регионах, а также угрозы разрушения базовых оснований национального самосознания.

Для анализа рискогенности социокультурной среды имеет значение степень рефлексии угроз в различных группах населения. На основе результатов социологического исследования рассмотрим возрастные различия в отношении к существующим угрозам среди молодежи в возрасте до 30 лет и в старших возрастных группах.

Данные показывают, что в среднем каждый третий респондент в возрасте 18–24 лет (28,1%) и 25–29 лет (29,4%), а также старше 30 лет (33%) видит угрозы в социокультурной среде своего региона. Хотя в целом доля респондентов, не замечающих такие угрозы, превышает половину от общего числа опрошенных, нельзя не отметить достаточно высокий уровень рискогенности в социокультурной среде обитания россиян. При этом оценки угроз в социокультурном локусе повышаются с возрастом респондентов. Особенно заметны различия в оценках вандализма, надругательства над историческими памятниками (30,5% среди молодежи в группе 18–24 лет, 34,3% в группе 25–29 лет и 37,2% среди населения старше 30 лет); утраты исторической памяти (соответственно 31,3; 31,8; 38,4%); изменения или утраты культурных традиций (39,5; 44,6; 47,8%); разрушения нравственных ценностей и моральных норм (43,9; 44,3; 53,3%).

Анализ поколенческой дифференциации оценок рассматриваемых угроз в регионах с максимальным их уровнем (в Костромской, Тверской, Брянской, Нижегородской и Кировской областях) показывает, что и молодежь, и представители старших возрастных групп адекватно оценивают критическое состояние культурных объектов в этих регионах, подтверждая выводы экспертов. В регионах с максимальным уровнем угроз население чувствительнее к

¹ «Индекс вероятности возникновения угроз» (ИВВУ) рассчитывается как разница между значениями распространенности угроз социокультурной безопасности (широко распространены и отдельные проявления) и значениями отсутствия угроз. При этом для значений отдельных проявлений вводится понижающий коэффициент 0,5.

угрозам разрушения исторических и культурных объектов (33,8 против 28,9% среди молодежи в группе 18–24 лет, 38 против 33,1% в группе 25–29 лет и 49,6% против 33,5% среди населения старше 30 лет), а также к угрозам несанкционированного сноса исторических памятников (соответственно 15,8 против 11%, 14 против 10,3%, 21 против 14,4%. Среди молодежи 25–29 лет возрастает значимость угрозы разрушения нравственных ценностей и моральных норм (с 44,3% во всех исследуемых регионах до 48% в регионах с максимальным уровнем угроз).

Как уже отмечалось, состояние памятников культуры во многом зависит от природно-экологических и техногенных факторов. Для анализа влияния этих факторов были выделены регионы с максимальным уровнем природно-экологических и техногенных рисков. В основу отбора положены оценки населением этих регионов возникновения соответствующих угроз. Максимальный процент утвердительных ответов на вопрос о возникновении в регионе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по каждому виду угроз использован для оценки этих видов риска в регионе.

Максимальные средние суммарные значения угроз природно-экологического характера отмечены в Амурской области (76,1% населения указали на возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера), Нижегородской (68,2%) и Костромской (66,9%), а техногенного – Республика Адыгея (67,3%), Кировская (63,4%) и Саратовская (49,3%) области.

Выделив регионы с максимальным уровнем природно-экологических и техногенных рисков, оценим озабоченность населения этих регионов угрозами разрушения исторических и культурных памятников. Как показало исследование, существование такой угрозы отмечают 42,3% респондентов в регионах с максимальным уровнем природно-экологических рисков, 30,1% – в регионах максимальным уровнем техногенных рисков и 19,7% – в остальных регионах (в Брянской области, в Карачаево-Черкесской Республике, в Краснодарском крае, в Тверской области).

Таким образом, прослеживается комплексный процесс формирования рискогенности социокультурного субсредового локуса. Наибольшее влияние на состояние памятников культуры оказывают природно-экологические и техногенные факторы, способствующие возникновению средовых рисков. Недостаточное финансирование культуры и нерациональное распределение выделенных средств в регионах повышают уровень средовых рисков в материальной составляющей социокультурного локуса. В рискогенной среде возникают угрозы базовым основаниям культурной идентичности, вызывая рост социальной напряженности.

3. Связь рискогенности социокультурной среды с социальными настроениями

Осознание угроз, связанных с разрушением социокультурной среды обитания, в той или иной мере проявляется в настроениях различных групп. В процессе осмысления причин и последствий этих угроз для безопасности собственных условий существования настроения приобретают социальный характер. Они проявляются в отношении к жизни, в удовлетворенности ее условиями по месту жительства, в уровне социальной напряженности в регионе.

Проанализируем, как оцениваются угрозы социокультурной безопасности в связи с оценками своей жизни разными возрастными группами. Наличие угроз определялось по шкале «наличие – отсутствие» («существуют – не существуют»), а характеристики условий жизнедеятельности определяем в терминах «стабильная и безопасная» или «неопределенная и рискованная». Уровень стабильности внешних условий жизни оценивался по семибалльной шкале, где 1 – максимальный уровень стабильности и безопасности, а 7 – максимальный уровень неопределенности и риска. Как видно, среди респондентов, признающих существование угроз в социокультурном субсредовом локусе, суммарные значения оценок стабильности и безопасности жизни (1 + 2 + 3) заметно ниже по сравнению с соответствующими оценками респондентов, отрицающих существование угроз (табл. 1).

Таблица 1. Связь угроз социокультурной безопасности с оценками уровня стабильности своей жизни

Угроза	Наличие	Оценка своей жизни по семибалльной шкале, %					
		Молодежь 18–29 лет			Население старше 40 лет		
		1 + 2 + 3	4	5 + 6 + 7	1 + 2 + 3	4	5 + 6 + 7
Разрушение памятников культуры	Существуют	26,4	40,0	33,6	33,8	32,6	33,6
	Не существуют	41,0	35,4	23,6	48,1	30,6	21,3
Утрата исторической памяти	Существуют	30,5	40,2	29,3	38,7	33,9	27,4
	Не существуют	38,0	33,6	28,4	46,3	29,2	24,5
Утрата культурных традиций	Существуют	34,2	34,2	31,6	43,0	32,4	24,6
	Не существуют	36,0	40,7	23,3	43,0	28,9	28,1
Разрушение нравственных норм	Существуют	34,9	35,7	29,4	43,0	29,3	27,7
	Не существуют	35,3	40,4	24,3	43,3	32,3	24,4
Средние суммарные значения	Существуют	31,5	37,5	31,0	39,6	32,0	28,3
	Не существуют	37,6	37,5	24,9	45,2	30,2	24,5

Данные, представленные в табл. 1, подтверждают наличие искомой связи. Соотношение средних суммарных значений оценок стабильности своей жизни среди молодежи составляет 31,5 к 37,6%, среди родителей – 39,6 к 45,2%. И наоборот, доля респондентов, оценивающих свою жизнь как неопределенную и рискованную (5 + 6 + 7), выше среди респондентов, признающих существование угроз в социокультурном локусе. Соотношение средних суммарных значений среди молодежи – 31 к 24,9%, среди родителей – 28,3 к 24,5%. Иначе говоря, и молодежь, и родители, озабоченные угрозами разрушения памятников культуры, утраты исторической памяти, культурных традиций, разрушения нравственных норм, в большей степени склонны считать, что в их жизни преобладают неопределенность и риск, а не замечают угроз оценивают и собственную жизнь как стабильную и безопасную.

Изменения в социокультурном субсредовом локусе и рост его рискогенности, таким образом, являются основой деструкции онтологической безопасности в разных поколениях россиян. Не случайно оценки молодежью уровня неопределенности и риска по семибалльной шкале в регионах с максимальным уровнем угроз выше, чем в других регионах. Наиболее высокие значения неопределенности и риска, полученные на основе средневзвешенного коэффициента К, отмечены в Костромской (К = 4,1), Тверской (К = 3,89) и Кировской (К = 3,68) областях.

Данные показывают наличие связи между уровнем рискогенности и удовлетворенностью условиями жизни в среде обитания (табл. 2).

Таблица 2. Связь угроз социокультурной безопасности с удовлетворенностью условиями жизни

Угроза	Наличие угроз	Степень удовлетворенности условиями жизни, %*							
		Молодежь 18–29 лет				Население старше 40 лет			
		Полностью удовлетворен	Скорее удовлетворен	Скорее не удовлетворен	Совершенно не удовлетворен	Полностью удовлетворен	Скорее удовлетворен	Скорее не удовлетворен	Совершенно не удовлетворен
Разрушение памятников культуры	Существуют	10,8	32,2	24,4	11,2	8,9	29,8	22,7	8,5
	Не существуют	16,9	40,5	18,6	5,2	15,0	39,6	20,5	5,0
Утрата исторической памяти	Существуют	10,2	41,4	21,9	7,4	9,9	34,5	22,0	5,5
	Не существуют	16,4	36,5	20,4	7,0	14,9	37,5	21,2	6,7
Утрата культурных традиций	Существуют	11,2	37,5	25,7	7,4	11,3	34,3	22,3	5,1
	Не существуют	16,8	36,5	17,9	7,4	13,0	38,4	20,9	6,5
Разрушение нравственных ценностей	Существуют	15,1	34,6	21,5	7,8	11,9	33,6	22,0	6,7
	Не существуют	15,1	39,8	18,7	7,1	13,2	40,6	19,9	6,2
Средние суммарные значения	Существуют	11,8	36,4	23,4	8,5	10,5	33,0	22,2	6,4
	Не существуют	16,3	38,3	18,9	6,6	14,2	39,0	20,6	6,1

* Меньше 100%, так как не приводятся данные о затруднившихся ответить.

Средние суммарные значения удовлетворенности в обеих поколенческих группах, приведенные в табл. 2, оказываются ниже среди признающих наличие угроз. Среди молодежи полную и частичную удовлетворенность условиями жизни демонстрируют соответственно 11,8 и 36,4% тех, кто признает существование угроз, против 16,3% и 38,3% среди тех молодых респондентов, кто их не видит. Среди родителей это соотношение составляет 10,5% (полностью) и 33% (частично) к 14,2% (полностью) и 39% (частично).

Особенно заметно влияют на снижение удовлетворенности условиями жизни разрушения исторических памятников. В группе не замечающих существования этой угрозы доля удовлетворенных своей жизнью (полностью и скорее удовлетворенных) составляет 57,4% среди молодежи и 54,6% среди представителей старшего поколения, а в группе обеспокоенных утратой памятников культуры удовлетворены условиями жизни 43% молодежи и 38,7% родительского поколения.

В зависимости от угроз социокультурной безопасности изменяется восприятие социальной атмосферы в регионе. Как видно из табл. 3, среди респондентов, не рефлексирующих угрозы, значительно выше доля молодежи и представителей старшего поколения, характеризующих атмосферу в своем регионе как спокойную (средние суммарные значения равны соответственно 61,2 и 59,2%), по сравнению с теми, кто отметил существование угроз (соответственно 49 и 50,6%). А в группе отметивших социокультурные угрозы доля респондентов, характеризующих атмосферу как напряженную, равна 33,7% среди молодежи и 34,8% – среди родителей. Это значительно превышает оценки напряженности среди не признающих существование этих угроз (соответственно 23,5 и 24,8%). В наибольшей степени оценки социальной

напряженности в регионе коррелируют с разрушениями памятников культуры (37,6% среди молодежи и 39,2% в родительском поколении), утратой исторической памяти (соответственно 34 и 36,6%), разрушением нравственных ценностей (33,3 и 32,5%).

Таблица 3. Связь угроз социокультурной безопасности с оценкой социальной атмосферы в регионе

Угроза	Степень проявления угроз	Оценка социальной атмосферы в регионе, %							
		Молодежь 18–29 лет				Население старше 40 лет			
		Спокойная	Напряженная	Взрывоопасная	Запутались с ответом	Спокойная	Напряженная	Взрывоопасная	Запутались с ответом
Разрушение памятников культуры	Существуют	46,0	37,6	4,0	12,4	45,8	39,2	4,2	10,8
	Не существуют	62,8	21,4	5,0	10,8	60,6	23,5	4,0	11,9
Утрата исторической памяти	Существуют	48,0	34,0	4,3	13,7	49,4	36,6	4,8	9,2
	Не существуют	60,7	24,1	5,2	10,1	59,7	24,8	3,5	12,0
Утрата культурных традиций	Существуют	52,5	30,1	4,7	12,7	53,6	31,1	4,1	11,2
	Не существуют	58,5	26,1	4,1	11,3	57,3	27,0	3,9	11,8
Разрушение нравственных ценностей	Существуют	49,4	33,3	3,4	14,2	53,7	32,5	3,4	10,5
	Не существуют	62,9	22,6	4,5	10,1	59,3	24,1	4,8	11,9
Средние суммарные значения	Существуют	49,0	33,7	4,1	13,2	50,6	34,8	4,1	10,5
	Не существуют	61,2	23,5	4,7	10,6	59,2	24,8	4,0	12,0

Между тем существующие угрозы социокультурной безопасности далеко не однозначно отражаются в социальном самочувствии младших возрастных групп.

Степень отражения различных чувств в состоянии (самочувствии) молодежи оценивалась по семибальной шкале на основе ответов на вопрос: «В какой степени отражают ваше состояние за прошедший год следующие чувства – надежда, уверенность, безразличие, тревога, страх, возмущение, растерянность?» Степень влияния определялась уровнем связи анализируемых угроз с самооценками эмоциональных состояний (табл. 4).

Таблица 4. Влияние угроз социокультурной безопасности на социальное самочувствие молодежи

Угроза	Степень влияния на социальные чувства, К*						
	Надежда	Уверенность	Безразличие	Тревога	Страх	Возмущение	Растерянность
Разрушение памятников культуры	4,45	3,92	2,78	3,84	2,99	3,48	3,02
Утрата исторической памяти	4,79	3,69	2,86	3,64	2,63	3,52	2,95
Утрата культурных традиций	4,65	3,82	2,88	3,60	2,64	3,37	2,84
Разрушение нравственных ценностей	4,67	3,95	2,72	3,45	2,69	3,17	2,72
Средние значения К	4,64	3,84	2,81	3,63	2,74	3,38	2,88

* К – средневзвешенный коэффициент по семибальной шкале оценок.

Как показали данные табл. 4, угрозы в социокультурном субсредовом локусе не становятся главным дестабилизатором эмоционального состояния молодежи. Характерно, что доминанта позитивных настроений, присущая молодому поколению, мало изменяется в этом случае. Проявления надежды

(среднее суммарное значение 4,64) и уверенности (3,84) явно преобладают над другими чувствами, что отражает особенности восприятия молодежью социальной реальности в целом. Более того, нельзя не заметить наибольшую интенсивность положительной связи надежды со всеми угрозами в социокультурном субсредовом локусе. Угрозы рассматриваются молодым поколением не столько как источник растерянности или страха (коэффициенты ниже 3), сколько как новые возможности. Особенно это касается разрушения культурных традиций, нравственных ценностей и утраты исторической памяти, традиционно являющихся предметом беспокойства более консервативной части общества. Для молодежи в этом проявляется открытость обновлению, стремление к еще большей эмансипации, понимаемой как освобождение от традиционных ограничений. Этот процесс более сложный и включает взаимодействие базовых и ситуационных установок сознания, вытекающих из актуального и исторически обусловленного опыта. Предыдущие исследования достаточно наглядно показали, что декларативно отвергаемые традиционные образцы на уровне архетипических и ментальных структур коллективного бессознательного способны занимать весьма прочное место, фактически влияя на эмоциональное восприятие окружающей действительности, ее оценки и поведение.

Вместе с тем значения связи угроз с тревогой (3,63) и возмущением (3,38), которые, хотя не являются высокими, едва ли статистически незначительны. В процентном выражении в связи с угрозой разрушения памятников культуры чувство тревоги ниже среднего уровня (1 + 2 + 3) испытывают 44% молодежи, а выше среднего (5 + 6 + 7) 36,8%. Чувство возмущения – соответственно 52 и 31,2%. Из этого следует, что треть молодежи испытывает ощутимую эмоциональную напряженность, усиление или ослабление которой может быть связано со сложными реакциями на средовые условия и проводимую в регионе политику по сохранению материального культурного наследия. Не случайно реакция напряжения на утрату исторических памятников выражается у молодежи острее, чем на распад образцов духовной культуры (норм, традиций), из чего следует, что социальные ожидания молодежи в социокультурной сфере формируются в русле современных, точнее европейских, тенденций. Стремление сохранять материальное культурное и историческое наследие сопровождается у молодежи выбором в пользу современных нормативных регуляторов поведения.

В целом уровень социальной напряженности в анализируемых регионах нельзя назвать критическим. Взрывоопасной социальную атмосферу охарактеризовали менее 5% молодежи и представителей старшего поколения, причем как среди признающих существование угроз социокультурной безопасности, так и непризнающих. Следовательно, рискогенность социокультурной среды обитания не приводит напрямую к радикализации социальных настроений, но оказывает влияние на удовлетворенность условиями жизни и атмосферу в среде постоянного проживания. Но они, в свою очередь, способны влиять на обострение других противоречий.

Литература

1. Евдокимов М.Ю., Евдокимова Е.В. Историко-культурное и природное наследие в региональном развитии (на примере Смоленской области). Смоленск, 2002. 115 с.

2. Никифорова А.А. Памятники природно-культурного наследия в регионах ресурсного типа: особенности охраны. Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. 127 с.
3. Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. URL: <http://www.voorik.ru/our-heritage/status-cultural-heritage/> (дата обращения: 02.12. 2015).
4. Гидденс Э. Устроение общества : Очерк теории структуриации. М. : Академия, 2005. 528 с.
5. Государственный доклад о состоянии культуры в РФ в 2016 г. URL: https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2017_new/Gosudarstvennyj-doklad-o-sostojanii-kulturny-v-Rossijskoj-Federacii-v-2016-godu.pdf (дата обращения: 15.02. 2018).
6. Ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70635190/#ixzz59iOq8K4d> (дата обращения: 15.02. 2018).

Yulia A. Zubok, Institute of Socio-Political Research of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

E-mail: uzubok@mail.ru

Vladimir I. Chuprov, Institute of Socio-Political Research under the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

E-mail: chuprov443@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 148–160.

DOI: 10.17223/1998863X/43/14

RISKOGENICS OF THE SOCIOCULTURAL HABITAT AS A FACTOR OF SOCIAL SENTIMENT FORMATION

Keywords: cultural environment; sociocultural habitat; threats; risk; social sentiment.

The vulnerability of a sociocultural locus in three groups of factors – natural, anthropogenic and technogenic – predetermines habitat degradation under their unregulated influence. The habitat considerably loses its historical and cultural uniqueness, but risk escalation connected with the destruction of the visual shape of cultural and historical landscapes can negatively influence the identity of people living in these territories. Owing to the compatibility with the riskogenic environment the consciousness, emotional condition and behaviour of people change. Risks become social, they are accumulated when people design their own social reality and are concretised in ideas of it, influencing not only the perception of external environment, but people's life. The analysis of the connection was carried out on the basis of the data of expert and mass polls in regions with the maximum and minimum levels of environmental and technology-related risks that have an impact on the sociocultural subenvironment locus. The threats experts noted – the destruction of historical and cultural objects, historically developed cultural infrastructure and the basic foundations of national identity – are reflected on by the population in a different way. Due to the assessment of the level of life stability, satisfaction with life conditions, assessment of the social atmosphere in the region, the perception of the environment as riskogenic is not the same in different age groups. There is a raised reflection on threats connected with cultural monuments demolition, losses of historical memory, cultural traditions, ethical standards destruction, feelings of uncertainty and risk. A decrease in satisfaction with life conditions happens, to a great extent, under the influence of historical monuments demolition. Deterioration of the cultural atmosphere in the region and, in this regard, growth of social tension in the regions correlate with the demolition of cultural monuments, loss of historical memory, destruction of moral values. Herewith, the analysed threats ambiguously impact the social feeling of the youth with their greatest optimism towards social reality as well as the modern approach to the preservation of historical and cultural heritage which combines protection of material objects of culture with the updating of cultural traditions and moral standards.

References

1. Yevdokimov, M.Yu. & Yevdokimova, E.V. (2002) *Istoriko-kul'turnoye i prirodnoye naslediyе v regional'nom razvitii (na primere Smolenskoj oblasti)* [Historical, cultural and natural heritage in the regional development (a case study of Smolensk Region)]. Smolensk: [s.n.].
2. Никифорова, А.А. (2013) *Pamyatniki prirodno-kul'turnogo naslediya v regionakh resursnogo tipа: osobennosti okhrany* [Monuments of natural and cultural heritage in resource-type regions: features of preservation]. Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University.

3. Central Council of the All-Russian Society for the Protection of Monuments of History and Culture. (n.d.) *Sostoyaniye istoriko-kul'turnogo naslediya* [The state of historical and cultural heritage]. [Online] Available from: <http://www.voopik.ru/our-heritage/status-cultural-heritage/>. (Accessed: 2nd December 2015).
4. Giddens, A. (2005) *Ustroyeniye obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii* [The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration]. Translated from English by I. Tyurina. Moscow: Akademiya.
5. Russian Federation. (2017) *Gosudarstvennyy doklad o sostoyanii kul'tury v RF v 2016 g.* [State Report on the State of Culture in the Russian Federation in 2016]. [Online] Available from: https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2017_new/Gosudarstvennyj-doklad-o-sostojanii-kul'tury-v-Rossijskoj-Federacii-v-2016-godu.pdf. (Accessed: 15th February 2018).
6. Russian Federation. (2014) *Yezhegodnyy gosudarstvennyy doklad o sostoyanii kul'tury v Rossiyskoy Federatsii v 2013 godu* [Annual State Report on the State of Culture in the Russian Federation in 2013]. [Online] Available from: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70635190/#ixzz59iOq8K4d>. (Accessed: 15th February 2018).

УДК 316.342

DOI: 10.17223/1998863X/43/15

Т.С. Мартыненко

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В «ЭПОХУ ДОСТУПА»

Анализируется концепция социального неравенства современного американского социолога и экономиста Джереми Рифкина. Представлено основное содержание понятий «эпоха доступа» и «доступ». В статье рассматриваются возможности и ограничения предлагаемого подхода, место теории доступа американского ученого в современной социологической теории, а также перспективы применения концепции для изучения социального неравенства в современном российском обществе.

Ключевые слова: современная социология, социальное неравенство, доступ, Дж. Рифкин.

Образ современных обществ значительно трансформировался во второй половине XX в. Вместе с достижениями научно-технического прогресса произошли и социальные преобразования, которые, с одной стороны, способствовали «сжатию» мира, а с другой – продемонстрировали жителям земного шара радикальный социальный разрыв между регионами мира. Этот разрыв был связан не только с различиями в уровне дохода или богатства, но отражал специфику и особенности образа жизни и потребления отдельных социальных групп, а также степень их мобильности и информированности. Все чаще возникающие ситуации статусной несовместимости способствовали появлению в социальных науках новых подходов, стремящихся зафиксировать новые виды и критерии социального неравенства. Речь шла не столько о распределении благ и ресурсов, сколько об исключенности из важнейших социальных процессов отдельных социальных групп и регионов.

В попытках осмыслить эти изменения широкое распространение в социальных науках получили два понятия – «социальная эксклюзия» и «доступ». Оба понятия характеризуются акцентом на процессуальном аспекте отношений социального неравенства в пику статическим понятиям, таким как «социальная стратификация», «социальная структура». Понятие «социальная эксклюзия» более широкое в сравнении с понятием «доступ» и получило распространение несколько раньше. Понятие «доступ» не так популярно в отечественной науке, но активно используется в западной. Это понятие оформилось на рубеже XX и XXI вв. и связано с такими учеными, как К. Черри [1], Дж. Урри [2], Я. ван Дейк [3] и Дж. Рифкин [4]. Последний из указанных авторов предлагает наиболее комплексный подход к изучению современного общества и неравенства в нем через призму доступа. В нашей стране эта теория фактически не исследовалась. Цель статьи – обозначить основные характеристики концепции «доступа» и «эпохи доступа» Дж. Рифкина, выявив возможности и ограничения указанного подхода для анализа социального неравенства в современном российском обществе.

В связи с тем, что социологическая теория Дж. Рифкина почти не представлена в современной отечественной социологии, следует начать с фигуры автора рассматриваемой концепции.

Джереми Рифкин (р. 1945) – американский социолог и экономист, широко известен как основатель Организации по изучению экономических трендов [5], общественный деятель, борец за экологию и устойчивое развитие, консультант ряда правительств. Широкую известность получили проекты Дж. Рифкина, реализованные во Франции, Италии и Казахстане. Американский ученый является автором десятка бестселлеров, посвященных исследованиям в области энергетики и социальной философии. На русском языке опубликованы только две работы: «Если нефти больше нет... Кто возглавит мировую энергетическую революцию?» [6] и «Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом» [7].

Впервые к вопросам неравенства и социальной структуры социолог обратился еще в 1978 г., когда в совместной с Р. Барбером работе «Север поднимается снова: пенсии, политика и власть в 1980-е годы» [8] представил анализ трансформации отношений между корпорациями, профсоюзами и государством. Тем не менее наибольшую популярность Дж. Рифкину как социологу принесла работа «Конец труда: закат глобальной рабочей силы и рассвет пострывочной эпохи» [9]. «Конец труда» выступает основанием для всех дальнейших теоретических построений ученого.

Концепция «конца труда» разрабатывается американским ученым в русле дискурса эндизма, оформление которого пришлось на 70–80-е гг. XX в. Данная проблематика звучит в произведениях многих западных социологов, таких как Р. Дарендорф, Г. Маркузе, К. Оффе, А. Турен, Д. Белл, У. Бек, и др. [10–15], а также в трудах российских социологов Н.Л. Поляковой, В.Л. Иноземцева и др. [16, 17].

Основное содержание этих теорий сводится к указанию на фундаментальную трансформацию современных западных обществ – утрату сферой труда определяющей роли. Причины этого процесса получили многочисленные объяснения, но преимущественно его связывают с оформлением массового общества и значительной автоматизацией всех отраслей производства. Основными последствиями являются: снижение общего уровня материального благосостояния населения, рост криминала и преступности, межэтнические конфликты и ксенофобия, снижение ментального и физического здоровья населения.

Американский экономист и социолог связывает рост социального неравенства во второй половине XX в. с масштабным вытеснением человека из сферы производства. Последовательно рассматривая отрасли экономики, Дж. Рифкин демонстрирует, насколько широко распространены автоматизация и роботизация в конце XX в. Опасения ученого вызывает тот факт, что сфера услуг, долгое время считавшаяся убежищем для всех тех, кто потерял работу в сельском хозяйстве и промышленности, автоматизируется все более быстрыми темпами. Если первая автоматизация, произошедшая в 60-е гг. XX в., оказала влияние главным образом на «синие воротнички», то современная трансформация влияет главным образом на средний класс.

Завершенную форму концепция социального неравенства Дж. Рифкина получила в работе «Эпоха доступа: новая культура гиперкапитализма, где вся жизнь является платным опытом» [18]. Концепция «доступа» и «эпохи доступа» [4] продолжает социологические теории второй половины XX в. Значительное влияние на его теорию оказали, с одной стороны, теории «конца труда» и общества потребления, обосновывающие определяющую роль потребления в современных обществах. С другой стороны, свой вклад внесли и теории постиндустриального, информационного, а также сетевого общества. Особенностью концепции «доступа» является технологический детерминизм. Понятие «доступ» можно считать символом эпохи Интернета. В социологии оно впервые было использовано Д. Беллом в теории постиндустриального общества [19. С. 8], тем не менее именно работы Дж. Рифкина сделали его популярным и широко используемым [20–24].

Предметом рассмотрения Дж. Рифкина выступает современное общество, которое он концептуализирует через понятие «эпоха доступа». «Эпоха доступа» представляет собой глобальное сетевое постисторическое общество, главным фактором в котором выступает рост технологий, – в нем доминирует этика игры, доступ, а не собственность. Процесс перехода обществ в «эпоху доступа» базируется на радикальном изменении роли собственности и затрагивает все сферы общества. Изначально понятие «доступ» применялось для обозначения отношения к физическому пространству. С развитием технологий и возникновением нового пространства человеческой жизнедеятельности (киберпространства) понятие «доступ» обретает широкое содержание и большое значение для анализа современного общества.

Трансформацию современного общества Дж. Рифкин описывает как переход к новой форме капитализма – гиперкапитализму, или культурному капитализму. Основными характеристиками гиперкапитализма являются: а) поглощение культуры рынком; б) поглощение пространства временем. Подобная «колонизация» культуры рынком, по аналогии с «колонизацией жизненного мира системой» у Ю. Хабермаса, подрывает основы общества. Когда фактически все становится услугой, капитализм преобразуется от системы, основанной на обмене товаров, к системе, основанной на потреблении опыта. Вместо товаров и вещей и их обмена на рынке в эпоху доступа мы обеспечиваем доступ ко времени друг друга и заимствуем его.

Для того чтобы иметь возможность долгосрочно извлекать прибыль, изменяются принципы функционирования сферы услуг. Материальные объекты сегодня представляют лишь «платформы», которые для того, чтобы иметь значимость, должны наделяться культурным значением. Так, мобильный телефон сам по себе представляет лишь кусок пластмассы или металла. И лишь когда мы приобретаем доступ у операторов связи к этому человеческому опыту, он получает свое значение.

«Эпоха доступа» не отрицает собственность категорически: товары повседневного использования продолжают обмениваться на рынке. Все остальные материальные объекты, значение которых ранее было чрезвычайно высоким, а именно средства производства и другое крупное движимое и недвижимое имущество, будут иметь все меньшую вероятность быть обменяемыми на рынке. Это обусловлено рядом причин: во-первых, технологические новшества приводят к тому, что товары, попадая на рынок, чрезвычайно

быстро устаревают. Во-вторых, обслуживание технологически сложных объектов становится дорогостоящим. В-третьих, в мобильном во всех отношениях обществе «привязывание» себя к материальным объектам становится бессмысленным, поскольку затрудняет мобильность.

Дж. Рифкин активно применяет сетевую методологию в построении концепции социального неравенства. Современная микроэлектроника, компьютеры и телекоммуникации интегрировались в коммуникативную сеть, которая подобно глобальной нервной системе окутывает мир. Современные технологии делают возможными новые пути ведения бизнеса, которые экономисты называют «сетевым» подходом к экономической жизни. В отличие от географических рынков индустриальной эпохи, которые основываются на идее суверенных и автономных продавцов и покупателей, участвующих в дискретных транзакциях независимо друг от друга, для экономики киберпространства определяющей является идея о глубокой взаимозависимости отношений, которые связывают активность и стремления участников этих отношений. Сетевая модель быстро распространяется.

Способ организации компьютерных систем отражается в культурных системах, каждая из которых является узлом в динамической сети отношений, непрерывно корректирующейся и возобновляющейся на каждом уровне своего существования. Новые информационные технологии отвечают экономическим реалиям, существующим в настоящее время, и являются эффективными инструментами для управления экономикой, но приводят к разрушению культуры.

Основные структурные изменения, лежащие в основе и организационной базе «эпохи доступа», Дж. Рифкин описывает следующим образом: рынки заменяются сетевыми отношениями; отношения владения заменяются доступом; маргинализация физической собственности приводит к доминированию интеллектуальной собственности.

Под влиянием указанных процессов радикальным образом трансформируется система социального неравенства. Развитие и широкое распространение информационных технологий усиливают его рост. Концепция «эпохи доступа» представляет собой критику культурного капитализма посредством построения теории социального неравенства на основе понятия «доступ». Дезинтеграция, виртуализация и пространственно-временная деформация собственности не отменяют материального неравенства обладания, напротив, увеличивают его неравенством в осведомленности, включенности, компетентности и т.п. Это неравенство усугубляется исключением большей части человечества из «эпохи доступа».

«Эпоха доступа» представляет собой современную модель реализации социального неравенства. Критериями социального неравенства выступают доступ к информационным технологиям, коммерциализированной культуре и человеческому опыту. Это неравенство вытекает из различного положения субъектов в социальном пространстве, принимающем форму сети. Оно, в свою очередь, основано на способности субъекта к инновативному поведению и связано с умением выделять из всего многообразия культурного опыта тот, что будет иметь наибольшее распространение, а также чрезвычайно быстро приспосабливаться к изменяющейся реальности.

Сконструированную на основе доступа теорию социального неравенства необходимо подразделять на две составляющие: теорию крупномасштабного и мелкомасштабного неравенства. В первом случае речь идёт о сообществах, включённых и не включённых в «эпоху доступа», во втором – о неравенстве и степени доступа включённых.

Каждая следующая форма доступа приводит к возрастанию социального неравенства в «эпохе доступа» и за ее пределами. Каждая новая информационная технология все больше поглощает культуру. Ее коммерциализация оставляет за пределами культуры все большее число людей. Доступ как критерий социального неравенства кажется более справедливым (в том числе и по причине положительной коннотации слова), поскольку теоретически базируется на личных качествах индивида и не зависит от аскриптивного неравенства. Фактически же является жестким критерием, преодолеть который сложно, находясь в «эпохе доступа», и почти невозможно за его пределами.

В качестве технологических изменений Дж. Рифкин отмечает появление электричества, телефонных линий, радио, телевидения (как публичного, так и кабельного) и, наконец, компьютера и Интернета. Каждому из перечисленных технологических новшеств сопутствовало появление нового способа передачи информации и знаний, а также образование нового социального пространства и форм коммуникации. Если телевидение и радио представляют собой одностороннюю коммуникацию, то телефон и Интернет создают полноценную двустороннюю коммуникацию. Доступ к электричеству выступает в качестве основы для доступа к каждой технологии.

Переход от одной формы к другой не отрицает полностью предыдущую, но делает ее менее значимой для субъекта. Каждой стадии технологического развития соответствуют новые материальные объекты (телефонный аппарат, радиоприемник, модем и т.п.) и каналы коммуникации (волны, передача данных посредством оптоволоконных кабелей и т.п.). Тем не менее доступ к каждой технологии есть, прежде всего, услуга.

Дж. Рифкин выделяет две основные тенденции трансформации доступа. Во-первых, доступ демонстрирует движение к появлению новых социальных пространств, замещающих реальность (киберпространство и др.). Во-вторых, происходит все большая коммерциализация появляющихся форм доступа. Необходимость расширения информационных сетей заставила государство, которое контролировало их ранее, передавать контроль над сетями коммерческим структурам. Процесс расширения влияния информационно-коммуникативных технологий на культуру, а также их коммерциализации сформировал, по мнению Дж. Рифкина, основную проблему общества эпохи доступа – поглощение культуры рынком.

Включение большого числа людей в существующую систему доступа приводит в движение общество и создает новые цели доступа. Изменяются формы контроля и регулирования доступа: каждый последующий этап рождает новых субъектов, контролирующих доступ к новому жизненному пространству. Понятие «эпоха доступа» призвано очертить условные пространственные границы социального, достигнутого уровня киберпространства. Дальнейшее изменение и появление новых форм доступа неотвратимо. Направление этого изменения предугадать невозможно. Новые формы досту-

па также будут способствовать социальному исключению большей части населения и увеличению социальной поляризации.

Как и отношения собственности, отношения доступа воспроизводят собственную социальную структуру, систему господства и доминирования. Раньше это было разделение на имущих и неимущих, теперь критерием выступает включенность индивида. В количественном выражении, по мнению Дж. Рифкина, это можно выразить при помощи количества сетей, которые «проходят» через индивида. Ж. Бодрийяр отметил, что «мы больше не существуем как объекты, но скорее как терминалы множества сетей» (цит по: [2. Р. 210]). Количество этих сетей определяет статус индивида.

Значительное внимание при анализе доступа Дж. Рифкин уделяет «модели привратника» [18. Р. 177–179]. «Модель привратника» ввел в научный оборот социальный психолог К. Левин в середине XX в. [25]. «Модель привратника» означает управлять стратегической частью канала вне зависимости от того, является ли этот канал потоком товаров, новостей или людей, это многоступенчатый процесс, где каждый элемент открывает лишь часть доступа. По сути, жизнь индивида выстраивается на основе тех решений, которые приняли «стражи», или «привратники».

В «эпоху доступа» формируется новая элита, которую Дж. Рифкин называет «культурные посредники» [18. Р. 182]. К ним относятся художники и интеллигенция, рекламные «гении», звезды и знаменитости, основная роль которых в продвижении конкретного опыта, стиля жизни и в итоге – объединение производителя коммерциализированной культуры и потребителя. Ресурсами «культурных посредников» являются нематериальные активы – их знания, творческий потенциал, артистическая чувствительность, качества эксперта, маркетинговая сообразительность. Как социальную группу их отличает постоянный поиск новых событий и элементов культуры. Они образцы для подражания, законодатели моды и создатели образа жизни.

Основной формой социальных групп в эпоху доступа становятся сообщества. Формирование сообществ происходит в сфере потребления и сознательно производится коммерческими структурами. Для того чтобы удержать клиента длительное время, компании вынуждены создавать номинальные группы, которые получили название «сообщества интереса». Эти сообщества представляют собой новые социальные арены, а компании контролируют доступ к этим желанным мирам. Из жизни вытесняются родство, соседство, религиозные группы, гражданская причастность и другие формы отношений. Время куплено и продано. Жизнь людей превращается в непрекращающийся поток коммерческих сделок, скрепляемых договором.

Трансформация существующей системы социального неравенства, по мнению американского ученого, возможна посредством института образования. Главной функцией образования становится подготовка студентов к самостоятельному получению доступа к культуре и участию в ее создании. Дж. Рифкин подчеркивает, что «выпускник университета должен мыслить себя в категориях полноправного и активного члена общества, а не в категориях товара, который он должен продать» [Ibid. Р. 254]. Кроме того, образование должно корректировать негативные последствия «эпохи доступа» – овеществление человеческих отношений и коммерциализацию культурного опыта – путем создания и пропаганды социального доверия, дружбы, сочув-

ствия, эмпатии и близости. Восстановление баланса между культурой и рынком – важнейшая задача образования в эпоху доступа. Как продолжение критики культурного капитализма американский исследователь публикует работу «Цивилизация эмпатии», в которой описывает контуры новой эпохи сочувствия в масштабах всего человечества.

Таким образом, концепция доступа Дж. Рифкина представляет собой вариант критической теории, особенностью которого является явная постмодернистская ориентация. Основное достоинство подхода связано с указанием на главенствующую роль культуры и информационно-коммуникативных технологий в современном мире. Концепция объясняет востребованность и высокое социальное положение ряда социальных групп, не обладающих собственностью и сильно отличающихся по своим характеристикам от элиты прошлого (в качестве примера стоит отметить популярность проектов в различных социальных сетях, а также гонорары актеров современных западных сериалов). Важно отметить, что концепция социального неравенства Дж. Рифкина выходит за пределы «методологического национализма», а значит, не предполагает изучения неравенства в рамках одного государства, именно поэтому речь идет о новой концептуализации понятия «общество».

Несмотря на интенсивность процесса глобализации, роль государств в современном мире чрезвычайно высока. Применение подхода Дж. Рифкина к анализу неравенства в российском обществе позволит исследовать положение незначительной части населения, поскольку лишь незначительная доля российского общества включена в «эпоху доступа». Скорее, социальное неравенство в современном российском обществе стоит описывать через указание на пересечение различных видов социального неравенства. В то же время концепция доступа в ее более современных интерпретациях (например, концепция Я. ван Дейка) представляется весьма продуктивной для изучения отдельных видов социального неравенства в нашей стране, поскольку позволяет выявить в том числе и относительность доступа и включенности отдельных социальных групп, а также подчеркивает особенности современных отношений социального неравенства.

Концепция социального неравенства Дж. Рифкина внесла значительный вклад в развитие теорий доступа, поскольку именно этот автор впервые предложил теорию общества и социального изменения, базирующуюся на этом понятии. Важным шагом стало выявление новых видов социального неравенства и роли культуры и технологий в продуцировании социального неравенства. Модернизация понятия «доступ» и расширение критериев социального неравенства позволят получить реальную картину социального неравенства, в том числе в современном российском обществе.

Литература

1. *Мартыненко Т.С.* Понятие «доступ» как основа теорий социального неравенства в современной социологии: подход К. Черри // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 5. С. 104–106.
2. *Мартыненко Т.С.* Теория глобального социального неравенства в социологии мобильностей Джона Урри // Социология. 2015. № 1. С. 85–91.
3. *Добринская Д.Е.* Социологическое осмысление Интернета: теоретические подходы к исследованию сети (окончание) // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2016. № 4. С. 43–64.

4. *Артемова Т.С.* Понятие «доступ» в социологической теории Джереми Рифкина // Социология. 2012. № 3. С. 84–96.
5. *Foundation on Economic Trends* [Electronic resource]. URL: <http://www.foet.org> (accessed: 10.03.2017).
6. *Рифкин Дж.* Если нефти больше нет... Кто возглавит мировую энергетическую революцию? М. : Секрет фирмы, 2006. 416 с.
7. *Рифкин Дж.* Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. М. : Альпина нон-фикшн, 2017. 510 с.
8. *Rifkin J., Barber R.* The North Will Rise Again: Pensions, Politics and Power in the 1980s. Boston : Beacon Press, 1978. 279 p.
9. *Rifkin J.* The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. G.P. Putnam's Sons, 1995. 350 p.
10. *Dahrendorf R.* Fragmente eines neuen Liberalismus. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1987. 271 p.
11. *Маркузе Г.* Одномерный человек : Исследование идеологии развитого индустриального общества. М. : REFL-book, 1994. 368 с.
12. *Offe C.* Disorganized capitalism: contemporary transformation of work a politics. Cambridge, London : The MIT Press, 1985. 366 p.
13. *Touraine A.* The Post-Industrial Society. Tomorrow's Social History: Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society. New York : Random House, 1971. 244 p.
14. *Белл Д.* Грядущее постиндустриальное общество. М. : Академия, 2004. 790 с.
15. *Бек У.* Общество риска : На пути к другому модерну. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.
16. *Полякова Н.Л.* От трудового общества к информационному: западная социология об изменении социальной роли труда. М. : Наука, 1990. 132 с.
17. *Иноземцев В.Л.* Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы : учеб. пособие. М. : Логос, 2000. 304 с.
18. *Rifkin J.* The Age of Access: the New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-for Experience. New York : J.P. Tarcher/Putnam, 2000. 312 p.
19. *Полякова Н.Л.* Социальное неравенство в социологических теориях второй половины XX в. : Оформление конструктивистской перспективы // Вестник Московского университета. Серия 18 : Социология и политология. 2015. № 1. С. 5–28.
20. *Hand M.* Making Digital Cultures: Access, Interactivity, and Authenticity. London : Routledge, 2008. 198 p.
21. *Hassan R.* The Information Society: Cyber Dreams and Digital Nightmares. London : Polity Press, 2008. 248 p.
22. *Hearn G., Rooney D.* Knowledge Policy: Challenges for the 21st Century. Sydney : Edward Elgar Pub, 2008. 277 p.
23. *Kallinikos J.* The Consequences of Information: Institutional Implications of Technological Change. London : Edward Elgar Pub, 2006. 205 p.
24. *Miller H.J.* Societies and Cities in the Age of Instant Access. Dordrecht : Springer, 2007. 370 p.
25. *Lewin K.* Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers. New York : Harper & Brothers, 1951. 346 p.

Tatiana S. Martynenko, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
E-mail: ts.martynenko@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 161–170.
DOI: 10.17223/1998863X/43/15

TRANSFORMATION OF SOCIAL INEQUALITY IN THE “AGE OF ACCESS”

Keywords: contemporary sociology; social inequality; access; Age of Access; Rifkin.

The article aims to analyse the conception of social inequality in Jeremy Rifkin's theory of the “Age of Access”. Rifkin is an American sociologist and economist widely known as a scientist dealing with the problems of ecology, energy, end-of-labour research. In the 1980s, researchers began to use the concept “access”. At the turn of the century, this notion was spreading and symbolised, firstly, the expansion of types of social inequality under the influence of the development of information and communication technologies; secondly, the refusal to predominantly study the social structure as opposed to a complex system of inequality; thirdly, the rejection of the notion “society” in the classical

sociological interpretation (“container” theory of society) and the transition to the study of society as a set of social connections, nodes, channels and flows (network methodology). Based on the notion “access”, Rifkin developed the theory of the Age of Access. The Age of Access is a new way of conceptualising the concept “society”. The key elements of the Age of Access are a shift from market to network relations; a shift from ownership of property as the main criterion of social inequality to access; marginalisation of tangible property and its replacement by the dominance of intellectual property. Social inequality in the Age of Access is a difference in access to the newest information and communication technologies, cultural experience and mobility. Rifkin defines the economic system of the Age of Access as “cultural capitalism”. The commercialisation of culture leads to the transformation of everything into a commodity, and life is a paid-for experience. The heuristic of Rifkin’s concept of social inequality consists in pointing out new forms of social inequality, as well as in fixing a complex system of relations between those “included” and “not included” in the Age of Access. The limitation of the concept is connected with the reduction of social inequality to its contemporary forms, although it should rather be about the intersection of traditional and new types of inequality. Concepts of social inequality based on the notion “access” (for example, Jan van Dijk’s conception) can become the basis for studying social inequality in contemporary Russia, since they can explain the main trajectories of the development of social inequality relations.

References

1. Martynenko, T.S. (2014) The concept “access” as a basis of contemporary theories of social inequality in sociology: Collin Cherry’s approach. *Gumanitarnyye, sotsial’no-ekonomicheskiye i obshchestvennyye nauki – Humanities, Social-Economic and Social Sciences*. 5. pp. 104–106. (In Russian).
2. Martynenko, T.S. (2015) Teoriya global’nogo sotsial’nogo neravenstva v sotsiologii mobil’nostey Dzhona Urri [Theory of global social inequality in the sociology of mobility by John Urry]. *Sotsiologiya – Sociology*. 1. pp. 85–91.
3. Dobrinskaya, D.E. (2015) G.A. Cohen’s theoretical reconstruction of historical materialism. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya – Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. 4. pp. 43–64. (In Russian).
4. Artemova, T.S. (2012) Ponyatiye “dostup” v sotsiologicheskoy teorii Dzheremi Rifkina [The concept “access” in the sociological theory of Jeremy Rifkin]. *Sotsiologiya – Sociology*. 3. pp. 84–96.
5. The Office of Jeremy Rifkin. (n.d.) *Foundation on Economic Trends*. [Online] Available from: <http://www.foet.org>. (Accessed: 10th March 2017).
6. Rifkin, J. (2006) *Yesli nefti bol’she net... Kto vozglavit mirovuyu energeticheskuyu revolyutsiyu?* [The Hydrogen Economy: The Creation of the World-Wide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth]. Translated from English by M. Sterngarts. Moscow: Sekret firmy.
7. Rifkin, J. (2017) *Tret’ya promyshlennaya revolyutsiya: Kak gorizontallye vzaimodeystviya menyayut energetiku, ekonomiku i mir v tselom* [The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World]. Translated from English by V. Ionov. Moscow: Al’pina non-fikshn.
8. Rifkin, J. & Barber, R. (1978) *The North Will Rise Again: Pensions, Politics and Power in the 1980s*. Boston: Beacon Press.
9. Rifkin, J. (1995) *The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*. G.P. Putnam’s Sons.
10. Dahrendorf, R. (1987) *Fragmente eines neuen Liberalismus* [Fragments of a New Liberalism]. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
11. Markuse, G. (1994) *Odnomernyy chelovek. Issledovaniye ideologii razvitogo industrial’nogo obshchestva* [One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society]. Translated from English. Moscow: REFL-book.
12. Offe, C. (1985) *Disorganized capitalism: contemporary transformation of work a politics*. Cambridge: The MIT Press.
13. Touraine, A. (1971) *The Post-Industrial Society. Tomorrow’s Social History: Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society*. New York: Random House.
14. Bell, D. (2004) *Gryadushcheye postindustrial’noye obshchestvo* [The Coming of Post-Industrial Society]. Translated from English by V. Inozemtsev. Moscow: Akademiya.
15. Beck, W. (2000) *Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu* [Risk Society. On the Way to Another Modernity]. Translated from German by V. Sedelnik, N. Federova. Moscow: Progress-Traditsiya.

16. Polyakova, N.L. (1990) *Ot trudovogo obshchestva k informatsionnomu: zapadnaya sotsiologiya ob izmenenii sotsial'noy roli truda* [From the labour society to the information society: Western sociology is about changing the social role of labour]. Moscow: Nauka.

17. Inozemtsev, V.L. (2000) *Sovremennoye postindustrial'noye obshchestvo: priroda, protivorechiya, perspektivy* [Modern Post-Industrial Society: Nature, Contradictions, Perspectives]. Moscow: Logos.

18. Rifkin, J. (2000) *The Age of Access: the New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-for Experience*. New York: J.P. Tarcher/Putnam.

19. Polyakova, N.L. (2015) Sociological theories of social inequality in the second part of 20th century. Constructivist perspective. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya – Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. 1. pp. 5–28. (In Russian).

20. Hand, M. (2008) *Making Digital Cultures: Access, Interactivity, and Authenticity*. London: Routledge.

21. Hassan, R. (2008) *The Information Society: Cyber Dreams and Digital Nightmares*. London: Polity Press.

22. Hearn, G. & Rooney, D. (2008) *Knowledge Policy: Challenges for the 21st Century*. Sydney: Edward Elgar Pub.

23. Kallinikos, J. (2006) *The Consequences of Information: Institutional Implications of Technological Change*. London: Edward Elgar Pub.

24. Miller, H.J. (2007) *Societies and Cities in the Age of Instant Access*. Dordrecht: Springer.

25. Lewin, K. (1951) *Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers*. New York: Harper & Brothers.

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 324

DOI: 10.17223/1998863X/43/16

С.В. Бирюков, М.М. Кисляков, Д.В. Щеглова, С.А. Прокопенко

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ АБСЕНТЕИЗМ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Рассматривается сущность абсентеизма, иллюстрируются формы его проявления, анализируются причины политического абсентеизма как явления. Природа абсентеизма раскрывается в статье многоаспектно: и как политическая позиция индивида (аспект индивидуального выбора), и как общественный феномен (показатель уровня вовлеченности в политику групп населения), и как неизбежный элемент избирательного процесса (причины, препятствующие волеизъявлению граждан).

Ключевые слова: абсентеизм, избирательный процесс, политический абсентеизм.

Введение

В большинстве стран мира получает развитие процесс уклонения избирателей от участия в выборах. При этом в каждой стране это процесс протекает в разных условиях и принимает различные формы. Если за рубежом абсентеизм рассматривается в основном как вид отклоняющегося политического поведения рационального избирателя, то в российской научной литературе абсентеизм изучается с позиций обучающегося избирателя, пытающегося сделать свой политический выбор.

В современной научной литературе нашли отражение различные аспекты абсентеизма. Классические модели, послужившие основой для современного анализа политического абсентеизма, были заложены в классических трудах С. Липсета и С. Роккана (влияние социально-групповых конфликтов на идеологическую партийную дифференциацию) [1. Р. 91–111]. Существенный вклад в разработку проблемы абсентеизма внесли П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, В. Макфол, Р. Росс [2], а также социологи мичиганской школы: В. Макфол, В. Глазер, В. Миллер, Р. Купер, П. Конверс, А. Вулф, А. Кемпбелл. Последний в работе «Избиратель принимает решение» (1954) показал, что участие или неучастие в выборах связано с целой системой факторов, которые нельзя рассматривать отдельно, иначе есть риск потерять важность «мультипликативного» эффекта [3. Р. 121]. К классикам, работающим с проблемой абсентеизма в политике, относится и Р. Инглхарт, считавший, что простые формы политического участия, такие, например, как голосование, выборы, теряют свою ответственность и на смену им должна прийти гораздо более сложная система, обеспечивающая политическое участие [4. С. 6–32].

Если говорить о спектре новых научных исследований по проблеме, то большинство из них публикуются в ряде крупных научных изданий, таких как *Electoral Studies*, *American Political Science Review*, *Political Science Re-*

search and Methods, Perspectives on Politics, Journal of Democracy, British Journal of Political Science, Political Science Research and Methods.

По нашим оценкам, в современной зарубежной историографии чаще всего встречается несколько типов моделей анализа проблемы политического абсентеизма: модель конструирования поведения избирателя (мотивы, условия, электоральное поведение); пространственные модели анализа (региональный, географический и иные принципы пространственной дифференциации), факторные (институциональный, социокультурный фактор, влияющий на электоральное поведение и явку) и разного рода прогнозные модели.

С нашей точки зрения, следует выделить группу зарубежных авторов, которые рассматривали политический абсентеизм с точки зрения выражения оппозиционных взглядов, апатии, ответа на мобилизационные технологии «сверху» и т.д. В этих работах проблема неучастия включена в набор факторов, влияющих на стабильность/нестабильность переходного режима. К последним работам такого рода можно отнести труды Дж.Б. Робертсона [5], Л. Даймонда [6], Э. Фромбген [7], В. Кейса [8], С. Левински и А. Лукана [9].

Различные типы расколов и кливажей в структуре электората могут быть обусловлены и типом партийной системы. В многопартийных демократиях (multiparty democracies) уровень поляризации, раскола внутри электората повышается с увеличением сторонников конститuentов (инкумбентов). Эти тенденции были хорошо проиллюстрированы в работах Джона Дж. Матсука, изучавшего практику американского голосования с точки зрения явки [10. P. 413–418].

Необходимо отметить также современные интерпретации и практику использования классической рационально-инструментальной модели анализа электорального поведения. Многие авторы упоминают, что экономическая теория голосования упускает ряд важных фактов, а включение в модель элемента ограниченности информации, которую получает избиратель, не смогла решить до конца проблему методологических ограничений модели. Самым спорным элементом теории рационального голосования является то, как человек определяет «стоимость» голосования для себя лично. Но при этом сочетание теории рационального выбора, политико-психологического подхода и институциональных факторов может создать модель анализа, имеющую универсальную эвристическую ценность. Эта модель, помимо классических постулатов, ориентирована на включение такого ряда факторов, влияющих на явку и уровень абсентеизма, как экономический доход [11. P. 351–368], уровень доверия институтам власти, влияние массмедиа [12. P. 80–118; 13. P. 419].

В пик рационально-инструментальному подходу теории и практики современного политического маркетинга все больше обращаются не столько к аспекту поведения, психологии индивида с попыткой «запрограммировать» его на нужный уровень участия, сколько к созданию комфортной среды, которая предполагает необходимость участия гражданина, прежде всего, в создании горизонтальных, социальных сетей, о которых еще в начале 80-х гг. XX в. заговорил Марк Грановетер [14. P. 201–233]. Такой подход видится перспективным инструментом анализа феномена абсентеизма сквозь призму более широкого явления вовлеченности в социальную жизнь и публичную сферу в условиях современных сетевых коммуникаций. Эта модель подразумевает также и адаптацию рационально-поведенческой интерпретации электорального участия [15. P. 248–274].

В нашей стране проблема абсентеизма начала активно обсуждаться и изучаться во второй половине 80-х гг. Среди научных публикаций начала 2000-х гг., следует выделить исследования О.С. Морозовой, посвященное рациональной и экспрессионистской моделям электорального поведения и абсентеизма [16], и Ю.И. Бушневой, которая фокусировалась на разработке теоретико-методологических оснований изучения абсентеизма в России [17].

В современной научной литературе нет четкого представления о том, что включают понятия «политический абсентеизм» и «электоральный абсентеизм». Такое положение обусловлено рядом причин. Во-первых, эти понятия не стали предметом специальных научных исследований. Во-вторых, эти понятия не рассматривались в контексте современных социально-политических трансформаций. На наш взгляд, политический абсентеизм проявляется в политическом процессе и в политической жизни. Он включает электоральный абсентеизм, проявляющийся только в избирательном процессе, составной части политического процесса в целом.

Цель статьи заключается в комплексном анализе причин, проявлений и возможных путей преодоления и уменьшения масштабов абсентеизма как явления в контексте современных социально-политических процессов и трансформаций.

Материалы и методы исследований

Всесторонний анализ абсентеизма требует использования общенаучных методов исследования, а именно: метода системного анализа; метода сравнительного анализа. Наряду с общенаучными методами исследования авторы опирались на социально-психологический подход, теорию принятия решений, теории коммуникаций.

За основу авторами взята типология методов, используемая в работах О.С. Морозовой, О.В. Анисимовой, Н.В. Гришина, Ю.В. Гудиной и др. [18–21].

Таблица 1. Матрица методов и подходов к изучению политического абсентеизма и аналитические единицы концептуальных моделей

Концептуальная теория / способ анализа	Аналитические единицы	
	Системный анализ	Сравнительный анализ
Социально-психологический подход	Структура личности, личность, как система, социально-демографические показатели	Культура участия; интернальные и экстернальные факторы участия; политико-правовое сознание; электоральные ориентации
Теория принятия решений	Стратегии, мотивы, установки, оценка результатов действий	Участие в выборах. Электоральное поведение
Теория коммуникаций	Восприятие, интерпретация, коммуникативные установки граждан	Дискурс гражданского участия. Информационная среда сферы публичного управления
Институциональный подход	Нормы, ценности, институции	Институт выборов. Тип участия (конвенциональное, неконвенциональное)
Маркетинговый подход	Технологии привлечения граждан к политическому и гражданскому участию	Типы рынков политики
Постмодернистский подход	Политическое пространство как неоднородная среда, влияющая на политическое участие	Государства как субъекты неконсолидированных действий

Каждый подход, метод, теории позволяют представить и проанализировать абсентеизм как сложный политический феномен. Содержание понятия «политический абсентеизм» и факторы, которые на него влияют, представлены на рис. 1.

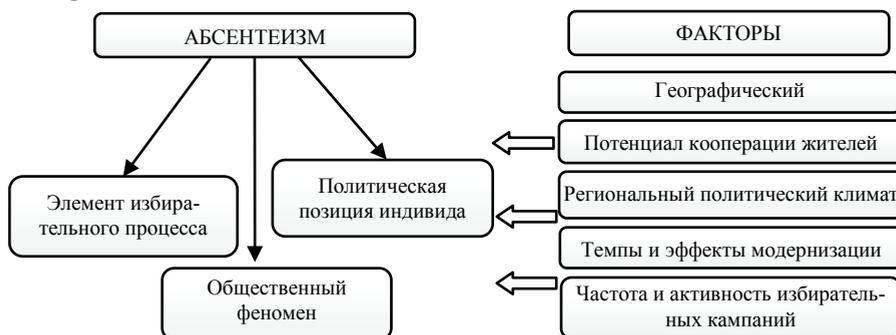


Рис. 1. Структура феномена политического абсентеизма и влияющих на него факторов

Результаты и обсуждение

Абсентеизм в современной России понимается как политическая позиция индивида (аспект индивидуального выбора), как общественный феномен (показатель уровня вовлеченности в политику групп населения) и как неизбежный элемент избирательного процесса (причины, препятствующие волеизъявлению граждан).

При этом необходимо выделить основные причины роста числа тех, кто уклоняется от участия в выборах. К числу этих причин, на наш взгляд, относятся, прежде всего, влияние массовой культуры и общества потребления, постмодернистский дискурс и практики, кризис либеральной демократии, кризис политического рынка, общая деградация политики и снижение качества элит.

С точки зрения политической мотивации можно выделить и описать несколько возможных типов абсентеизма:

а) **аполитичный** – связанный с принципиальным неучастием личности в политике, отсутствием интереса к ней как таковой;

б) **протестный**, обусловленный неприятием потенциальным избирателем действующей власти и ее политики;

в) **оппортунистический** – своеобразный «торг» избирателей с политической системой с повышением «ставок» – пойдет голосовать только в обмен на устраивающие его политические решения и изменения в политике власти, в ином случае – не пойдет;

г) **конформистский** – неявка на избирательные участки вследствие не критичного приятия личностями и группами действующей власти и ее политики по всем основным вопросам, которые делают голос и явку таких избирателей «излишними» в их собственных глазах;

д) **абсентеизм, связанный с так называемым «кризисом проникновения»** – когда импульсы, генерируемые политической системой и властью, не доходят до избирателя из-за блокирующих эффектов (недоверие, слабость механизмов обратной связи, искажающее реальность влияние СМИ), в результате чего избиратель оказывается растерян, дезориентирован и не идет голосовать.

Формы проявления современного абсентеизма.

Абсентеизм может быть рассмотрен во всем многообразии своих проявлений. Во-первых, как особый тип политического поведения. Последний связан с последовательным уклонением от реализации избирательных прав, связанный с личной мотивацией (протестной либо безличностно-конформистской). При этом уклонение от участия в выборах далеко не всегда является следствием аполитичной позиции.

Во-вторых, как проявление политического выбора (как составной части «общественного выбора»). Причем данный выбор, осуществленный в форме отказа от голосования, может оказаться как в пользу статус-кво (существующего положения дел в политике), так и в пользу изменений (как проявление отказа от поддержки власти и ее политики через отказ от участия в выборах). Поэтому абсентеизм далеко не синоним поддержки действующей власти и ее политики «молчаливым большинством», и за ним может скрываться масштабное отторжение определенной частью электората политических реалий.

В-третьих, как демонстрация общественного отношения к политике властей и существующей политической системе. И отношение, выраженное путем отказа от участия в выборах, может рассматриваться как своеобразный бойкот («молчаливый референдум со знаком минус») политического курса и результатов правления действующей власти.

В-четвертых, как способ уклонения от политики и средство деполитизации общества («экспансия приватного»). Массовое и потребительское общество, как известно, препятствует политической консолидации и мобилизации, утверждая приоритет частной жизни и частных интересов в противовес общественному долгу и общественным интересам. В итоге ставится под сомнение не только электоральное участие, но и само существование данного общества как политического целого.

В-пятых, как особый тип и стратегия политического торга. Общество в лице определенной части своих представителей «повышает ставки» в процессе неформального «торга» с властью предрержащими, добываясь от них корректировки проводимой политики в сторону большей гибкости и большего учета интересов различных социальных групп.

В-шестых, как результат кризисной ситуации на политическом рынке, которая проявляется в глубоком (а иногда и вовсе катастрофическом) разрыве между политическим спросом и политическим предложением и может выступать ответом на отсутствие реальной политической альтернативы (дефицит альтернатив) и монополизацию политики и власти определенными политическими силами.

В-седьмых, как проявление кризиса гражданственности (гражданского сознания) и институтов гражданского общества. Гражданское общество и его институты, существуя в состоянии длительной депривации и отчуждения, может ответить на них отказом от участия в выборах как важной составной части политики (в перспективе это грозит делигитимацией политической системы – в качестве крайнего варианта развития событий).

Существует много разных подходов к пониманию причин и истоков феномена абсентеизма. Объяснение абсентеизма **с позиций электоральной и политической культуры** – как следствия ее глубокой трансформации либо

деградации в результате более общего кризиса политики (и распада привычного и устоявшегося «поля политического» со свойственными ему законами).

С позиций электорального и политического поведения (как особой модели политического поведения) – как специфические модели поведения, порожденные внутренними мотивами, интересами и логикой отдельно взятых индивидов.

С институциональной точки зрения – как реакция общества на кризис электоральных и в целом демократических институтов, выражающаяся в неприятии правил и норм, воспроизводимых с помощью этих институтов, одним из которых и является институт выборов, подвергающийся в этом случае глубокой депривации и характеризующийся нарастающей дисфункциональностью, т.е. неспособностью выполнять привычные политические функции.

С точки зрения теории политических конфликтов и кризисов – как следствие «кризиса участия» и «кризиса проникновения», ставших следствием нарастающего политического отчуждения в конкретном обществе.

С позиций теории «общественного выбора» и неоинституционализма – как проявление специфической разновидности оппортунистического поведения (т.е. поведения, нацеленного на удовлетворение индивидуальных интересов в ущерб соображениям «общественного долга» в ситуации, когда общество по разным причинам не может предложить своим членам выгодных альтернатив общего характера и разрозненные политические субъекты реализуют собственные социальные и политические стратегии, нацеленные на краткосрочную выгоду). Участие в выборах в подобной ситуации рассматривается ими как «неоправданная трата собственного времени и усилий».

С позиций теории политического рынка – как следствие несовпадения «политического спроса и политического предложения». В политике возможны ситуации, когда действующей власти, политической элите («политическому классу») нечего предложить обществу в ответ на его возросшие требования и недовольство. В этой ситуации граждане как потребители «политических услуг» могут выразить свое недовольство сложившейся ситуацией в форме отказа от голосования на выборах.

На наш взгляд, абсентеизм – это комплексное политическое явление, порожденное глубокими изменениями в содержании, смысле и характере политического развития и политики на рубеже XX–XXI вв. В современных условиях часть государства остается в состоянии модерна, но другая часть изменяется в направлении большей фрагментации, уменьшения унификации, когда его автономия ставится под сомнение. В итоге современное государство скорее напоминает ослабленную многочисленными «проникновениями» и «вторжениями» в пространство ее интересов и компетенции конструкцию, нежели сильную и монолитную фигуру и субъекта консолидированного политического действия.

Каковы же собственно политические последствия перечисленных изменений? Политика отныне не связана с привычным функционированием государства и его политической системы, с централизованным («провиденциальным») формированием политических смыслов, норм и ценностей политической культуры. Фактически в современных обществах приватная жизнь и частные интересы победили претензии и амбиции политиков. Убедить граждан поддер-

жать политику власть предрержащих и просо прийти на участки для голосования становится все труднее.

Кризис централизованно-бюрократических государств и устоявшихся форм государственной власти генерировал, в свою, очередь не менее масштабные и острые кризис доверия (к государственной власти, ее политике и базовым институтам), кризис легитимности (институтов и основанного на них политического порядка), кризис проникновения (связанный с низким качеством реализации уже принятых государственных решений, с нарушенной работой механизма обратных связей). Компенсировать эти кризисы, несмотря на активное стимулирование развития начал рынка, самоуправления и регионализма, политическим системам, даже вполне демократическим из числа современных государств, так и не удалось.

Налицо и очевидное увеличение роли и веса манипуляционной составляющей современных технологий, что вызывает вполне очевидную негативную реакцию на них общества, распространяющуюся и на сам институт выборов. Феномен политической и пропагандистской плутократии, который предсказывал в свое время еще А. Грамши, стал сегодня, к сожалению, глубоко укорененной политической реальностью, охватив своим влиянием и институт выборов. И найти надежный противовес экспансии этих явлений современному обществу пока не удается, что отражается на общем снижении популярности выборов и избирательного процесса как одного из ключевых элементов современной демократии.

В подобной ситуации подход к решению проблемы абсентеизма, на наш взгляд, должен иметь комплексный характер. Не следует сводить ее решение к простому совершенствованию избирательного законодательства и избирательных технологий, ибо электоральные практики неразрывно связаны с более общими социальными практиками. Едва ли содержит однозначное решение заявленной нами проблемы простое усиление механизмов «прямой демократии», призванное вернуть доверие избирателей к демократическим процедурам. Данная модель в реальной политической жизни неизбежно сталкивается с рядом ограничений, отмечавшихся еще рядом классиков социологической и политической науки.

По нашему убеждению, в современных условиях следует связывать решение проблемы абсентеизма с более широкой культурной и идентитарной проблематикой, с более полным описанием изменений в природе и статусе различных групп электората. А равно с проблематикой политических смыслов и ценностей, которыми руководствуются современные избиратели. Необходимо увязать такое решение и с качественно новым пониманием демократии (электронным, сетевым и т.п.).

Перспективным видится и увязывание решения проблемы абсентеизма с идеей многоуровневой идентичности – локальной, региональной, национальной, глобально-конфессиональной, которая, на наш взгляд, способна эффективно решить проблему политического участия в многосоставных обществах, дав демократии (в том числе в ее электоральной форме) новый стимул к развитию.

Для решения проблемы абсентеизма необходима и новая модель политического рынка, и прежде всего его монополизированная модель, предполагающая преобладание на нем не «продавца» (сообщества профессиональных

политиков), а «покупателя» таких услуг, т.е. избирателей и всех граждан, действующих на основе развитых обратных связей с институтами власти и управления.

Необходимы и новые политические и электоральные институты – более гибкие и адаптирующиеся к запросам избирателей и всех граждан. Не менее значима в этой связи и новая электоральная культура, создающая необходимые предпосылки для формирования нового типа политического и электорального поведения, т.е. культура гражданская, активистская, рефлексивная и основанная на чувстве обоюдной ответственности общества и граждан друг перед другом.

Литература

1. *Lipset S.M., Rokkan S.* Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments // *The West European Party System*. Oxford : Oxford University Press, 1990. P. 91–111.
2. *Lasarsfeld P.F., Berelson B.R., Gaudet H.* The People's Choice. How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. N. Y., 1948. 178 p.
3. *Campbell A., Gurin G., Miller W.E.* The Voter Decides. N. Y. : Row, Peterson and Company, 1954. 242 p.
4. *Инглхарт П.* Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Политические исследования. 1997. № 4. С. 6–32.
5. *Robertson G.B.* The Politics of Protest in Hybrid Regimes. Managing Dissent in Post-Communist Russia. Cambridge University Press, 2011. 285 p.
6. *Diamond L.J.* Thinking About Hybrid Regimes // *Journal of Democracy*. Vol. 13, № 2. 2002. P. 21–35.
7. *Frombgen E.* Economic Autonomy and Democracy: Hybrid Regimes in Russia and Kyrgyzstan // *Perspectives on Politics*. 2007. Vol. 5. P. 666–668.
8. *Case W.* Southeast Asia's Hybrid Regimes: When Do Voters Change Them? // *Journal of East Asian Studies*. 2005 August. Vol. 5, Iss. 2. P. 215–237.
9. *Slater D.* Rev. op. : Steven Levitsky and Lucan A. Way. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. New York: Cambridge University Press, 2010 // *Perspectives on Politics*. 2011. Vol. 9, Iss. 2. P. 385–388.
10. *Matsusaka J.G.* Public Choice / University of Southern California, Los Angeles: Kluwer Academic Publishers, 1995. p. 91–117.
11. *Matsusaka J.G., McCarty, N.M.* 2001 Political Resource Allocation: Benefits and Costs of Voter Initiatives // *Journal of Law, Economics and Organization*. Vol. 17, Iss. 2. P. 413–448.
12. *Franko W.W., Kelly N.J., Witko C.* Class Bias in Voter Turnout, Representation, and Income Inequality // *Perspectives on Politics*. 2016. Vol. 14, Iss. 2. P. 351–368.
13. *Sorensen Rune J.* The Impact of State Television on Voter Turnout // *British Journal of Political Science*. 2014. Vol. 4. P. 1–22.
14. *Granovetter M.* The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited // *Sociological Theory*. 1983. Vol. 1. P. 201–233.
15. *Lazer D., Rubineau B., Chetkovich C., Katz N., Neblo M.* The Coevolution of Networks and Political Attitudes // *Political Communication*. 2010. Vol. 27, Iss. 3. P. 248–274.
16. *Морозова О.С.* Абсентеизм как тип электорального поведения [Электронный ресурс] // Электронный научно-практический журнал «Культура и образование». 2013. № 2. Электрон. дан. Доступ из науч. электрон. б-ки „eLIBRARY.RU“.
17. *Бушенева Ю.И.* Абсентеизм как фактор избирательного процесса в современной России : дис. ... канд. полит. наук. СПб., 2007. 180 с.
18. *Анисимова О.В.* Социально-психологический анализ проблемы абсентеизма [Электронный ресурс] // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2009. № 1. Электрон. версия печат. публ. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskij-analiz-problemy-absenteizma> (дата обращения: 20.04.2017).
19. *Гудина Ю.В.* Активность российских избирателей: теоретические модели и практика // Политические исследования. 2003. № 1. С. 112–123.
20. *Гришин Н.В.* Избирательная система как институт артикуляции политических интересов общества // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. № 2. С. 42–47.

21. Ашкеров А.Ю. Эксперткратия: управление знаниями. Производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма. М. : Европа, 2009. 132 с.

Sergei V. Biryukov, School of Advanced International and Area Studies (SAIAS) of East China Normal University (Shanghai, China).

E-mail: birs.07@mail.ru

Mikhail M. Kislyakov, Kemerovo Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics (Kemerovo, Russian Federation).

E-mail: m.kislyakov@mail.ru

Daria V. Shcheglova, Voronezh State University (Voronezh, Russian Federation).

E-mail: bruenen@mail.ru

Sergei A. Prokopenko, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: sibgp@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 171–180.

DOI: 10.17223/1998863X/43/16

ELECTORAL ABSENTEEISM IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY SOCIO-POLITICAL TRANSFORMATIONS

Keywords: absenteeism; electoral process; political absenteeism.

The authors analyse the causes, manifestations and possible ways of overcoming and reducing the scale of absenteeism as a phenomenon in the context of modern socio-political processes and transformations. The dominant characteristic of current elections is the widespread repudiation of the electoral system, political campaigns, parties and candidates. The authors reveal the essence of absenteeism, illustrate the forms of its manifestation, identify the reasons for political absenteeism as a personal position of a citizen, a political phenomenon and an integral part of the electoral and political processes. They also give a detailed typology of factors of absenteeism. The nature of absenteeism is revealed in the article in a multifaceted way: as an individual's political position (the aspect of individual choice), as a social phenomenon (an indicator of the level of involvement in politics of population groups) and as an inevitable element of the electoral process (reasons preventing the expression of the will of citizens). There is a methodology for analysing the indices and the voter confidence factor for candidates and political parties. The effects and consequences of the expansion of models of consumer and mass societies in hybrid and transitional regimes are considered. It is argued that in modern conditions it is necessary to link the solution of the problem of absenteeism with a broader cultural and identity problem, with a more complete description of the changes in the nature and status of various electoral groups. It is noted that it is necessary to link all kinds of decisions with a qualitatively new understanding of democracy (electronic, network, etc.). It is also promising to link the solution of the problem of absenteeism with the idea of a multi-level identity (the Swiss philosopher Denis de Rougemont) – local, regional, national, global-confessional – which, in the authors' opinion, is able to effectively solve the problem of political participation in multi-component societies, giving democracy (including in its electoral form) a new stimulus to development. To solve the problem of absenteeism, a new model of the political market is obviously proposed, its demonopolised model assuming that it is not dominated by the “seller” (the community of professional politicians) but by the “buyer” of such services – voters and all citizens acting on the basis of a developed feedback from the institutions of power and government. The article is a theoretical and methodological one.

References

1. Lipset, S.M. & Rokkan, S. (1990) Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. In: Mair, P. (ed.) *The West European Party System*. Oxford: Oxford University Press. pp. 91–111.

2. Lasarsfeld, P.F., Berelson, B.R. & Gaudet, H. (1948) *The People's Choice. How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign*. New York: Columbia University Press.

3. Campbell, A., Gurin, G. & Miller, W.E. (1954) *The Voter Decides*. New York: Row, Peterson and Company.

4. Ingkhardt, R. (1997) Postmodern: menyayushchiesya tsennosti i izmenyayushchiesya obshchestva [Postmodern: changing values and changing societies]. *Politicheskkiye issledovaniya – Political Studies*. 4. pp. 6–32.

5. Robertson, G.B. (2011) *The Politics of Protest in Hybrid Regimes. Managing Dissent in Post-Communist Russia*. Cambridge University Press.
6. Diamond, L.J. (2002) Thinking About Hybrid Regimes. *Journal of Democracy*. 13(2). pp. 21–35. DOI: 10.1353/jod.2002.0025
7. Frombgen, E. (2007) Economic Autonomy and Democracy: Hybrid Regimes in Russia and Kyrgyzstan. *Perspectives on Politics*. 5. pp. 666–668. DOI: 10.1017/S1537592707072040
8. Case, W. (2005) Southeast Asia's Hybrid Regimes: When Do Voters Change Them? *Journal of East Asian Studies*. 5(2). pp. 215–237. DOI: 10.1017/S1598240800005750
9. Slater, D. (2011). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. By Steven Levitsky and Lucan A. Way. New York: Cambridge University Press, 2010. *Perspectives on Politics*. 9(2). pp. 385–388. DOI: 10.1017/S1537592711000442
10. Matsusaka, J.G. (1995) *Public Choice*. University of Southern California, Los Angeles: Kluwer Academic Publishers. p. 91–117.
11. Matsusaka, J.G. & McCarty, N.M. (2001) Political Resource Allocation: Benefits and Costs of Voter Initiatives. *Journal of Law, Economics and Organization*. 17(2). pp. 413–448. DOI: 10.1093/jleo/17.2.413
12. Franko, W.W., Kelly, N.J. & Witko, C. (2016) Class Bias in Voter Turnout, Representation, and Income Inequality. *Perspectives on Politics*. 14(2). pp. 351–368. DOI: 10.1017/S1537592716000062
13. Sorensen, R.J. (2014) The Impact of State Television on Voter Turnout. *British Journal of Political Science*. 4. pp. 1–22. DOI: 10.1017/S000712341600048X
14. Granovetter, M. (1983) The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. *Sociological Theory*. 1. pp. 201–233. DOI: 10.2307/202051
15. Lazer, D., Rubineau, B., Chetkovich, C., Katz, N. & Neblo, M. (2010) The Coevolution of Networks and Political Attitudes. *Political Communication*. 27(3). pp. 248–274. DOI: 10.1080/10584609.2010.500187
16. Morozova, O.S. (2013) Absenteizm kak tip elektoral'nogo povedeniya [Absenteeism as a type of electoral behaviour]. *Kul'tura i obrazovaniye – Culture and Education*. 2.
17. Busheneva, Yu.I. (2007) *Absenteizm kak faktor izbiratel'nogo protsesssa v sovremennoy Rossii* [Absenteeism as a factor of the electoral process in modern Russia]. Political Science Cand. Diss. St. Petersburg.
18. Anisimova, O.V. (2009) Socio-psychological analysis of the problem of absenteeism. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Nov. ser. Ser. Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya – Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Educational Acmeology. Developmental Psychology*. 1. [Online] Available from: <http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskii-analiz-problemy-absenteizma>. (Accessed: 20th April 2017).
19. Gudina, Yu.V. (2003) Aktivnost' rossiyskikh izbirateley: teoreticheskiye modeli i praktika [Activity of Russian voters: theoretical models and practice]. *Politicheskiye issledovaniya – Political Studies*. 1. pp. 112–123.
20. Grishin, N.V. (2013) Electoral system as institute of interest articulation. *Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kul'tura – The Caspian Region: Politics, Economics, Culture*. 2. pp. 42–47. (In Russian).
21. Ashkerov, A.Yu. (2009) *Ekspertokratiya: upravleniye znaniyami. Proizvodstvo i obrashcheniye informatsii v epokhu ul'trakapitalizma* [Expertocracy: knowledge management. The production and circulation of information in the era of ultra-capitalism]. Moscow: Evropa.

УДК 323.3

DOI: 10.17223/1998863X/43/17

В.С. Мартьянов

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ ПОЗДНЕГО КАПИТАЛИЗМА: ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАССОВ К РЕНТООРИЕНТИРОВАННЫМ МЕНЬШИНСТВАМ¹

Исторически капитализм прошел путь от либеральной утопии до консьюмеристских политических технологий, обнаруживших глобальное исчерпание ресурса рынка для смягчения остроты политических конфликтов. Усиливающиеся нерыночные группы в ситуации нисходящей социальной мобильности все чаще прибегают к рентоориентированным стратегиям. Однако в условиях кризиса рынка эти партикулярные стратегии не разрешают, но лишь временно компенсируют нарастающие в позднемодерном обществе политические конфликты.

Ключевые слова: меньшинство, мирополитика, политический субъект, прекариат, рентоориентированное поведение.

Эволюция капитализма: от либеральной утопии к консьюмеристским технологиям

Эволюция капитализма от политической утопии *третьего сословия* к массовому потребительскому консьюмеризму в его глобальной версии обусловила закономерную трансформацию состава политических субъектов. Модерные идеологии обнаруживают нарастающий разрыв между реальностью и ее вариативным восприятием дифференцированными социальными группами, претендующими на экстраполяцию своего классового сознания на общество как таковое. Модерное общество как постоянный конфликт *интерпретативных сообществ* в качестве базового условия своего существования предполагает обобщение или *тотализацию* политического порядка в структурах группового опыта. Эти структуры группового опыта фиксируются политическими идеологиями, воссоздавая карту сложносоставного общества, конструируя его целостность, тотальность, даже если полученные *когнитивные координаты* общества признаются другими коллективными интерпретаторами искаженными, субъективными и партикулярными версиями. Здесь впервые целенаправленное создание идеологий и утопий как способа коллективного *когнитивного картографирования* позволяет обозначить субъектность и идентичность класса через выявление и представление его социальных координат. Фактически классы создаются через осмысление идеологии как текущих коллективных интересов и утопии как образа будущего.

И наоборот, транслируемые элитами теории модернизации выступают в виде попыток убрать классовое содержание из политики, оставив лишь экономический детерминизм всеобщих закономерностей. Однако их более вни-

¹ Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ №18-011-00088 «Политический порядок современных обществ в контексте рентной трансформации».

мательное изучение показывает, что теории модернизации и транзита являются паллиативом классовых идеологий. Они существуют не для того, чтобы *понять* общества, в отношении которых они применяются, но с тем, чтобы сделать их похожими на другие общества, выступающие в качестве *целевого образца*. Поэтому обманчиво нейтральная идея модерности, представленная в виде неолиберальной концепции модернизации, указывает на интеллектуальный тупик, на отсутствие у капитализма каких-либо выходящих за рамки методологического индивидуализма *homo economicus* социальных, политических или культурных смыслов, позволяющих удерживать общество от перманентного распада [1. С. 104–107]. Капитализм как саморегулируемый рынок оказался неспособен к сложной социальной регуляции коллективного поведения, связанной не только с частными выгодами, но и с моральной стимуляцией поведения, основанного на долге перед другими людьми в условиях, когда эти частные выгоды не работают или оказываются недостаточными в ситуации их множественного конфликта.

Исторически интенсификация капитализма помогала снижать остроту порождаемых им внутренних противоречий современного общества за счет экономического роста, технического прогресса и постмодернистских культурных технологий дисциплинарного контроля. Поздний капитализм постоянно коммодифицирует человеческие желания и удовольствия, отчуждая и превращая их в товар [2]. Развивая культурную индустрию, капитализм закономерно приходит к пределу эксплуатации самой человеческой природы, ее включению в политические *практики лояльности* и прибыльную индустрию *культуры досуга*. Ф. Джеймисон подмечает гендерный поворот позднего капитализма, когда в центре внимания культурной индустрии капитализма неизбежно оказываются женское тело и его потребности, так как именно женщины являются доминирующими потребителями/покупателями массовых товаров. Удовольствие, лежащее в основе потребления, в политике может использоваться всеми идеологическими субъектами: не только для революции, освобождающей наши желания, несущей новые удовольствия, но и для сохранения актуального политического порядка, когда концепция общества потребления позволяет сублимировать революционные порывы в потребительские инстинкты. В частности, постоянная двойственность гедонизма/пуританства революционных левых, отмечаемая Ф. Джемисоном, означает, что конечной монополии на регуляцию удовольствия ни у кого из политических субъектов нет [Там же. С. 4]. Левые в качестве *альтернативы рынку* до сих пор могли предложить лишь такую инстанцию контроля, как *партия* или *государство*. Это, возможно, лучше традиционной религиозной регуляции консерваторов, но в то же время не является оригинальной социальной инновацией. В подобных альтернативах дисциплинарный контроль будет осуществляться не рынком, но религией или партией-государством, что не дает явного преимущества, судя по советскому дисциплинарному опыту политической сублимации. Поэтому умеренные левые, например социал-демократы, вполне вписываются в исходный либеральный консенсус ключевых современных идеологий (либерализм, консерватизм, социализм), легитимирующий капитализм и институционально оформленный как компромисс наций-государств и глобальной мирэкономике.

В результате идейные варианты освобождения граждан от недостижимого нормативного порядка *потребительского рая* позднего капитализма предлагают только радикальные левые, анархисты, отчасти коммунитаристы, которые не жалуется ни капитализм, ни государство, ни религию. Здесь же закономерно возникает другой вопрос – как институционально возможно не прошлое, к которому нет возврата, но будущее некапиталистическое общество, что его будет скреплять в качестве социальных регуляторов? В области культурного доминирования и *мягкой силы* дух позднего капитализма уже пронизан эклектизацией и смешением всего предшествующего ценностного наследия и почти не порождает принципиально нового. На фоне подобных слабых альтернатив есть один сильный практический довод в пользу самого позднего капитализма, стоящий всех других, – никогда еще большинство людей в истории не обладали такими потенциальными возможностями и такой индивидуальной свободой, как в нынешних условиях. А стремление/желание индивидов и социальных групп воспользоваться этой свободой, в том числе вопреки культурной логике позднего капитализма, – это уже совсем другой вопрос. И здесь левые, безусловно, проигрывают буржуазии борьбу за интерпретацию природы человека, за нормативные представления об удовольствии и смысле жизни. Конечно, можно говорить, что любое частное удовольствие можно политизировать и сделать достоянием больших социальных групп через его символизацию посредством *утопического*. Проблема в том, что для этого уже нужно иметь *Утопию* как метанарратив, как универсальный политический проект. Иначе любые *революционные ситуации* и вызовы не попадут в требуемый утопический контекст за его отсутствием, не станут действительными альтернативами настоящему. А с производством новых утопий и у левых, и у правых в настоящее время наблюдается явный кризис, свидетельствующий о безальтернативности позднекапиталистического модерна. Институционально кризис выражается в спаде традиционных форм политического участия, прямого представительства и активизма граждан – падением численности политических партий, сокращением охвата работающих профсоюзам, постоянным снижением явки избирателей на выборы, сжатием публичной активности граждан и ее замещением виртуальными сетями и т.д. [З. С. 76].

Указанная безальтернативность негативным образом влияет на нисходящую политическую субъектность ключевых социальных групп общества, отражаемую постмодернистскими теориями. Постмодернизм характеризует усложнение и хаотизацию социальных, политических, культурных порядков, в которых становится все сложнее поддерживать общие, универсальные публичные пространства и ценностные иерархии, опирающиеся на гегемонию привычных для индустриального модерна экономических классов. Распад этих пространств и марксистских экономических классов на более мелкие социальные группы, объединяемые уже не столько общим положением на рынке, сколько более слабыми социальными связями, фундированными эфемерными стилями жизни, идентичностями, увлечениями, но также общими угрозами и страхами, обуславливает поиск новых форм организации политического порядка и принципов социальной стратификации. Малые группы со слабыми социальными связями, например креативный класс или сообщества социальных сетей, начинают обладать более эффективными идентичностями

и культурными кодами, чем все более размытые классы, лишаящиеся политической субъектности в условиях технологического замещения людей в производственных цепочках и общего ослабления свободного рынка как механизма распределения общественных ресурсов. Аналогичные процессы наблюдаются в области культурного воспроизводства социального порядка, когда постмодерн легитимирует параллельные символические логики и иерархии, а культура, открепляясь от реального, становится самореферентной системой. Как и в случае доминирования в экономике позднего капитализма виртуальных глобальных финансов, функционирование культурных логик и смыслов все сильнее теряет связь с действительностью. В результате в качестве агента политического действия начинает преобладать *шизофренический субъект*, утрачивающий способность к эффективной организации своих интересов в реальном пространстве истории, которое оказывается полностью заслоненным пространством культуры, симулирующей эту историю. Все действия шизофренических субъектов внутри не принадлежащих им кодов культуры, которую они принимают за реальность, оказываются действиями *символического порядка*, которые не ведут к изменению *реального* политического порядка.

Во многом это происходит потому, что шизофренический субъект постмодерна утрачивает способность воспринимать историческое время и мыслить исторически. Прошлое и будущее для него отодвигаются на смысловую периферию, а настоящее предстает как дискретное, прерывистое и в то же время неизменное состояние социума. В результате субъект утрачивает способность фиксировать общественные изменения во времени и создавать утопии, обращенные в будущее как альтернативу настоящему. Причем нечувствительность подобного субъекта к прошлому и будущему постмодернистами интерпретируется позитивно, как признак его свободы в настоящем, заслоняющем весь временной горизонт. Соответственно, шизофренический политический субъект не может производить утопии, поскольку у него нет желаний и надежд, придающих утопический импульс переменам. В условиях *постмодернизма как культурной логики позднего капитализма* время истории рассматривается не как несводимая к пространству альтернатива, а как ресурс, который можно конвертировать в другие ресурсы, имеющие место внутри пространства вечного настоящего [4]. В результате горизонты истории и утопии для политических субъектов исчезают, сознательно выводятся за методологические скобки, не позволяя создавать радикальные политические программы, предполагающие утопическое измерение [5].

Новая конфигурация политической субъектности: шизофренические субъекты и рентные группы

Таким образом, капитализм, поддерживая политический порядок позднего Модерна, преобразует бытие людей в герметичной культурной логике, в которой из области видимого выносятся регуляторы общественной и индивидуальной жизни, связанные с историей и утопиями. Представляется, что в позднемодерных обществах политические идеологии все менее будут детерминированы экономически, т.е. способом производства, так как политическая роль и рынка, и капитала, и труда начнет падать. И наоборот, будут возрастать культурная детерминация и обоснования групповых интересов, значение

социального статуса и социального капитала. Примеры этого сдвига можно видеть в бесконечном политическом восстании и/или реванше различных *меньшинств*, требующих доступа к распределению общественных ресурсов на основании различных символических логик, связанных, как правило, с воображаемыми неравенствами и ущемлением их прав в современных обществах [6. С. 59–62]. Однако это не более чем локальные и партикулярные логики *справедливого передела, ремонта* или *лечения социокультурной травмы* позднекапиталистического общества, принципиальных альтернатив которому никто из этих меньшинств не выдвигает.

В подобной ситуации, возвращение политической субъектности может быть только революционным, связанным с преодолением усугубляющегося кризиса рыночного капитализма и как способа распределения общественных ресурсов, и как основания легитимации современного политического порядка. Любая революция реализует структурные возможности общества, к которым оно уже готово, но при этом продолжает мыслить себя соотношениями привычных социальных групп, чья конфигурация и взаимоотношения испытывают все большие деформации. В настоящее время можно отметить несколько глобальных фоновых сдвигов, которые ведут к преобразованию субъектов позднекапиталистического общества. Во-первых, это радикализация неравенства как внутри обществ, так и между ними, связанная с отказом от модели социального государства, преобладавшей в *славное тридцатилетие* (1945–1975) [7. С. 270–272]. Причем классовые факторы неравенства в условиях глобального мира начинают уступать доминирующее положение географическим [8]. Во-вторых, медленная, но неуклонная утрата рынком доминирующих позиций в области социальной стратификации, которая все сильнее компенсируется возвратом регулятивной роли государства. Эта утрата обусловлена прогнозами о глобальной приостановке экономического роста к середине – концу XXI в. Экономический рост, наблюдавшийся в человеческой истории лишь последние 200 лет, стал восприниматься как *естественная и неизменная норма*, служившая *панaceей* при разрешении накапливающихся в обществе конфликтов. Однако в ближайшем будущем ресурс экономического роста, связанная с ним модель социального государства и рынка труда, которым предписано вечно расширяться, оказываются предельно уязвимы. Наконец, в-третьих, вследствие неуклонного исключения человека из автоматизированных и роботизированных производственных процессов наблюдается мировой рост безработицы, расширение прослойки *лишних людей* и прекариата как нового класса, которого не устраивает сложившийся политический порядок, оставляющий их без возможностей к достойному существованию, когда традиционные рынки труда сокращаются, а новые просто не появляются [9. С. 123–124].

В условиях структурного кризиса свободного рынка, сокращения политического влияния *людей труда* и падения прибылей с капитала расширяющейся стратегией практически всех политических субъектов становится *рентоориентированное поведение*, связанное с *политическим доступом* к тем или иным ресурсам. Эти ресурсы все менее связаны со способностью граждан к труду, рыночными инвестициями или востребованностью на рынке. И все чаще с доступом к власти, государством и местом социальных групп в сложившихся иерархиях раздач и привилегий вне зависимости от классифи-

кации конкретных обществ как демократических/недемократических, рыночных/нерыночных. Указанная тенденция описывается в нормативном дискурсе рыночно-демократической модернизации как *архаизация* общества, возврат к рентно-сословному политическому порядку, описываемому с помощью метафор неопатримониализма и неофеодализма [10. С. 200–214]. Тем не менее рентоориентированное поведение, описываемое нормативными неолиберальными теориями как поведение паразитическое, характерное для *больных, отсталых и отклоняющихся обществ*, все чаще обретает признаки доминирующей политической стратегии государств, корпораций и граждан, в том числе в рыночных и демократических сообществах, образующих ядро мировой экономики, где условием рента доступа к достойному социальному пакету становится сам факт наличия/отсутствия гражданства.

В подобной перспективе на смену свободным рынкам приходит глобальная рентно-распределительная модель, где политические факторы стратификации общества вновь выходят на первый план, вытесняя доминирование рынка. Все большее число социальных групп превращается в заложников рента доступа, теряя иные источники существования, в то время как рынок упраздняет сам себя, отодвигаясь на периферию обменов ресурсами и превращаясь в государственно-рентный капитализм. В такой конфигурации экономика неизбежно обращается в производное от политического порядка, связанного с новыми политическими конфигурациями субъектов, распределяющих ресурсы на внеэкономических основаниях.

Рентоориентированная стратегия *лишних* социальных групп не гарантирует им постоянный успех. Она будет сохранять силу до тех пор, пока культурная логика доступа к ренте будет срабатывать при обосновании их рента прав в виде компенсации всевозможных исторических, экономических или просто воображаемых (символических) лишений. Поскольку расширяющийся прекариат является продуктом распада экономических классов индустриального капитализма, прежде всего рабочего класса, он представляет собой не столько новый политический *класс для себя*, сколько набор разнообразных социальных групп, меньшинств, объединенных *нисходящей тенденцией социальной мобильности*. При этом общность положения в качестве обделенных глобальным капитализмом общностей может сочетаться с частными противоречиями указанных прекариатных групп. В особенности когда речь идет о конкуренции за рента ресурсы. Политической консолидации этих групп на классово-идеологической основе вокруг общих долгосрочных интересов препятствует шизофреничность политического мышления, обусловленная постмодернистской потребительской культурой. Эта культура производит смысловые акценты на разнообразных различиях, разрывах, деконструкции и конфликтах, когда политические логики локальности и партикулярности не позволяют организовать эффективное коллективное политическое действие.

Закономерно, что в условиях доминирования символических логик распада и новой сословности базой для ключевого политического конфликта ближайшего будущего может стать ситуация, в которой культурные и идеологические манипуляции, связанные с обоснованием политического права на ренту и рентоориентированным поведением, будут расширяться на все большее число социальных групп, становясь в итоге доминирующей стратегией

большинства. Однако указанная перспектива резко снижает общую эффективность рентоориентированных стратегий, апеллирующих к государству, и радикализирует все имеющиеся, в том числе *снящие* политические противоречия, разрешать которые путем точечных рентных раздач и доступов будет все сложнее. Отдельная проблема состоит в том, что всеобщность рентоориентированного поведения размывает консолидирующие политические институты нации-государства и способы разрешения внутренних конфликтов, связанные с территориальным суверенитетом, выборными процедурами, классовыми компромиссами и механизмами выработки общественного согласия посредством модели социального государства [11. С. 114–116].

Соответственно силовые линии господствующих политических конфликтов и разломов будут неизбежно связаны с инфраструктурным контролем/участием на разных уровнях отдельных социальных групп и государств в качестве субъектов распределения мировых ресурсных потоков; дифференцированным изменением принципов доступа граждан и их групп к общественным ресурсам; правами на политическую ренту и исключением в первую очередь *не-граждан* из указанного рентного доступа: «Самые важные сражения... развернутся не в воздушном пространстве и не на суше, полем битвы станет взаимосвязанная инфраструктура мировой экономики, а результатом нарушение торговых и инвестиционных потоков, международного права, интернета, транспортных связей и движения людей... взаимозависимость, некогда восхваляемая как препятствие для конфликта, превратилась в способ использования силы, поскольку страны стараются эксплуатировать асимметрию в отношениях друг с другом» [12].

Представляется, что указанный выше конкурентный сценарий является заведомо тупиковым, связанным с постоянным переделом ресурсов в пользу новых политических гегемонов. Выходом может стать глобальный переход к мирополитике, которая не является функциональным продолжением капиталистической мироэкономики, но позволяет выстроить мировую политическую систему на более эгалитарных и коммунитаристских началах, не подчиняющихся коммодифицирующей центр-периферийной логике капитализма [13. С. 85–86]. Подобная реморализация коллективных политических решений позволяет осознать более долгосрочные цели и вызовы, стоящие перед человечеством. Это способ консолидировать его на альтернативных ценностных основаниях по сравнению с таким историческим явлением, как капитализм, породившим большинство современных общественных противоречий. Осложняет этот переход архаическая ограниченность доминирующих субъектов мировой политики политической формой государства и логикой развертывания его партикулярных интересов во взаимодействии с другими государствами, в то время как капиталистическая мироэкономика давно является транснациональной [14. С. 47–48]. Поэтому надстройка мироэкономики до мирополитики, осуществляемой в интересах всего человечества, предполагает объективное усиление возможностей политических субъектов, выходящих в своей целерациональной деятельности за пределы выгод и издержек отдельных национальных сообществ.

Наконец, фундаментальной проблемой является то, что борьба за ренту становится ключевым политическим взаимодействием внутри позднемодерного общества. Это соперничество разнообразных меньшинств за *справедли-*

вое перераспределение ресурсов и технические изменения институционального политического дизайна не затрагивает самой системы идеологических координат позднего капитализма и модерна, остающихся неизменными. В результате цели и изменения, которых добиваются шизофренические субъекты, остаются довольно поверхностными. Эти изменения не разрешают, а лишь усугубляют и маскируют противоречия социальной структуры позднемодерного общества. Нерешаемые конфликты лишь *компенсируются* рентными раздачами без устранения порождающих их структурных причин. В результате поздний модерн остается глобально безальтернативным проектом, устраивающим *большинство* человечества даже в условиях прекращения видимого поступательного улучшения их жизненных условий. Терпимость к этому проекту прямо обусловлена отсутствием: а) горизонта утопий; б) исторической перспективы; в) ослаблением группового, классового самосознания новых социальных групп и их представлений о политической повседневности.

Возврат политической субъектности в позднемодерном обществе будет прямо связан с воскрешением истории, утопий и превращением разрозненных групп прекариата в новый политической *класс для себя*, когда ухудшающиеся жизненные перспективы и закрытие разнообразных возможностей для самореализации побудят его к коллективному политическому действию во имя общего будущего и прогресса для всех. Это действие будет ориентировано не на популистский дискурс *восстановления справедливости*, но на пересмотр системы идеологических координат политического проекта позднего (глобального) модерна в пользу его альтернатив, когда господство шизофренической потребительской культуры, на котором основана легитимация существующего политического порядка, будет поколеблено новыми историческими, технологическими, экологическими и иными вызовами человечеству. И тогда шизофреническое сознание рентных групп и сословий, укрепляющихся в том числе в силу объективных экономических тенденций *общества без массового труда и экономического роста*, получит шанс вернуться в реальность. В мир, в котором ветер истории сорвет с их глаз временную завесу постмодернистской культуры и вернет новым прекариям настоящую политическую субъектность как способность к классовой тотализации политического.

Литература

1. Мартьянов В.С. Политические пределы homo economicus // Общественные науки и современность. 2017. № 2. С. 104–118.
2. Джеймисон Ф. Удовольствие: политический вопрос // Логос. 2015. № 1. С. 1–22.
3. Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. 96 с.
4. Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham : Duke University Press, 1992. 461 p.
5. Jameson F. The Politics of Utopia [Electronic resource] // Libcom.org : site. Electronic data. Oct. 7. 2010. URL: <http://libcom.org/library/politics-utopia-frederic-jameson> (access date: 25.09.2017).
6. Фишман Л.Г. Популизм – это надолго // Полис. Политические исследования. 2017. № 3. С. 55–70.
7. Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М. : Ад Маргинем, 2016. 592 с.
8. Миланович Б. Глобальное неравенство : Новый подход для эпохи глобализации. М. : Изд. Инст. Гайдара, 2017. 460 с.

9. Фишман Л.Г. Закат «общества труда»: современная идеологическая констелляция // Полития. 2016. № 3. С. 116–129.

10. Россия в поисках идеологий / под ред. В.С. Мартьянова, Л.Г. Фишмана. М. : Полит. энцикл., 2016. 334 с.

11. Панкевич Н.В. Логика коллективных политических действий в условиях глобализации // Вестник НГУ. Серия: Философия. 2012. Т. 10, № 3. С. 114–119.

12. Леонард М. Взаимосвязь как оружие [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике : сайт. Электрон. дан. М., 2016. URL: <http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Vzaimosvyaz-kak-oguzhie-17963> (дата обращения: 25.09.2017).

13. Мартьянов В.С. Глобальный Модерн: от мироэкономики к мирополитике // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 80–89.

14. Вахрушева Е.А. Критика глобализации и антиглобалистские стратегии Фредерика Джеймсона // Полития. 2016. № 1. С. 43–53.

Viktor S. Martianov, Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: martianov@instlaw.uran.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 181–190.

DOI: 10.17223/1998863X/43/17

POLITICAL SUBJECTS OF LATE CAPITALISM: FROM ECONOMIC CLASSES TO RENT-SEEKING MINORITIES

Keywords: minority; world-politics; political subject; precariat; rent-seeking.

Capitalism has evolved from a liberal utopia to consumer technology, in which commodification reaches its limits penetrating into all spheres of social life. Historical intensification and expansion of autonomous markets helped to resolve structural contradictions of modern society at the expense of economic growth, technological progress and modern cultural technologies of disciplinary control. Under late capitalism, all these sources are close to exhaustion. The cultural and political order of late capitalism leads to a situation when the schizophrenic subject begins to predominate as a mass agent of political action. This agent loses its ability to effectively organise its collective (class) interests in the space of history, which becomes completely overshadowed by the space of culture that simulates history. The activity of schizophrenic subjects within the consumption culture codes, which they do not control, belongs to the symbolical order that does not lead to a change in the real political order. The weakening of the political subjectness of the new social groups is expressed in the fact that the local and private logic of the just redistribution, repair or treatment of the sociocultural trauma of a late capitalist society starts to dominate in the public political field, while none of these subjects can offer any essential utopian alternative to this type of society. The fatalistic political tolerance for the project of the Late Modernity as the eternal present is directly determined by the absence of a) the horizon of utopias, b) the collective sense of historical perspective, and c) class identity of precariat minorities as successors of disintegrated market economic classes. Strengthening non-market social groups in the situation of a downward social trajectory are increasingly falling back on local rent-seeking strategies that do not resolve, but only temporarily compensate the growing structural political conflicts in late modern society. It is argued that the return of the real political subjectness of the majority can be connected with the resurrection of history, utopias and the transformation of separate precarious groups into a new political class. These goals imply the legitimisation of a new political order in which the market ceases to be a key factor of stratification.

Referenses

1. Martianov, V.S. (2017) The Political Limits of “Homo Economicus”. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 2. pp. 104–118. (In Russian).

2. Jameson, F. (2015) Pleasure: A Political Issue. *Logos*. 25(1). pp. 1–22. (In Russian).

3. Ivanov, D.V. (2000) *Virtualizatsiya obshchestva* [Virtualisation of Society]. St. Petersburg: Peterburgskoye Vostokovedeniye.

4. Jameson, F. (1992) *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke University Press.

5. Jameson, F. *The Politics of Utopia*. [Online] Available from: <http://libcom.org/library/politics-utopia-frederic-jameson>. (Accessed: 25th September 2017).

6. Fishman, L.G. (2017) Populism Will Be Long Lasting. *Polis. Politicheskiye issledovaniya – Polis. Political Studies*. 3. pp. 55–70. (In Russian). DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.04>
7. Piketti, T. (2016) *Kapital v XXI veke* [Capital in the 21st Century]. Translated from English by A.A. Dunaev. Moscow: Ad Marginem.
8. Milanovich, B. (2017) *Global'noye neravenstvo. Novyy podkhod dlya epokhi globalizatsii* [Global Inequality. A New Approach for the Era of Globalization]. Moscow: Gaidar Institute.
9. Fishman, L.G. (2016) Decline of “Work Society”: Current Ideological Constellation. *Politiya – Politeia*. 3. pp. 116–129. (In Russian).
10. Martianov, V.S & Fishman, L.G. (eds) (2016). *Rossiya v poiskakh ideologiy* [Russia in Search of Ideologies]. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya.
11. Pankevich, N.V. (2012) The logic of collective political action in the age of globalization. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya*. 10(3). pp. 114–119.
12. Leonard, M. (2016) *Vzaimosvyaz' kak oruzhiye* [The Relationship as a Weapon]. [Online] Available from: <http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Vzaimosvyaz-kak-oruzhie-17963>. (Accessed: 25th September 2017).
13. Martianov, V.S. (2012) Global Modern World: from World Economics to World Politics. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya – World Economy and International Relations*. 6. pp. 80–89. (In Russian).
14. Vakhrusheva, E.A. (2016) Criticism of globalization and Fredric Jameson’s anti-globalization strategies. *Politiya – Politeia*. 1. pp. 43–53. (In Russian).

УДК 321.022

DOI: 10.17223/1998863X/43/18

Е.В. Матвеева, А.А. Митин, А.В. Алагоз

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Анализируется процесс дальнейшего развития в политической динамике региональных институтов общественного контроля, представленных общественными советами при органах региональной власти и некоммерческими организациями, в том числе экспертно-аналитической направленности. На примере регионов Сибирского федерального округа (Новосибирская и Кемеровская области) рассматриваются современное состояние и проблемы развития институтов общественного контроля, предлагаются возможные варианты дальнейшего развития.

Ключевые слова: общественный контроль, общественные советы, гражданское общество, органы региональной и муниципальной власти.

В региональной политике все большее значение приобретает такое явление, как «общественный контроль». С одной стороны, идет процесс институционализации понятия «общественный контроль», что выражается в возрастании научного интереса к данному термину, его конкретизации с учетом дальнейшего формирования гражданского общества в Российской Федерации. С другой – формируется практика включения данного понятия в деятельность всего спектра общественных объединений и организаций начиная с Общественной палаты Российской Федерации и региональных Общественных палат субъектов Российской Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, общественных советов, созданных при исполнительных, законодательных и судебных органах власти, заканчивая деятельностью некоммерческих организаций, в частности экспертно-аналитической направленности. В научных исследованиях наиболее широко изучены практика деятельности, функции и полномочия общественных советов, осуществляющих свою работу в Центральном федеральном округе (например, в Москве и Санкт-Петербурге). При этом в силу территориальной удаленности от центральной части России и непродолжительного опыта развития практически не изученным остается опыт деятельности общественных советов в Сибирском федеральном округе.

Термин «общественный контроль» имеет длительную историю. При этом нередко в юридических нормах и научных исследованиях можно встретить смежные понятия, такие как «социальный контроль», «народный контроль», «демократический контроль», «гражданский контроль». Рассмотрим, как соотносятся данные понятия.

Первые попытки дать определение общественной активности относятся к советскому периоду нашей истории, когда в научный оборот вошло понятие «народный контроль» – государственные структуры с элементами общественного участия наиболее активных граждан, представителей различных

групп общества. В «народный контроль» был преобразован существовавший в 1960-х гг. партийно-государственный контроль. Институт народного контроля в первую очередь подчёркивал возможности народа контролировать выполнение управленческих решений в стране. При осуществлении контроля реализовывалась борьба с нарушениями дисциплины и требований законодательства, что предполагало наложение на виновных должностных лиц взысканий, отстранение их от занимаемых должностей при срыве выполнения решений партии, правительства и пр. [1. С. 147].

Деятельность субъектов народного контроля в лице комитетов народного контроля разного уровня управления (союзных республик, краев, областей, автономных округов, районные, городские, сельские и др.) сочетала элементы государственного и общественного контроля. К их деятельности привлекались представители общественных организаций, рабочие, колхозники, служащие, деятели науки и культуры, что обеспечивало всеобщность и системность в проведении соответствующих мероприятий.

В то же время в меньшей степени в советский период применялся в научных исследованиях такой термин, как «социальный контроль». По содержанию он повторял ключевые составляющие «народного контроля». Так, под «социальным контролем» понималась совокупность норм, институтов и отношений, направленных на обеспечение людей в соответствии с интересами класса и общества в целом посредством деятельности общественных институтов при помощи государственного аппарата.

Из-за отсутствия разделения на государственный и общественный контроль порой искажался смысл рассмотренных понятий. В результате происходило отождествление общественного контроля с такими явлениями, как социальный контроль и народный контроль.

В условиях развития демократических процессов термин «народный контроль» был практически полностью вытеснен понятием «демократический контроль», последний, в свою очередь, стал включать в себя более широкое понимание общественного участия в политике и предполагал такие формы выражения общественного мнения, как выборы и референдум. На данный момент, по мнению авторов статьи, находят применение оба термина – «демократический контроль» и «общественный контроль», каждый из которых отличается по субъектно-объектной деятельности, формам выражения и в конечном итоге по ожидаемым результатам.

По мнению А.А. Гончарова, в российской общественно-политической жизни применяется еще один термин – «гражданский контроль», который является тождественным понятию «общественный контроль». Сходство понятий обусловлено развитием идеи гражданского общества, институтами которого выступают общественные объединения, некоммерческие организации, отдельные граждане, являющиеся субъектами как общественного, так и гражданского контроля [2. С. 13].

В отечественной науке наибольший вклад в изучение феномена «общественный контроль» внесли ученые-юристы (В.П. Беляева, С.М. Зубарев, О.С. Забралова, С.Н. Кулешова и др.). Так, О.С. Забралова характеризует данный феномен как «деятельность институтов гражданского общества по проверке соблюдения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов, а также устранение выявленных нарушений посредством

обращения как в уполномоченные на то органы публичной власти, так и через общественное мнение» [3. С. 41].

Наиболее близкую к политическому пониманию трактовку термина «общественный контроль» дает С.Н. Кулешова. По мнению С.Н. Кулешовой, общественный контроль – это «негосударственный контроль общественных объединений и отдельных граждан (т.е. субъектов, не наделенных государственно-властными полномочиями) за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц» [4. С. 21].

По мнению авторов, «общественный контроль» в рамках политической науки следует рассматривать как формирующийся общественный механизм, направленный на осуществление контроля со стороны гражданского общества над органами федеральной и в большей степени региональной и муниципальной власти путем включения представителей общественности, некоммерческих организаций и экспертного сообщества в институты общественного контроля (общественные советы при департаментах, региональных органах законодательной власти, органах внутренней безопасности), а также деятельность региональных некоммерческих организаций (экспертно-аналитических структур, социально ориентированных организаций и т.д.) [5]. В то же время термин «общественный контроль» является наиболее общим понятием, позволяющим учитывать специфику таких терминов, как «демократический контроль» и «гражданский контроль».

Нормативно-правовые основы формирования понятия «общественный контроль» имеют длительную историю и сегодня представлены рядом законов, в числе которых Земельный кодекс РФ (2001), Уголовный кодекс РФ (1996), ФЗ «Об общественных объединениях» (1995), Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (2014). Однако на протяжении долгого времени основным законом, регламентирующим деятельность общественных объединений, являлся Федеральный закон 1995 г. «Об общественных объединениях».

Впервые идея создания общественных советов при органах исполнительной власти как совещательно-консультативных институтов, ориентированных на выстраивание сотрудничества с институтами гражданского общества, была изложена В.В. Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2005 г. На этом фоне были приняты такие нормативно-правовые акты, как Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32 «Об Общественной палате Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 г. № 481 «О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных служб и федеральных агентств, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации», Указ Президента РФ от 04.08.2006 г. № 842 «О порядке образования общественных советов при министерствах, службах, агентствах, руководство которыми осуществляет Президент РФ; при федеральных службах и агентствах, подведомственных министерствам».

Осуществление функций контроля регламентируется также следующими законодательными актами: Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» и др.

По мере реализации названных нормативно-правовых актов сфера распространения общественных советов была расширена: общественные советы появились при Министерстве внутренних дел РФ, при территориальных органах МВД РФ, при Министерстве юстиции РФ, при Министерстве финансов РФ и других органах власти.

Еще одним шагом на пути формирования концепции общественных советов стало подписание в 2011 г. Президентом РФ Указа № 120 «О Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека». Данный общественный институт является консультативным органом, образованным в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина; содействия развитию институтов гражданского общества в Российской Федерации; занимается созданием благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и расширения участия граждан в модернизации страны. Совет обладает полномочиями запрашивать и получать информацию от федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц.

Все вышеперечисленные нормативно-правовые акты подготовили основу для принятия 21 июля 2014 г. Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в котором впервые появляется определение общественного контроля. Под общественным контролем понимается «деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений» [6]. При этом к субъектам общественного контроля были отнесены: Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при законодательных и исполнительных органах государственной власти. При необходимости могут создаваться иные формы, в том числе общественные инспекции, группы общественного контроля или иные организационные структуры общественного контроля.

Согласно данному закону граждане вправе участвовать в принятии политических решений, контролировать эффективность и качество предоставле-

ния государственных услуг. Факты нарушений, выявленные посредством контроля за деятельностью сотрудников ЖКХ, образовательных организаций, учреждений культуры и т.д., должны в обязательном порядке по факту проверок быть предоставлены общественности. В подотчётность к субъектам общественного контроля отнесены и сфера государственных закупок, а также право защиты граждан в суде [7].

Независимо от места, времени создания и специфики сформировавшихся моделей регионального политического развития общественный контроль в работе общественных советов находит выражение в использовании определенных форм, основными из которых выступают общественный мониторинг и общественная проверка [8. С. 58].

Общественный мониторинг направлен на выявление нарушений, которые могут иметь место при осуществлении полномочий органами исполнительной и законодательной власти. Такая форма контроля может осуществляться региональными общественными палатами субъектов Российской Федерации, общественными советами при исполнительных органах власти субъектов Российской Федерации, общественными наблюдательными комиссиями, общественными инспекциями, некоммерческими организациями.

Общественная проверка – это еще один механизм общественного контроля, включающий совокупность действий субъекта общественного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций (согласно ст. 20 ФЗ РФ «Об основах общественного контроля Российской Федерации»). Наряду с этим применяется практика проведения общественной экспертизы, общественного осуждения и общественных (публичных) слушаний.

Рассмотрим современное состояние и проблемы в осуществлении общественного контроля в работе общественных советов на примере двух регионов Сибирского федерального округа – Кемеровской и Новосибирской областей. При проведении исследования учитывались данные, представленные на официальных сайтах органов региональной и муниципальной власти Новосибирской и Кемеровской областей, Общественной палаты Кемеровской области, Общественной палаты Новосибирской области, некоммерческих организаций (Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив»), результаты проведенных исследований Межрегионального фонда социально-экономических и общественно-политических исследований «Сибирская политика» (далее Фонд «Сибирская политика»).

В Новосибирской области первые общественные советы в муниципальных и государственных органах власти появились более 10 лет назад в 2004 г., однако фактически их деятельность носила декларативный характер. В 2012 г. в Новосибирске были зафиксированы первые попытки создания независимых советов, которые были своего рода актом протеста и предвосхищали естественный процесс консолидации усилий общества на пути реали-

зации и защиты интересов граждан. В 2013 г. в Новосибирске заработало первое общественное объединение НКО – Координационный совет в защиту общественной нравственности и традиционных семейных ценностей.

Согласно Указу Президента России от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» общественные советы при органах государственной власти должны были создаваться при обязательном участии Общественных палат субъектов Российской Федерации. Не стала исключением и Новосибирская область.

Как уже было отмечено, Новосибирская область имела большой опыт по формированию общественных советов, однако требовалось найти новые механизмы по совершенствованию формирования и работы данного института. Знаковым событием в этом направлении становится проведение 14 июля 2016 г. заседания Совета Общественной палаты Новосибирской области, на котором было объявлено о завершении процесса формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти. По словам председателя правления НРОО Общероссийской общественной организации «Общество «Знание», сопредседателя Общественной палаты Новосибирской области Г. Гридневой, «процесс формирования общественных советов полностью завершён в 26 исполнительных органах государственной власти из 32, на заключительных стадиях формирования находятся четыре... Наша дальнейшая задача – координация работы советов. В рамках специальной рабочей группы необходимо создать диалоговую площадку для обмена опытом и организации мониторинга деятельности советов. В состав группы должны войти как представители Правительства и члены общественных советов, так и представители Законодательного собрания региона [9].

Определённые изменения в работе общественных советов и в вопросе взаимодействия органов региональной власти и Общественной палаты Новосибирской области следует связывать с изменениями властной вертикали системы исполнительной власти в Новосибирской области. 6 октября 2017 г. временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области был назначен Андрей Александрович Травников. Уже 13 октября 2017 г. Андрей Александрович принял участие в пленарном заседании Общественной палаты региона, на котором изложил свое видение решения наиболее важных проблем региона при непосредственном участии в этом Общественной палаты Новосибирской области [10].

Кемеровская область стала одним из последних регионов, включившихся в процесс по созданию общественных советов. Только на конец 2016 г. в Кемеровской области приходится окончательное нормативно-правовое и организационное оформление подобных институтов (исключение составляют несколько общественных советов, созданных ранее, в том числе Общественный совет при Департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области). Законодательной базой сформированных общественных структур стали вышеупомянутый ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Закон Кемеровской области от 04.02.2016 № 3-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере осуществления общественного контроля в Кемеровской области», постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.09.2016 № 392 «О типовом положении об общественном совете при исполнительном органе государственной власти Кемеровской области».

Особенностью формирования общественных советов в Кемеровской области является активная роль в данном процессе Общественной палаты Кемеровской области, которая на 2016–2017 гг. занималась организацией и проведением конкурсов по отбору кандидатур в составы общественных советов, формирующихся при органах исполнительной и законодательной власти Кемеровской области. В настоящее время сформировано 13 общественных советов, в 15 завершается процедура формирования. На сегодняшний день общественные советы созданы при всех департаментах, определен их состав, ведется работа по выработке полномочий. По мнению председателя Общественного совета Кемеровской области И.Н. Рондик, «следует отметить активность и отзывчивость некоммерческих организаций, неравнодушных к созданию эффективной системы взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества, среди них и общественные объединения, и первичные профсоюзные организации, автономные некоммерческие организации, благотворительные фонды» [11].

Выступая региональной дискуссионной площадкой по выработке механизмов формирования гражданского общества в Кемеровской области, Общественная палата Кемеровской области уделяет внимание не только поиску оптимальных путей развития общественных советов, но и активно поддерживает социально ориентированные некоммерческие организации. При ее непосредственном участии, а также при поддержке со стороны администрации области и Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» (до 2016 г. Кузбасский центр «Инициатива») был создан в апреле 2012 г. Совет некоммерческих организаций Кузбасса. Консолидация деятельности региональных НКО в рамках недавно созданного Совета некоммерческих организаций Кузбасса позволяет в кратчайшие сроки решать вопросы персонального состава общественных советов с привлечением общественности.

Отметим также, что распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 марта 2017 г. № 127-р был утвержден Комплексный план мероприятий Кемеровской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2017–2020 годы (дорожная карта). Документ был разработан Департаментом социальной защиты населения Кемеровской области при участии со стороны Общественной палаты Кемеровской области и Ресурсного центра поддержки общественных инициатив.

В дорожной карте приведен перечень услуг, утверждены стандарты их предоставления, стоимость, сформирован реестр поставщиков услуг, куда могут войти НКО. По мнению И.Н. Рондик, «дорожная карта наладит коммуникационные отношения между государством и НКО, выведет их в единое поле конструктивной беседы... расширит информационный ресурс НКО. К сожалению, в Кемеровской области пока не принято постановление о Координационном совете по развитию деятельности в социальной сфере. Это одна из главных задач, над которой работает Общественная палата Кемеровской области» [12].

В 2016 г. Общественной палатой Кемеровской области был проведен мониторинг деятельности общественных советов, созданных при органах исполнительной власти, федеральных структур и муниципальных образований Кузбасса. Основными проблемами в работе общественных советов на данный момент являются: низкая мотивация членов совета к продуктивной деятельности, незначительный уровень ответственности членов совета, слабая организационная структура (сложно собрать членов совета при необходимости принятия срочных решений, нет регулярного участия всех членов совета), решения носят рекомендательный характер.

Общими особенностями деятельности общественных советов Новосибирской и Кемеровской областей выступают такие характеристики, как сроки полномочий (чаще всего от 1 года до 4 лет), состав участников и формы работы общественных советов. Состав участников советов условно можно разделить на две группы: профильные эксперты (представители учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, деятели культуры, спорта, служители церкви) и представители некоммерческих организаций регионального уровня. Основными формами работы являются: заседания президиума (или другого руководящего органа), заседания комиссий и рабочих групп. В работе получают все большее применение с привлечением представителей власти круглые столы, открытые дискуссии, конференции.

Одной из серьезных проблем практики функционирования данных общественных структур в Сибирском федеральном округе по-прежнему является практически полная подконтрольность органам власти и декларативный характер. Процесс создания подлинно независимых от органов федеральной и региональной власти структур – это задача, которая все больше осознается не только представителями общественности и экспертного сообщества, но и самой властью. Так, в марте 2017 г. на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент В.В. Путин назвал советы «управляемыми структурами».

По мнению экспертов, участвующих в работе данных институтов гражданского общества, основные проблемы, затормаживающие превращение общественных советов в полноправных участников политического процесса, следующие: советы создаются под себя властными структурами; продвижение представителями бизнеса, общественными организациями, СМИ собственных интересов; некоторые общественники состоят в нескольких советах одновременно, что снижает качество их работы; нередко председателями и членами советов являются сами чиновники; отсутствие реальных инструментов воздействия на власть (решение совета носит рекомендательный характер); отсутствие межведомственного взаимодействия общественных советов [13].

Рассмотрев особенности развития общественных советов в Кемеровской и Новосибирской областях, остановимся на еще одном институте общественного контроля – региональных экспертных организациях (НКО). В отличие от общественных советов экспертные структуры только начинают создаваться и функционировать в регионах Сибирского федерального округа. Данный процесс был обусловлен принятием Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с изменени-

ями и дополнениями от 04.11.2016 г.) и перечня показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

В апреле 2017 г. ведущими учеными и политиками Новосибирской и Кемеровской областей был создан фонд «Сибирская политика». Необходимость создания данной организации была обусловлена возрастающей потребностью государства в усилении эффективности работы органов региональной и муниципальной власти путем осуществления независимой оценки со стороны НКО и общественности. В 2017 г. фонд «Сибирская политика» занимался реализацией своего главного проекта – оценки уровня благополучности социально-экономического климата, общественно-политической обстановки и эффективности работы глав муниципальных образований Новосибирской и Кемеровской областей по итогам квартальной и годовой работы муниципалитетов. Основными критериями оценки работы глав муниципальных образований выступили: уровень поддержки со стороны населения; умение находить креативные решения в нестандартных ситуациях; проведение мероприятий по благоустройству территории муниципалитета; реализация программы по переселению из ветхого жилья, строительство нового жилья, предоставление квартир детям-сиротам; возведение в установленные сроки объектов социальной инфраструктуры, спортивных и культурных объектов; количество созданных в муниципалитете рабочих мест; выполнение плана по продвижению инвестиционных проектов; досрочное снятие полномочий или быстрый карьерный рост главы муниципалитета [14. С. 122].

Наряду с этим были проведены исследования по наиболее сложным вопросам социально-экономического развития регионов. В их числе исследование по выявлению общественных настроений по поводу работы органов внутренних дел в Кемеровской области, степени информированности жителей города Новосибирска о планах строительства нового ледового Дворца спорта, отношение к проблеме утилизации твёрдых бытовых отходов и возможному строительству мусороперерабатывающих заводов и т.д. [15].

Итак, для превращения общественных советов и некоммерческих организаций в эффективный институт гражданского общества и общественного контроля необходима дальнейшая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях, изменение принципов формирования состава общественных советов, а также понимание на региональном уровне значимости качественных изменений в принятии управленческих решений при непосредственном участии экспертного сообщества. Кроме того, результативность работы общественных советов, по нашему мнению, будет зависеть от унификаций как нормативно-правовых основ, так и институциональных форм деятельности общественных советов. Немаловажную роль в укреплении позиций региональных общественных советов будет играть прозрачность требований по формированию советов с учетом опыта работы и имеющихся профессиональных знаний общественников. В свою очередь, деятельность экспертных некоммерческих организаций способна усилить контрольные механизмы в оценке работы органов власти как самостоятельных общественных структур, так и путем консолидации усилий с другими региональными общественными институтами.

Литература

1. *Лапина А.И.* Общественный контроль и иные институты контроля общества за деятельностью органов государственной власти // Правовое государство: теория и практика. 2014. № 2. С. 144–148.
2. *Гончаров А.А.* Гражданский контроль над органами власти. М., 2010. 224 с.
3. *Огнева Е.А.* Общественный контроль в системе защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 232 с.
4. *Кулешова Н.Н.* О современном состоянии общественного контроля в России // Юридическая наука. 2011. № 2. С. 21–24.
5. *Матвеева Е.В., Левин А.А.* Неправительственные организации в современной России: к вопросу о политико-правовой трансформации // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 9. С. 38–42.
6. *Об основах общественного контроля в Российской Федерации* [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Электрон. дан. М., 2017. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809 (дата обращения: 04.11.2017).
7. *Орлова И.В., Соколова Т.Д.* Роль и функции общественных советов в повышении эффективности деятельности региональных органов государственной власти // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2017. Т. 17, № 1. С. 124–131.
8. *Климова О.В., Здоровцева А.А.* Общественный контроль как конституционно-правовой институт демократической модели современной России // Успехи современной науки. 2017. Т. 6, № 2. С. 57–63.
9. *В Новосибирской области* завершается процесс формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти [Электронный ресурс] // Правительство Новосибирской области : офиц. сайт. Электрон. дан. Новосибирск, 2016. URL: <http://www.nso.ru/news/21144> (дата обращения: 04.11.17).
10. *Врио губернатора* Новосибирской области выступил перед Общественной палатой [Электронный ресурс] // Континент Сибирь Online : сайт. Электрон. дан. Новосибирск, 2017. URL: <http://www.ksonline.ru/294245/vriio-gubernatora-vystupil-pered-op/> (дата обращения: 04.11.2017).
11. *14 апреля 2017 года* состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Кемеровской области и Совета некоммерческих организаций Кузбасса [Электронный ресурс] // Ресурсный центр поддержки общественных инициатив: Кемеровская региональная общественная организация : сайт. Электрон. дан. Кемерово, 2017. URL: <http://www.init-ke.ru/?act=thenews&id=2649> (дата обращения: 04.11.2017).
12. *В Кузбассе* создали дорожную карту для НКО, оказывающих социальные услуги [Электронный ресурс] // Агентство социальной информации: сайт. Электрон. дан. М., 2017. URL: <https://www.asi.org.ru/news/2017/02/16/vkuzbas-8/> (дата обращения: 04.01.2017).
13. *Наволоцкая А.В.* Общественные советы при власти: реальность или фейк? [Электронный ресурс] // ИнфоНарод.РФ : сайт. Электрон. дан. Новосибирск, 2017. URL: <http://infonarod.ru/info/obshchestvennye-sovety-pri-vlasti-realnost-ili-feyk> (дата обращения: 04.11.2017).
14. *Матвеева Е.В., Украинцев И.С.* Критерии и оценка эффективности работы института муниципальной власти в Кемеровской области (по результатам регионального исследования) // Инновационное развитие муниципальных образований: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Чита, 2017. С. 120–125.
15. *Фонд «Сибирская политика»* [Электронный ресурс] : сайт. Электрон. дан. Новосибирск, [б.г.]. URL: <http://сибирскаяполитика.рф/read/> (дата обращения: 04.11.2017).

Elena V. Matveeva, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation).

E-mail: mev.matveeva@yandex.ru

Aleksandr A. Mitin, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation).

E-mail: james_cold@mail.ru

Alisa V. Alagoz, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation).

E-mail: aliscristall@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 191–202.

DOI: 10.17223/1998863X/43/18

INSTITUTION OF PUBLIC CONTROL IN THE REGIONAL POLITICAL LANDSCAPE: CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT**Keywords:** public control; public councils; civil society; regional agencies and municipal authorities.

The aim of the study was to identify the peculiarities in the contemporary development of public control institutions in the regions of the Siberian Federal District, including public councils under government bodies, as well as non-governmental organisations. The study was based on the following types of sources: statistical data of official authorities, official websites of regional and municipal authorities of Novosibirsk and Kemerovo regions, the Public Chamber of Kemerovo Region, the Public Chamber of Novosibirsk Region, non-profit organisations (Kemerovo regional public organisation Resource Centre for Support of Public Initiatives and the Siberian Politics foundation), works of Russian researchers dealing with the problems of civil society and social control. The paper considers the concept of public control. While there are a number of related concepts such as “social control”, “people’s control”, “democratic control”, “civil control” used in scientific research, the authors hold that the concept “public control” most fully reflects the ongoing social processes, and it should be viewed as an emerging social mechanism aimed at exercising control by the civil society over the federal and, to a greater extent, regional and municipal authorities by including representatives of public, non-profit organisations and expert community in the institutions of public control, as well as in the activities of regional non-profit organisations. The paper analyses the normative legal acts that provided for the formation of regional public councils under the bodies of legislative and executive power. Today, the Public Chambers of Novosibirsk and Kemerovo regions are regional discussion platforms for the development of further mechanisms for civil society development with the participation of public councils, the Public Chambers are engaged in improving the mechanisms for selecting personnel and monitoring their activities. At the same time, certain problems remain, including almost complete oversight on the part of the authorities, lack of real tools for influencing the authorities, and others. Certain significance in the issue of exercising public control over the authorities should be given to non-profit regional expert organisations. The activities of non-profit organisations can strengthen monitoring mechanisms in assessing the work of government bodies. In addition, in order to transform public councils and non-profit organisations into an effective institution of civil society and public control, further work is needed to improve the regulatory and legal framework, change the principles for the formation of the composition of public councils; besides, a better understanding of the significance of qualitative changes in managerial decision-making with direct participation of expert community at the regional level is required.

References

1. Lapshina, A.I. (2014) Public control and other institutions of society control over the state bodies activities. *Pravovoye gosudarstvo: teoriya i praktika – The Rule of Law State: Theory and Practice*. 2. pp. 144–148.
2. Goncharov, A.A. (2010) *Grazhdanskiy kontrol' nad organami vlasti* [Civil Control Over Government Bodies]. Moscow: Ves' Mir.
3. Ogneva, E.A. (2015) *Obshchestvennyy kontrol' v sisteme zashchity prav i svobod cheloveka i grazhdanina v Rossiyskoy Federatsii: konstitutsionno-pravovoye issledovaniye* [Public control in the system of protection of human rights and freedoms of citizens and citizens in the Russian Federation: constitutional and legal research]. Law Cand. Diss. Moscow.
4. Kuleshova, N.N. (2011) *O sovremennom sostoyanii obshchestvennogo kontrolya v Rossii* [About the current state of public control in Russia]. *Yuridicheskaya nauka*. 2. pp. 21–24.
5. Matveyeva, E.V. & Levin, A.A. (2014) Non-governmental organization in modern Russia: the question of the political and legal transformation. *Gosudarstvennaya vlast' i mestnoye samoupravleniye – State Power and Local Self-government*. 9. pp. 38–42. (In Russian).
6. Russian Federation. (2017) *Ob osnovakh obshchestvennogo kontrolya v Rossiyskoy Federatsii: feder. zakon ot 21 iyulya 2014 g. № 212-FZ* [On the Basics of Public Control in the Russian Federation Federal Law No. 212-FZ of July 21, 2014]. [Online] Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809. (Accessed: 4th November 2017).
7. Orlova, I.V. & Sokolova, T.D. (2017) The role and functions of public councils in enhancing effectiveness of regional state authorities. *Vestnik RUDN. Seriya: Sotsiologiya – RUDN Journal of Sociology*. 17(1). pp. 124–131. (In Russian). DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-124-132

8. Klimova, O.V. & Zdorovtseva, A.A. (2017) Obshchestvennyy kontrol' kak konstitutsionno-pravovoy institut demokraticheskoy modeli sovremennoy Rossii [Public Control as a Constitutional-Legal Institute of the Democratic Model of Modern Russia]. *Uspekhi sovremennoy nauki – Modern Science Success*. 6(2). pp. 57–63.

9. Government of Novosibirsk Region. (2016) V Novosibirskoy oblasti zavershayetsya protsess formirovaniya obshchestvennykh sovetov pri ispolnitel'nykh organakh gosudarstvennoy vlasti [The process of forming public councils in the executive bodies of state power is being completed in Novosibirsk Region]. [Online] Available from: <http://www.nso.ru/news/21144>. (Accessed: 4th November 2017).

10. Korotich, S. (2017) Vrio gubernatora Novosibirskoy oblasti vystupil pered Obshchestvennoy palatoy [Provisional Governor of Novosibirsk Region addresses the Public Chamber]. [Online] Available from: <http://www.ksonline.ru/294245/vrio-gubernatora-vystupil-pered-op/>. (Accessed: 4th November 2017).

11. Kemerovo Resource Center for Support of Public Initiatives. (2017) 14 aprelya 2017 goda sostoyalos' rasshirennoye zasedaniye Soveta Obshchestvennoy palaty Kemerovskoy oblasti i Soveta nekommercheskikh organizatsiy Kuzbassa [An extended meeting of the Council of the Kemerovo Region Public Chamber and the Council of Kuzbass Non-profit Organizations was held on April 14, 2017]. [Online] Available from: <http://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=2649>. (Accessed: 4th November 2017).

12. Agency for Social Information. (2017) V Kuzbasse sozdali dorozhnyuyu kartu dlya NKO, okazyvayushchikh sotsial'nyye uslugi [Kuzbass created a roadmap for NGOs providing social services]. [Online] Available from: <https://www.asi.org.ru/news/2017/02/16/vkuzbas-8/>. (Accessed: 4th January 2017).

13. Navolotskaya, A.V. (2017) Obshchestvennyye sovety pri vlasti: real'nost' ili feyk? [Public councils in power: reality or fake?]. [Online] Available from: <http://infonarod.ru/info/obshchestvennye-sovety-pri-vlasti-realnost-ili-feyk>. (Accessed: 4th November 2017).

14. Matveyeva, E.V. & Ukraintsev, I.S. (2017) [Criteria and assessment of the effectiveness of the work of the Institute of Municipal Power in Kemerovo Region (based on the results of a regional study)]. *Innovatsionnoye razvitiye munitsipal'nykh obrazovaniy* [Innovative Development of Municipal Formations]. Proc. of the Fifth International Conference. Chita. pp. 120–125. (In Russian).

15. Sibirskayapolitika.rf. (n.d.) Fond "Sibirskaya politika" ["Siberian Policy" Fund]. [Online] Available from: <http://sibirskayapolitika.rf/read/>. (Accessed: 4th November 2017).

УДК 327.56

DOI: 10.17223/1998863X/43/19

А.С. Писарчик

ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГЛОБАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Анализируется положение Республики Беларусь в структуре глобального социально-политического пространства. Дано определение международной субъектности государства, выделены факторы, ее формирующие. Сделан вывод, что позиционирование государств осуществляется в системе координат, сформированной геополитическим и дискурсивным факторами. Выявлены глобальные концептуальные дискурсы. Рассмотрены национальные стратегии стран, в геополитическом и дискурсивном влиянии которых находится Беларусь.

Ключевые слова: глобальное социально-политическое пространство, международная субъектность государства, глобальный концептуальный дискурс, геополитический фактор, дискурсивный фактор.

Современное глобальное развитие столкнуло международное сообщество с целым рядом процессов и вызовов, источником которых становится дискурсивная борьба за установление гегемонии в глобальном социально-политическом пространстве и последствия которых проявляются во многих сферах: социально-политической, экономической, культурной. Дискурсивная борьба является средством внутреннего конструирования¹ социального пространства в условиях высокой степени конкурентности между множественными центрами власти, что стало неотъемлемым свойством международных отношений. Положение национального государства в этих условиях определяется не только его национальными интересами, но и необходимостью адаптироваться к состоянию перманентной неустойчивости.

Цель данной статьи – определить положение Республики Беларусь в структуре современного глобального социально-политического пространства.

При подготовке статьи использованы работы, посвященные вопросам международных отношений и геополитики, глобальным вызовам и угрозам современности, приоритетам обеспечения национальной безопасности, авторы которых А.М. Байчоров, Б. Бузан, О. Вейвер, М.В. Данилович, И.А. Малевич, Ю.И. Малевич, И.Ю. Окунев, В.И. Пантин, Д.С. Полулях, Р. Саква, А.Л. Стризое. Были проанализированы программные документы: Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, Глобальная стратегия Европейского союза по внешней политике и политической безопасности, выступление Си Цзиньпина на XIX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая. Используются материалы конференций «Минский диалог» (18–19 мая 2017 г., Минск) и «XV Минский форум» (16–18 ноября 2017 г.,

¹ *Внутреннее конструирование социального пространства* – это информационно-коммуникационный процесс создания и распространения социальной информации, ее восприятия, интерпретации и актуализации в ходе взаимодействия агентов и объектов социального пространства.

Минск), сведения международных индексов и рейтингов стран (Democracy Index, Fragile State Index, Freedom House, Good Country Index, Social Progress Index), международной консалтинговой сети PricewaterhouseCoopers UK.

Положение национальных государств в современном глобальном социально-политическом пространстве наряду с обладанием социально-экономическим, военно-политическим и культурным потенциалом определяется следующими факторами:

- местом в геополитическом пространстве;
- принадлежностью к глобальным концептуальным дискурсам¹;
- стратегиями национального развития и международного взаимодействия, которые являются результатом процесса национального самоопределения;
- присутствием в информационно-коммуникационных сетях;
- участием в глобальном развитии и вкладом в «общее благо человечества»².

Названные факторы в совокупности формируют *международную субъектность* государства, которая является властной способностью оказывать влияние на динамику международных отношений, т.е. конструировать социально-политическое пространство на региональном или глобальном уровне.

В современных условиях, когда конфигурация глобального социально-политического пространства и архитектура международных отношений непосредственно зависят от глобальных дискурсивных процессов, позиционирование государств осуществляется в системе координат, сформированной геополитическим фактором, имеющим конкретную региональную привязку, и транснациональным дискурсивным фактором.

По мнению российского исследователя А.Л. Стризое, определение собственного положения в современной международной системе ставит перед государствами проблему «разграничить в окружающей их реальности данное и созданное», «поскольку сегодня пространство политической коммуникации в значительной мере управляемо» [1. Ч. 2. С. 186]. К «данному» автор относит социокультурные, экологические и демографические факторы, к «созданному» – «риски и вызовы современной региональной и глобальной политики», которые связаны с выбором субъектов, принимающих решения, с конвергенцией различных центров силы и конкуренцией национальных стратегий.

Дискурсивный фактор, с одной стороны, способствует усилению позиций традиционных глобальных и региональных стран-лидеров. Устойчивые геополитические и исторические представления сохраняют свое влияние в качестве элементов национальной идентичности и национальных стратегий развития. С другой стороны, дискурсивный фактор дает субъектам международных отношений возможность целенаправленно выстраивать или менять свою идентичность. Примеры: страны Балтии после распада СССР, а также

¹ Глобальные концептуальные дискурсы – наиболее влиятельные в глобальном масштабе дискурсы субъектов международных отношений, предлагающие цельный, систематизированный комплекс взглядов о современных процессах, протекающих в глобальном социально-политическом пространстве, и целях, которые эти процессы должны достигнуть.

² По терминологии Good country index. About the Good Country Index [Электронный ресурс]. URL: <https://goodcountry.org/index/about-the-index> (дата обращения: 01.11.2017).

Украина и Грузия. Более того, это касается и тенденций к самоопределению отдельных территорий, таких как Косово и Каталония.

Нами были выделены три типа глобальных концептуальных дискурсов, имеющих существенное влияние на формирование структуры глобального социально-политического пространства: 1) дискурс установления универсального порядка на основе экономических процессов глобализации (далее – глобализационный дискурс); 2) цивилизационный, нацио-этноцентрический дискурс; 3) дискурс новых инновационных стратегий развития.

На основе анализа влияния этих дискурсов на институт национального государства мы сделали вывод, что основные водоразделы в глобальном социально-политическом пространстве пролегают между отдельными цивилизационными, нацио- или этноцентрическими дискурсами. Это свидетельствует о том, что взаимоотношения в треугольнике «США / ЕС – Россия – Китай» являются конкуренцией между отдельными *нациоцентрическими дискурсами*, а не между «универсальным» глобализационным дискурсом западного мира и «ревизионистскими» дискурсами России и Китая [2].

Глобализационный дискурс и дискурс новых инновационных стратегий развития представляют, по сути, «антинациональные» глобальные тренды, так как субъекты-трансляторы этих дискурсов транснациональны, как, например, финансовые элиты или международные неправительственные организации. Они являются дополнительным фактором дестабилизации для малых и средних государств, которые не в состоянии оказывать существенное влияние на глобальное развитие.

Более того, в условиях смещения центров власти трансляторами глобализационного дискурса будут выступать те субъекты, которые займут позиции лидеров экономической глобализации независимо от их цивилизационной принадлежности. Так, по прогнозу международной сервисной сети в сфере консалтинга и аудита PricewaterhouseCoopers (PwC) UK, к 2050 г. наиболее быстро растущими экономиками станут Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия и Турция. При этом доля Китая в мировой экономике вырастет до 20%, Индии – до 15%, в то время как доля США упадет до 12%, ЕС – до 9% [3].

Именно поэтому в условиях «турбулентности международной политики» [4. С. 17] национальные вопросы формируют основную повестку для многих стран. Как отмечал российский политолог И.Ю. Окунев, «государство не отступает перед лицом глобализации, а реагирует самым жестким образом» [5. С. 154]. Современные государства не стремятся открывать собственные границы в условиях растущего давления со стороны различных транснациональных потоков. Как пример – процессы упразднения лотереи грин-карт и введения иммиграционного указа Д. Трампа в США.

Учитывая, что «небезопасность часто ассоциируется с близким расстоянием» и «большинство государств больше боится соседей, чем более далеких сил» [6. Р. 11], при изучении положения государства необходимо анализировать двойственное воздействие геополитического и дискурсивного фактора, в первую очередь во внешнем окружении национального государства.

Сегодня Беларусь находится под геополитическим и дискурсивным влиянием трех внешних игроков: ЕС, России и Китая. Все три субъекта являются глобальными лидерами в международных отношениях, центрами

геополитического притяжения и трансляторами различных национальных дискурсов.

Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и политической безопасности, принятая в июне 2016 г., позиционирует ЕС в качестве геополитического актора: «...идея о том, что Европа является исключительно „гражданской державой“, не соответствует меняющейся реальности... В случае Европы „мягкая“ и „жесткая“ силы неразрывно связаны» [7. С. 2]. В документе закреплена задача реформирования системы глобального управления. В сочетании со «стратегической автономией», целью которой является отстаивание «общих интересов наших граждан, а также наших принципов и ценностей» [Там же. С. 2], это свидетельствует о продвижении ЕС собственной цивилизационной «миссии», притязаниях на лидерство в глобальных процессах в соответствии с представлениями западной модели мирового развития и глобализации. «Приверженность глобальному управлению должна выражаться в намерении провести реформу ООН, включая Совет Безопасности, и международных финансовых институтов. Противление изменениям может спровоцировать разрушение этих институтов и появление *альтернативных объединений* в ущерб всех стран-членов ЕС» [Там же. С. 29].

Как отмечают Ю.И. Малевич и И.А. Малевич, стремление к реформированию системы глобального управления, в частности ООН (высказанная недавно также президентом США Д. Трампом), объясняется тем, что «зона стратегических интересов инициаторов данного подхода связана с попыткой локализации влияния полномочий ООН только в гуманитарном русле региональных остроконфликтных ситуаций, этнических, групповых и социокультурных национальных устремлений, а не мировых трендов регулирования стратегических механизмов, глобальных целей и ресурсов развития» [8. С. 11]. Стремление к реформированию ООН может свидетельствовать не только о попытках ограничить роль организации в международных отношениях, но и сделать ООН центром продвижения собственных интересов в глобальном масштабе.

В этом ключевым партнером ЕС в стратегии названы США. В условиях падения доверия к западной политической и экономической стратегии и усиления геополитической конкуренции «сообщество трансатлантических ценностей» [9] стремится создать более прочный фундамент на основе политики сдерживания развития альтернативных вариантов глобального будущего.

То же касается и геополитических устремлений Китая. «Современная политика КНР ориентирована, в рамках глобальной стратегии, на мягкое ослабление позиций западных держав, главным образом, США» [10. С. 251]. На XIX Всекитайском съезде КПК, который состоялся 18–24 октября 2017 г., была закреплена стратегия «китайской мечты о великом возрождении китайской нации» [11]. Несмотря на то, что национальная стратегия развития Китая преимущественно обращена к внутринациональным проблемам, Китай также заявляет о своих притязаниях на активное участие в глобальном развитии: «Китай будет продолжать играть роль ответственной державы, активно участвовать в преобразовании и формировании системы глобального управления» [Там же].

Китайская национальная стратегия позиционируется как противоположная западной стратегии, что демонстрирует заявление Си Цзиньпина: «Соци-

алистическая демократия Китая является самой широкой, самой истинной и самой эффективной демократией, защищающей коренные интересы народа» [11]. При этом, как позднее заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Диалога между КПК и политическими партиями мира в Пекине: «Китай не будет „импортировать“ иностранные модели развития, не будет „экспортировать“ собственную модель, а также не будет требовать от других стран „копировать“ китайскую практику» [12]. В рамках этой политической стратегии Китай, используя принцип невмешательства и концепцию «специфики глобальных ценностей», сотрудничают с режимами и политиками, от которых дистанцируются страны ЕС, Россия и США [10. С. 252].

В международных отношениях Китай определяет себя как миротворческое государство, цель которого – создание «сообщества общей судьбы» для совместного разрешения возникающих перед международным сообществом вызовов. Тем не менее Китай не отказывается от политики наращивания своего военного потенциала: «Будем стремиться к тому, чтобы к 2035 г. осуществить модернизацию национальной обороны и армии, а к середине нынешнего века полностью превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня» [11]. Вместе с тем Китай избегает конфронтационной риторики, подчеркивая, что «китайская национальная оборона носит оборонительный характер. Наше развитие не представляет угрозы ни для какого бы то ни было государства. Какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии» [Там же].

В отличие от ЕС внешняя политика Китая дискурсивно выглядит не столь «пропагандистски агрессивной», тем не менее национальная стратегия Китая не в меньшей степени направлена на реализацию национальных интересов и приоритетов через международные отношения. Это реализуется через политику «мягкой гуманитарно-экономической интервенции» [8. С. 74].

Реализация китайской стратегии на Евразийском континенте осуществляется через проект «Один пояс – один путь». Официально проект определяется как международная инициатива по «содействию упорядоченным и свободным экономическим потокам, высокоэффективному распределению ресурсов и глубокой интеграции рынков за счет расширения возможностей соединения азиатских, европейских и африканских континентов и их прилегающих морей» [13].

С другой стороны, в научных кругах проект «Один пояс – один путь» часто определяется в качестве: 1) стимулятора внутреннего развития Китая, направленного на «дозагрузку избыточных мощностей китайского строительного комплекса» [14. С. 40]; 2) проекта, позволяющего противостоять политике сдерживания со стороны Запада. М.В. Данилович выделяет следующие цели реализации проекта: 1) ускоренное развития отстающих западных регионов КНР; 2) вывод за пределы государства «лишнего» капитала; 3) разрешение внутренних вызовов, связанных с ростом безработицы в строительном секторе Китая [15. С. 235–236].

Также этот проект является средством реагирования Китая на запуск у своих границ новых интеграционных проектов, нацеленных на развитие Евразийского континента и Тихоокеанского региона по некитайскому сцена-

рию (Евразийский экономический союз, Транстихоокеанское сотрудничество, Трансатлантическое партнерство).

На данный момент Беларусь является участником Евразийского сухопутного экономического коридора в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Участие в этом проекте в качестве транзитного государства хотя и выгодно для Беларуси, поскольку позволяет в полной мере использовать потенциал своего геополитического положения, в то же время сопряжено с определенными рисками. Во-первых, кредитование со стороны Китая связано с необходимостью привлечения китайских технологий и рабочей силы, что, подобно стратегии транснациональных компаний, ограничивает участие Беларуси в проекте в качестве полноценной стороны. Во-вторых, возможны разногласия между позициями Беларуси как участницы ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь». С точки зрения национальных интересов России «односторонняя политическая ориентация на Китай является весьма рискованной» [16. С. 138], как следствие, усиление сотрудничества Беларуси с Китаем представляет определенный риск для России.

В программных документах Республики Беларусь в качестве стратегического приоритета внешней политики закреплено «всестороннее сотрудничество с Российской Федерацией» [17]. Инициативы Беларуси по налаживанию отношений между ЕС и Россией получили международное признание, которое выразилось также в интенсификации отношений между Беларусью и ЕС. С другой стороны, Россия для многих западных стран выступает в качестве «крупнейшего нарушителя порядка», начиная от ее роли в украинском конфликте и заканчивая обвинениями в кибератаках и вмешательстве во внутреннюю политику западных стран. На банкете лорд-мэра лондонского Сити премьер-министр Великобритании Т. Мэй подвергла международные действия России острой критике. Премьер-министр обвинила Россию во «вмешательстве в иностранные выборы», «распространении фейковых новостей и кибершпионаже», масштаб и характер которых «угрожает международному порядку, от которого мы все зависим» [18].

По мнению В.И. Пантина, несмотря на то, что «развитие экономического и политического сотрудничества между Россией и Западом, в частности между Россией и европейскими государствами, во многом способно стабилизировать ситуацию в мире» [16. С. 138], сегодня мы являемся свидетелями обострения отношений на Евразийском континенте. Р. Саква называет это «подражательной холодной войной», воспроизводящей методы холодной войны, но не доводящей их действие до предполагаемого противостояния [19. Р. 556]. Положение Беларуси в этих условиях можно описать словами представителя фонда К. Аденауэра В. Зендера: «Беларусь окружена региональными вызовами» [9]. С нашей точки зрения, противостояние между Россией и ЕС в меньшей степени можно назвать ценностным, а скорее геополитическим и дискурсивным разделением сфер влияния. Ценностное разделение между Западом/Россией и Китаем более фундаментально. Именно поэтому обсуждение возможностей объединения потенциалов двух интеграционных проектов: ЕС и ЕАЭС – в один в рамках инициативы «интеграции интеграций» стало отправной точкой для разрешения вопросов не только региональной и глобальной безопасности, но и укрепления конкурентоспособности в условиях экономического усиления Китая.

В выступлении в рамках XV Минского форума 17 ноября 2017 г. министр иностранных дел Республики Беларусь В.В. Макей заявил о том, что «выгоды диалога ЕАЭС – ЕС не ограничиваются сугубо практическими вопросами. Что более важно в сегодняшних условиях – это показать, что две интеграционные модели не являются несовместимыми и враждебными друг другу» [20]. Исходя из этого, нельзя однозначно утверждать, что Беларусь находится на непреодолимом разломе между Западом и Россией. И даже в условиях усиления влияния Китая на регион готовность сотрудничать способствует нахождению точек соприкосновения. Неизбежность дифференцированного подхода к странам, находящимся в подобном с Беларусью положении, уже начинает признаваться международным сообществом.

Таким образом, современное положение Беларуси в структуре глобального социально-политического пространства определяется следующим. В дискурсивном плане воздействие на Беларусь, во-первых, характеризуется традицией восприятия как «страны с низкой репутацией». По результатам анализа показателей многих международных индексов и рейтингов стран (Democracy Index, Fragile State Index, Freedom House, Social Progress Index) можно говорить о продолжении этой тенденции, так как Беларусь зачастую характеризуется как «авторитарная» страна с высоким уровнем неустойчивости. Более того, несмотря на отмену санкций в отношении Беларуси со стороны ЕС вследствие признания ее роли в конструировании региональной устойчивости и безопасности, 13 июня 2017 г. президент США Д. Трамп продлил «режим чрезвычайного положения» в отношении Беларуси [21].

Во-вторых, Беларусь является объектом дискурсивного контроля одновременно со стороны нескольких цивилизационных дискурсов. Учитывая историческую и экономическую привязку белорусской национальной стратегии к России, в связи с усилением геополитического противостояния в регионе, сопровождающимся в том числе и расширением НАТО на восток, Беларусь испытывает повышенное давление со стороны западного цивилизационного дискурса. Свидетельством этого становится усиление военной риторики в коммуникационном пространстве как Беларуси, так и ее соседей, что проявилось, например, в освещении проведенных 14–20 сентября 2017 г. совместных военных учений Беларуси и России «Запад-2017». Ответом на этот вызов становится выработка собственной стратегии Беларуси, направленной на углубление сотрудничества в регионе. Кроме того, можно утверждать, что Беларусь активно включается в глобализационный дискурс за счет сотрудничества в рамках интеграционного проекта ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь», а также запуска процесса вступления в ВТО.

В системе геополитических координат Восточноевропейского региона, несмотря на «традиционное» место в качестве «буферной зоны», современная национальная стратегия Беларуси направлена на преодоление уязвимостей одностороннего подхода во внешней политике и международных отношениях. Это выражается в активизации участия в глобальном развитии за счет выполнения стабилизирующей и конструирующей роли в регионе. Тем не менее Беларусь по-прежнему нуждается в усилении своего присутствия в глобальном коммуникационном пространстве. Активная деятельность в информационно-коммуникационных сетях способствовала бы освещению и продвижению инициатив, выдвигаемых Беларусью на международном уровне.

Литература

1. *Стрпизое А.Л.* Национальное самоопределение в пространстве глобализации : методологические аспекты // Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии социально-политического взаимодействия. Белорусская политология: многообразие в единстве. Ч. 2. Гродно, 2016. С. 185–188
2. *National Strategy of the United States of America* [Electronic resource] // The White House. Electronic data. Washington, D.C., 2017. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf> (access date: 19.12.2017).
3. *The Long View* How will the global economic order change by 2050? [Electronic resource] // PwC : website. Electronic data. 2017. URL: <https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf> (access date: 02.12.2017).
4. *Полулях Д.С.* Турбулентность в современной мировой политике: дискурсы и практика : автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2016. 30 с
5. *Окунев И.Ю.* Критическая геополитика и посткритический сдвиг в исследовательской парадигме геополитики [Электронный ресурс] // Культурная и гуманитарная география, 2012. Т. 1, № 2. Электрон. версия печат. публ. URL: <http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/287> (дата обращения: 01.12.2017).
6. *Buzan B., Wæver O., de Wilde J.* Security: A New Framework for Analysis. Colorado : Lynne Rienner Publishers, 1998. 239 p.
7. Общее видение, единый подход: сильная Европа. Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и политической безопасности [Электронный ресурс] // European Union : official website. Электрон. дан. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_global_strategy_ru.pdf (дата обращения: 13.03.2017).
8. *Малевич Ю.И., Малевич И.А.* Инновационные стратегии глобализации / под общ. ред. Ю.И. Малевич. Минск : РИВШ, 2016. 408 с.
9. *Выступление* программного директора по Беларуси Фонда К. Аденауэра В. Зендера на Минском форуме, 16.11.2017 г., Минск.
10. *Малевич Ю.И.* Дипломатия «мягкой силы» – приоритет внешнеполитических стратегий Китая // Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии социально-политического взаимодействия. Ч. 2. Гродно, 2016. С. 251–255.
11. *Полный текст* доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК [Электронный ресурс] // 19-й Всекитайский съезд КПК / XINHUANET.com : сайт. Электрон. дан. Пекин, 2017. URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения: 16.12.2017).
12. *Китай* не будет «экспортировать» китайскую модель – Си Цзиньпин [Электронный ресурс] // ИА Синьхуа : сайт. Электрон. дан. Пекин, 2017. URL: http://russian.news.cn/2017-12/01/c_136793999.htm (дата обращения: 16.12.2017).
13. *China unveils* action plan on Belt and Road Initiative [Electronic resource] // The State Council of the People's Republic of China: official website. Electronic data. 2015. URL: http://english.gov.cn/news/top_news/2015/03/28/content_281475079055789.htm (access date: 16.12.2017).
14. *Байчоров А.М.* Инициатива экономического пояса шелкового пути в глобальном контексте // Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии социально-политического взаимодействия. Белорусская политология: многообразие в единстве. Ч. 1. Гродно, 2016. С. 36–40
15. *Данилович М.В.* Экономический пояс Шелкового пути: особенности реализации проекта на пространстве ЕАЭС // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития: сб. науч. ст. Вып. 4. Минск, 2016. С. 235–239
16. *Пантин В.И.* Факторы дестабилизации современного мирового порядка и политические риски для России // Дестабилизация мирового порядка и политические риски развития России : сб. ст. М., 2010. С. 133–138.
17. *Концепция* национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь от 09 нояб. 2010 г. № 575 : (с изм. и доп. от 30 дек. 2011 г. № 621; от 24 янв. 2014 г. № 49) // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. Электрон. дан. Минск, 2014. URL: <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575> (дата обращения: 02.03.2017).
18. *Theresa May* accuses Russia of interfering in elections and fake new [Electronic resource] // The Guardian : website. Electronic data. London, 2017. URL: <https://www.theguardian.com/po>

litics/2017/nov/13/theresa-may-accuses-russia-of-interfering-in-elections-and-fake-news (access date: 28.11.2017).

19. Sakwa R. The death of Europe? Continental fates after Ukraine // *International Affairs*. 2015. Iss. 3. P. 553–579.

20. *Выступление* министра иностранных дел Беларуси В. Макея в рамках XV Минского форума, 17 ноября 2017 г., Минск [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Республики Беларусь : офиц. сайт. Электрон. дан. Минск, 2017. URL: <http://mfa.gov.by/press/statements/bbc79f3feb92e5d3.html> (дата обращения: 17.11.2017).

21. *Letter from the President – National Emergencies Act* [Electronic resource] // The White House. Electronic data. Washington, D.C., 2017. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/letter-president-national-emergencies-act/> (access date: 15.06.2017).

Alesia S. Pisarchyk, Belarusian State University (Minsk, Republic of Belarus).

E-mail: alesya.p.325@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 203–212.

DOI: 10.17223/1998863X/43/19

THE POSITION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE STRUCTURE OF THE MODERN GLOBAL SOCIO-POLITICAL SPACE

Keywords: global socio-political space; international subjectness of state; global conceptual discourse; geopolitical factor; discursive factor.

The article is devoted to the analysis of the position of the Republic of Belarus in the structure of the global socio-political space. The article defines the international subjectness of the state which is the power ability to influence the dynamics of international relations, i.e. to design a socio-political space at the regional or global level. The factors forming international subjectness are identified. They include the place in the geopolitical space, belonging to global conceptual discourses, strategies of national development and international interaction, presence in information and communication networks, participation in global development and contribution to the “common good” of the humanity. It is concluded that the modern positioning of states is carried out in a coordinate system created by geopolitical and discursive factors at the same time. The discursive factor is associated with the influence of global conceptual discourses. Global conceptual discourses are the globally most influential discourses of subjects of international relations that offer a comprehensive, systematised set of views on current processes taking place in the global socio-political space and the goals these processes must achieve. The geopolitical factor is defined as the influence of national strategies of countries considered as global leaders. The geopolitical and discursive influence on Belarus includes influence of the EU, Russia and China. It is determined that in the conditions of increased tension of international relations in Eurasia, Belarus becomes an object of influence simultaneously from several civilisational discourses and national strategies. The answer to this challenge is the development of Belarus’ own strategy for deepening cooperation in the region and overcoming the vulnerabilities of a unilateral approach in foreign policy and international relations. Nevertheless, Belarus still needs to strengthen its presence in the global communication space. Activity in the information and communication networks will help to highlight and promote initiatives which Belarus is making at the international level.

References

1. Strizoe, A.L. (2016) *Natsional'noe samoopredelenie v prostranstve globalizatsii: metodologicheskie aspekty* [National self-determination in the space of globalization: methodological aspects]. Grodno: Y. Kupala State University of Grodno.

2. The US Government. (2017) *National Strategy of the United States of America*. [Online] Available from: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>. (Accessed: 19th December 2017).

3. PWC.com. (2017) *The Long View. How will the global economic order change by 2050?* [Online] Available from: <https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf>. (Accessed: 2nd December 2017).

4. Poluliakh, D.S. (2016) *Turbulentnost' v sovremennoi mirovoi politike: diskursy i praktika* [Turbulence in Contemporary World Politics: Discourses and Practice]. Abstract of Political Science Cand. Diss. Moscow.

5. Okunev, I.Yu. (2014) Critical Geopolitics and Post-Critical Shift in Geopolitical Research Paradigm. *Sravnitel'naya politika – Comparative Politics*. 5(4). pp. 6–14. (In Russian). DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-6-14.

6. Buzan, B., Wæver, O. & Wilde, J. de (1998) *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.

7. European Union. (n.d.) *Global'naiia strategiiia ES po vneshnei politike i politicheskoi bezopasnosti* [A Global Strategy on Foreign and Security Policy for the European Union. [Online] Available from: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_global_strategy_ru.pdf. (Accessed: 13th March 2017).

8. Malevich, Yu.I. (2016a) *Innovatsionnyye strategii globalizatsii* [Innovative Strategies of Globalization]. Minsk: RIVSh.

9. Sender, W. (2017) *Statement by K. Adenauer Foundation Belarus Country Director W. Sender at the Minsk Forum XV*. November 16, 2017. Minsk: [s.n.].

10. Malevich, Yu.I. (2016b) *Diplomatiya “myagkoy sily” – prioritet vneshnepoliticheskikh strategiy Kitaya* [Soft power diplomacy – priority of China's foreign policy strategies]. Grodno: Y. Kupala State University of Grodno.

11. Xi Jinping. (2017) *Polnyy tekst doklada, s kotorym vystupil Si Tszin'pin na 19-m s'yezde KPK* [Full text of the report delivered by Xi Jinping at the 19th Congress of the CPC]. [Online] Available from: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm. (Accessed: 16th December 2017).

12. Russian.News.Cn. (2017) *Kitai ne budet “eksportirovat” kitaiskuiu model’ – Si Tszin'pin* [China will not “export” the Chinese model – Xi Jinping]. [Online] Available from: http://russian.news.cn/2017-12/01/c_136793999.htm. (Accessed: 16th December 2017).

13. English.Gov.Cn. (2015) *China unveils action plan on Belt and Road Initiative*. [Online] Available from: http://english.gov.cn/news/top_news/2015/03/28/content_281475079055789.htm. (Accessed: 16th December 2017).

14. Baychorov, A.M. (2016) *Initsiativa ekonomicheskogo poyasa shelkovogo puti v global'nom kontekste* [The Silk Road Initiative in the global age]. In: Vatyly, V.N., Vatyly, N.V., Goncharov, N.N., Lapa, O.V. & Tsygankova, L.I. (eds) *Sovremennyye global'nyye vyzovy i Belarus': instituty, ideologii i strategii sotsial'no-politicheskogo vzaimodeystviya. Belorusskaya politologiya: mnogoobraznye yedinstvo* [Modern global challenges and Belarus: institutions, ideologies and strategies for social and political interaction. Belarusian political science]. Grodno: Y. Kupala State University of Grodno.

15. Danilovich, M.V. (2016) *Ekonomicheskii poyas Shelkovogo puti: osobennosti realizatsii proyekta na prostranstve YEAEs* [The Silk Road Initiative: the project implementation in the area of the EAEU]. In: Baychorov, A.M. (ed.) *Aktual'nyye problemy mezhdunarodnykh otosheniy i global'nogo razvitiya* [Topical Problems of International Relations and Global Development]. Minsk: Belarusian State University.

16. Pantin, V.I. (2010) *Faktory destabilizatsii sovremennogo mirovogo poryadka i politicheskiye riski dlya Rossii* [Factors of destabilisation of the modern world order and political risks for Russia]. In: Pantin, V.I. & Lapkin, V.V. (eds) *Destabilizatsiya mirovogo poryadka i politicheskiye riski razvitiya Rossii* [Destabilization of the world order and political risks of Russia's development]. Moscow: The Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences.

17. Pravo.by. (2010) *Kontseptsiya natsional'noy bezopasnosti Respubliki Belarusi* [The Concept of National Security of the Republic of Belarus]. [Online] Available from: <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575>. (Accessed: 2nd March 2017).

18. The Guardian.com. *Theresa May accuses Russia of interfering in elections and fake news*. [Online] Available from: <https://www.theguardian.com/politics/2017/nov/13/theresa-may-accuses-russia-of-interfering-in-elections-and-fake-news>. (Accessed: 28th November 2017).

19. Sakwa, R. (2015) *The death of Europe? Continental fates after Ukraine*. *International Affairs*. 3. pp. 553–579. DOI: 10.1111/1468-2346.12281

20. Makei, V. (2017) *Vystupleniye Ministra inostrannykh del Belarusi V. Makeya v ramkakh XV Minskogo foruma (17 noyabrya 2017 g., g. Minsk)* [Statement by Minister of Foreign Affairs of Belarus V. Makei at the “Minsk Forum XV” (November 17, 2017, Minsk)]. [Online] Available from: <http://mfa.gov.by/press/statements/bbc79f3feb92e5d3.html>. (Accessed: 17th November 2017).

21. The US Government. (n.d.) *Letter from the President – National Emergencies Act*. [Online] Available from: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/letter-president-national-emergencies-act/>. (Accessed: 15th June 2017).

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

УДК 162.6

DOI: 10.17223/1998863X/43/20

И.Б. Микиртумов

ФОРМАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ АРГУМЕНТАЦИИ: ЛОГИКО-КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ ЕЛЕНА ЛИСАНИЮК¹

Обсуждается логико-когнитивная теория аргументации Елены Лисанюк, показано, какие черты позволяют отнести эту систему к формальной философии аргументации. Особое внимание обращается на то, как формальная экспликация содержательных оснований обеспечивает эвристический и прогностический эффекты, а также достоверные результаты, позволяющие дифференцировать аподиктическое ядро и контингентные экстерналии.

Ключевые слова: теория аргументации, формальная философия.

Поводом для написания настоящей статьи стал выход в свет книги Елены Лисанюк «Аргументация и убеждение» [1], в которой представлена оригинальная логико-когнитивная теория аргументации (ЛКТ). Ниже я прокомментирую основное содержание этой теории, исходя из исследовательских установок того направления, которое лучше всего характеризуется не вполне привычным для отечественной литературы термином «формальная философия», и постараюсь показать, что в ЛКТ мы встречаем один из первых образцов формальной философии аргументации.

Термин «формальная философия» получил распространение после выхода в свет сборника работ Ричарда Монтегю [2], которые революционным образом изменили стратегию логического анализа естественного языка. В самом общем виде идея Монтегю состояла в том, что за возможностью использования языка во всей полноте его выразительной силы стоит возможность построения непротиворечивой и полной модели такого использования средствами математики, логики и лингвистики. Для доказательства этого факта Монтегю разработал богатую и гибкую систему формальных инструментов и локально продемонстрировал, как она может работать (см.: [3]). На этом пути развились формальная семантика, интенциональная логика и разнообразные методы формализации языка. В числе влиятельных теорий, которые можно отнести к области формальной философии, назову лишь некоторые: теория двойников Д. Льюиса, теория характеров Д. Каплана, теория истины как неподвижной точки и концепция жёстких десигнаторов С. Крипке, теория качеств и концептов Дж. Билера, интенциональная логика А. Чёрча и Э. Эндерсона, группа теорий пересмотра убеждений и мнения (belief revision), теоретико-игровой подход Я. Хинтикки, формальные системы аргументации Г. Праккена, Д. Уолтона, К. Аткинсона и Т. Бенч-Капона, В.К. Финна, систем-

¹ При поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант 14-03-00650.

ная модель аргументации В.Н. Брюшинкина, обобщённые модели рассуждений Д.В. Зайцева, формальная феноменология В.Л. Васюкова.

Две концепции лежат в основании идеи формализации языка и естественных рассуждений. Позитивная исходит из возможности превращения любой задачи познания в задачу логическую, восходит к Лейбницу и донесена до нас традицией логического лейбницианства, к которой принадлежали и основатель современной логической семантики Готтлоб Фреге [4, 5], и Монтегю. Вторая, негативная, концепция связана с критикой языка науки Венским кружком и ранней аналитической философией, развившейся в критику языка вообще. Сочетание логицистской установки на тотальную формализацию с критической установкой на анализ языкового материала образует идеологию формальной философии. Принадлежность к ней можно определить по выполнению следующих условий: целью исследования является содержательная, а не техническая проблема, используются формальные методы математики, логики, статистики, теории вероятности и т.д., построение охватывает качественно однородную область явлений, обладает относительной полнотой и прогностической силой. Иными словами, формальная философия – это совокупность полноценных научных теорий, использующих точные методы в философском познании (см.: [6]).

Применение аналогичной исследовательской стратегии в сфере исследования аргументации – это актуальная задача, от решения которой зависит, в частности, приобретёт ли теория аргументации статус действительной науки. Теория аргументации появилась на пересечении предметных полей логики, риторики и лингвистики в середине XX в. основополагающими работами в новой области стали вышедшие в 1958 г. книги Хаима Перельмана и Люси Ольбрехтс-Тытеки «Трактат по аргументации; новая риторика» [7, 8] и Стивена Тулмина «Использование аргументов» [9]. Их мотивом были потрясения и катастрофы первой половины XX в., сделавшие актуальным вопрос о том, как распространяются убеждения и как осуществляется убеждающее воздействие, когда и почему терпят неудачу не только критика, но хорошо обоснованные знания. Теория аргументации имеет выраженную критическую направленность по отношению к явлениям коммуникации вообще и массовой культуры общества потребления в частности, что придаёт работам по анализу аргументации характер полезной социальной практики, но не позволяет сформироваться научной теории. Работы по аргументации подразделяются на две группы. К первой относятся критически ориентированные case study, ко второй – нормативно ориентированные эмпирические обобщения. Масштабные программы также подразделяются на две категории. В одних представлено большое количество обобщений – таковы и названные выше работы основателей современной теории аргументации, а в других разрабатываются конкретные методы анализа и аргументации – таковы, например, прагматическая теория (Ф. ван Еемерен, Р. Гротендорст, П. Хоотлоссер), диалектика и формальная диалектика (Ч. Хэмблин, Д. Уолтон, Э. Краббе, К. Аткинсон, Т. Бечн-Капон), так что первые эклектичны, а вторым недостаёт общности. При этом вопрос об аргументации как о предмете полноценной философской теории до сих пор не решён. Можно ли считать аргументацию целостным явлением, или это не более чем агрегат разнородных и случайно смежных явлений? Логико-когнитивная теория аргументации Е. Лисанюк

предлагает развёрнутое обоснование первой половины этого диалектического положения.

В ЛКТ аргументация понимается как совместная деятельность людей, как диалог, возможно, с самим собой, цель которого познавательная и состоит в раскрытии знаний, мнений, ценностей, желаний, намерений, целей и планируемых действий участников. Осуществляется такое раскрытие при испытании состоятельности и убедительности позиций в диалогах различных типов. Человек в аргументации предстаёт в роли когнитивного агента, наделённого свободой мыслить и рассуждать так, как он к этому способен и предопределён различными обстоятельствами. Само аргументативное взаимодействие есть не что иное, как спор [1. С. 32], который имеет три разновидности, это *обоснование*, *убеждение* и *практическая аргументация*. Деление производится по двум критериям, первый из которых, логический, предполагает ответ на вопрос о том, выражена ли в формулировке точки зрения агента пропозиция или же она имеет непропозициональное содержание. Вторым критерий имеет когнитивный характер и связан с дифференциацией целей аргументации. Так, *обоснование* предполагает взаимодействие агентов, направленное на исследование одной позиции, реальный или виртуальный второй участник диалога не выдвигает при этом своей позиции, хотя и критикует противника. *Убеждение* имеет своей целью изменение позиции партнёра и предполагает раскрытие позиций обеих сторон. В *практической аргументации* целью является выбор оптимальной линии поведения, т.е. последовательности действий в перспективе решения разделяемой сторонами задачи.

Построение модели агента – это труднейшая задача любой логико-философской теории. Разнообразные способы трактовки и репрезентации мыслящего, волящего и действующего человеческого существа мы находим везде, начиная с классической риторики и заканчивая мультиагентными информационными системами и теориями принятия решений. Сложность состоит в установлении адекватного соотношения между применением формальных инструментов, характеризующих способность человека создавать и использовать системы, приводящие к аподиктическому выводу, с одной стороны, и сохранением черт интеллектуальной и моральной свободы, позволяющей мыслить и действовать в тех сферах, в которых аподиктическое недостижимо. С указанной задачей ЛКТ справляется путём дифференциации сущностного ядра теории и внешних по отношению к нему данных – экстерналий, максимизируя число последних, что представляется единственно возможным для логико-философской теории. В русле идеи когнитивной разнородности или когнитивного многообразия Стивена Стича [10] агентам в ЛКТ придана высокая степень свободы иметь различные когнитивные состояния, равно как и пользоваться различными способами их формирования. Один и тот же агент может использовать разные знания и мнения в разных спорах, нельзя требовать от него эксплицитного использования всех знаний, с которыми он потенциально готов был бы согласиться, нельзя вменить ему интроспективное знание, например, того, как он обосновывает свои эпистемические установки, не является обязательной логическая совместимость всех положений из сфер знания и мнения агента, наконец, в широких пределах колеблется его умение осуществлять на практике как логические доказатель-

ства, так и вообще любые рассуждения, не говоря уже об оценке предъявляемых ему доказательств и рассуждений других агентов. основополагающий для ЛКТ принцип когнитивного многообразия проявляется в следующем. Во-первых, агент обладает способностью к модификации своих эпистемических состояний и аргументативных позиций под воздействием критики и приобретения новых знаний. Процессы удаления положений, не релевантных новой когнитивной ситуации, независимы при этом от процессов порождения новых аргументов [1. С. 186–188], что снимает фатальную, например, для некоторых систем формальной диалектики проблему поддержания непротиворечивости плана установок и его совместимости с планом фактов [Там же. С. 161–163]. Во-вторых, позиция агента рассматривается как набор не обязательно взаимосвязанных между собой элементов различной природы, в числе которых не только хорошо различённые эпистемические установки – знания и мнения, но и цели, ценности, намерения и желания. Подразумеваемая при этом формальная онтология обосновывается логико-семантически, но получает поддержку и со стороны прикладных онтологий информационных систем, предназначенных для воспроизведения мультиагентных взаимодействий.

Формальный аппарат ЛКТ базируется на логической теории аргументационных структур Пхана Дунга [11], которая уже два десятилетия остаётся одним из основных средств логического моделирования аргументации как в системах искусственного интеллекта, так и в иных формальных исследованиях. Эта теория построена на пропозициональном уровне, что обеспечивает ей компактность и простоту, но в отличие от всей риторической традиции, система Дунга моделирует не отношения поддержки аргументами тезиса, а отношения атаки на тезис со стороны аргументов противника. Эта смена точки зрения оказалась очень плодотворной. Эффективная формализация отношения поддержки требует релевантной импликации, поскольку импликация материальная адекватно естественными рассуждениями не интерпретируется, в то время как отношение атаки означает так или иначе определяемую несовместимость двух аргументов, позволяя обойти вопрос о релевантном следовании. Предполагается, что само отношение атаки имеет место тогда, когда атакованный и атакующий аргументы уже несовместимы, т.е., наблюдая спор, мы доверяем агентам в том, как они подбирают аргументы друг против друга. Это сильное допущение имеет семантическую природу и воплощается в «доверительной семантике», ассоциируемой с системами Дунга.

Простейшая аргументационная структура включает два множества аргументов – утверждений, подкреплённых доводами, причём между любыми двумя аргументами, независимо от их принадлежности к тому или иному набору, может иметь место отношение атаки – *attack*. Атаковать можно по-разному. Поскольку аргумент не всегда элементарная единица, т.е. может иметь внутреннюю структуру, образованную доводами, обоснованием и заключением – точкой зрения, то определимы и три вида атаки: *подрыв* довода, *отсечение* обоснования и *опровержение* точки зрения. К отношению *attack*, ключевому для системы Дунга, в ЛКТ Е. Лисанюк добавляется отношение *support* – поддержки, которое также определено на основе принципа доверительности, т.е. не сводится ни к классическому логическому выводу тезиса из аргументов, ни к релевантному или вероятностному его варианту. В качестве

экстерналии предполагается, что агент способен сформировать свою позицию так, чтобы используемые аргументы поддерживали друг друга в форме, адекватной конкретному развёртыванию спора [1. С. 39–42]. Это очень удачное решение позволяет обойти огромное количество трудностей и сохранить простоту формализма ЛКТ.

Бесконфликтным в ЛКТ называется такое множество аргументов, ни один из которых не атакует другой. Бесконфликтное множество соответствует слабой или минимальной *состоятельности* позиции агента, если она не была атакована. Если аргумент *B* атакует *C*, а *A* атакует *B*, то атака на *C* считается отклонённой. Сам *C* оказывается *относительно защищённым*, если можно найти неотклонённый атакующий его аргумент *D*, и *полностью защищённым* в противоположном случае. *Относительно состоятельной* будет тогда позиция, в которой некоторые атакованные аргументы были защищены, а *полностью состоятельной* – та, в которой все аргументы полностью защищены. В доверительной семантике выигрывает та сторона спора, за которой остаётся последнее слово, – неотклонённая атака.

Но что произойдёт, если полную позицию выстроить в другой структуре, в такой, где появится новый атакующий её аргумент, который не будет контратакован? Очевидно, что для защиты позиции её следует расширить аргументами, способными отразить атаку. В ряде систем логики умолчаний, эпистемической и немонотонной логик, описываются различные способы расширения аргументационного множества, которые сохраняли бы бесконфликтность и достигнутую защищённость аргументов, а также позволяли бы отклонять атаки. В результате может быть получено *устойчивое* расширение, отражающее атаки всех не принадлежащих к нему аргументов, а также его часть – *предпочтительное* расширение, представляющее собой наименьший набор аргументов, необходимых для сильной состоятельности позиции. Интересно, что отношения *support* и *attack* не зависят друг от друга, поскольку первое репрезентирует «внутренние» эпистемологические установки агента, а второе связывает аргументы его позиции в конфликтном взаимодействии с позицией другого агента, имея поэтому «внешний» или более объективный характер. Здесь ЛКТ переключается с формальными системами аргументации Генри Праккена [12].

Для множеств аргументов α и β некоторой аргументационной структуры теоретически существуют все варианты задания отношений *support* и *attack*. Но если формализм ЛКТ применяется для моделирования конкретного спора, то ему будет соответствовать только один из них. Как его определить? Здесь перед исследователем, который строит формальную систему, встает выбор, пытаться описать адекватную конкретной коммуникативной ситуации семантику отношений *support* и *attack* или обойти её, рассматривая подобную семантику как экстерналию. Последнее и является правильным для общей теории, поскольку отношения *support* и *attack* неформализуемы для сколь угодно большого класса коммуникативных ситуаций и заданы в ЛКТ и подобных системах, так сказать, математически, т. е. как частное отображение из всего возможного их многообразия. Выбор варианта, адекватного конкретному спору, представлен здесь как результат работы функции, подобной семантической функции означивания. В ЛКТ эту роль выполняет абстрактная

функция «рационального судьи», которая и определяет непустое множество полностью защищённых аргументов данного спора.

Обоснование, убеждение и практическая аргументация моделируются формальными средствами ЛКТ, где для каждого из видов спора строится аргументационная система со специфическими свойствами. Использование отношений *support* и *attack* одновременно, но независимо друг от друга – это ценное нововведение ЛКТ. Попытки моделировать первое отношение – это распространённая практика, коренящаяся в ортодоксальном взгляде, согласно которому риторическое есть несовершенное или испорченное логическое. Такой подход успешен только при наличии полного описания прикладной онтологии и хорошей структурированности механизмов обоснования, как это, например, имеет место в работах Г. Праккена, касающихся правовой аргументации (см.: [12, 13]). Правильная, на мой взгляд, исследовательская установка состоит в том, чтобы следовать за эмпирическим материалом. Отношения поддержки между аргументами в позиции и качественно, и количественно зависят от характеристик агента, а в силу постулата когнитивного многообразия извне агенту нельзя ничего вменить. Отношение атаки в споре сталкивает установки двух агентов, ведущих игру в условиях недостатка информации, когда аргументы одного всегда могут оказаться неожиданными для другого. Поэтому позиция агента в споре в общем случае не может быть абсолютно надёжной, пока не показано, что она способна отразить любые атаки любых агентов. И уже в самой ситуации спора агенту может просто не хватить времени для того, чтобы при появлении неожиданного атакующего аргумента не только выдвинуть контраргумент, но сделать это так, чтобы он был хорошо согласован с уже имеющимися. Формально в ЛКТ первый случай характеризуется как *распространение* позиции, а второй – как её *расширение*. Второе связывает аргументы позиции отношением *support*, в то время как первое предполагает установление отношения *attack* между аргументами разных позиций [1. С. 215–217].

Формальные результаты, касающиеся возможности расширения нетривиальных бесконфликтных множеств аргументов до *устойчивого* и содержащего в себе все свои следствия расширения, позволяют в рамках *минимальной* системы строго выразить свойства слабой и сильной состоятельности позиции в споре-обосновании. Для формального представления спора-убеждения в ЛКТ строится *стандартная* система, предполагающая уже не «доверительную», а «скептическую» семантику описания позиций. «Внутренний» критерий состоятельности заменяется здесь на «внешний» критерий убедительности, так что оппонент признаёт убедительным лишь такой аргумент, который защищён от всех атак. Позиция является убедительной, если все её аргументы защищены от всех атак аргументов других позиций. Функция «рационального судьи» выполняет здесь работу по указанию подмножества убедительных аргументов, которое может включать в себя все убедительные аргументы данной структуры и быть при этом расширением некоторой позиции. В этом случае оно называется *полным* расширением, а соответствующая позиция – *сильно убедительной*. В ЛКТ строго доказывается, что такая позиция в споре может быть только одна. Если же расширение позиции агента содержит какое-то количество убедительных аргументов, то оно называется *прочным*, а сама позиция – слабо убедительной. Часто бывает,

что в споре убедительные аргументы есть у обеих сторон, и это значит, что расширение их позиций не приведёт к появлению сильно убедительной позиции ни в одном из случаев.

Формальное представление видов расхождения во мнениях хорошо показывает, как работает формальная философия. Расхождение во мнениях можно зафиксировать уже по самому факту атаки аргумента некоторой позиции. Если я выражаю сомнение в правильности заявленной оппонентом точки зрения, то я демонстрирую это либо прямо, говоря, «я сомневаюсь в том, что...», «принято считать, что...», задавая риторический вопрос «а не иначе ли обстоит дело...» и т.п., либо косвенно – мимически, с помощью восклицаний и междометий, жестов и пр. Сомневающийся по тем или иным причинам не готов представить свою собственную точку зрения, так что он лишь заявляет позицию, но не обосновывает её. *Сомнение* – это атака, при которой атакующий аргумент не имеет поддержки внутри позиции оппонента. Если же такая поддержка есть, то перед нами уже *несогласие*, предполагающее, что обсуждается одна позиция, но точек зрения две. Наконец, третьей формой расхождения во мнениях оказывается *конфликт*, сущность которого в том, что атаки взаимны, а поддержка обеспечивается для всех аргументов, вовлечённых в спор. В случае сомнения оппонент не имеет стратегии, проponent защищается, в случае несогласия оппонент критикует, проponent снова избирает защиту, а в случае же конфликта оба используют все доступные стратегии. Простота приведённых определений кажущаяся и объясняется тем, что они получены в хорошо проработанной формальной теории, так что установленные различия между сущностями, их свойствами и отношениями приводят к этим определениям как к своим следствиям. Здесь проявляется эвристический потенциал ЛКТ в отношении явлений эпистемологической природы.

ЛКТ работает и в сфере акционального, пожалуй, самой сложной для формального анализа. Нельзя не признать, что общетеоретические результаты исследования желаний, целей, ценностей, намерений и действий остаются пока весьма скромными. Как и в случаях формального анализа, аргументации удача здесь имеют частный и прикладной характер. Предположу, что это может отражать принципиальную невозможность построения общей теории действий как следствие глубокой разнородности явлений, лишь кажущихся родственными в силу их смежности в рефлексии человеческого поведения. Об этом свидетельствуют как трудно совместимые расхождения в интересах различных дисциплин (см.: [14]), так и описательный характер разработок логических вопросов (см.: [15]). Но это не значит, что формальная теория, репрезентирующая наш способ рассуждений о действиях, не может быть построена. Методологически проблема снова состоит в разграничении фундаментальных сущностей теории и экстерналий – внешних параметров, так что формальная модель аргументации должна быть направлена уже не на оценку истинности или правдоподобия пропозиций, а на предпочтительность линий поведения – связки из желаний, убеждений, целей, ценностей, намерений и действий. Оказывается, что для нужд компактной формальной теории аргументации достаточно выделить два объекта, а именно линию поведения и цель, на достижение которой она направлена [1. С. 296–297]. В совокупности они образуют позицию в третьем виде спора, а именно в *практической аргу-*

ментации. В логико-философском отношении здесь важны иные характеристики, нежели те, которые выделяются в работах по искусственному интеллекту: линия поведения задаётся акциональным (в узком смысле), пропозициональным и модальным сегментами. Первый объединяет цель, намерения и желания агента, второй – положения дел, относительно которых агент имеет знания и мнения, третий – совокупность оценок по их достижимости, равно как по осуществлению действий.

Характерной чертой практической аргументации в ЛКТ является зависимость спора от заявленной цели линии поведения. Атака на линию поведения оппонента означает либо критику, либо выдвижение альтернативной линии поведения, ведущей к той же цели. Это существенно ограничивает возможности атак и контратак, тем более что заявить линию поведения – это значит заявить согласованную последовательность действий, сопровождаемую последовательностями изменяющихся сегментов позиции. Совершение некоторого действия создаёт новую ситуацию и может принести обстоятельства, которых агент не ожидал. Вероятность таких обстоятельств, иногда и вовсе делающих невозможным достижение цели, не может не учитываться при продумывании линии поведения и влияет на степень её эффективности в качестве средства атаки. Здесь возможны как относительные, так и абсолютные расхождения во мнениях, а именно когда результатом атаки становится модификация линии поведения или же полное её отвержение.

Как определяются взаимозависимости сегментов линии поведения в динамике практической аргументации? Этот вопрос оказывается ещё более сложным, нежели вопрос о модификации эпистемических установок в споре-убеждении. Нельзя не заметить здесь некоторой иронии «природы» – игрока, не являющегося агентом: спорить по разным поводам люди начинают сзвательства, равно как и убеждать, убеждаться, избирать линию поведения, а затем принимать лучшую линию поведения, но эти феномены не поддаются формализации, не укладываются в логическую теорию, а допускают лишь дескриптивное, так сказать, «крупноузловое» моделирование. В ЛКТ использование тех или иных методов, т.е. фрагментарной формализации или же дескриптивного моделирования, имеет характер экстерналий. Так, поставленный вопрос получает ответ, с одной стороны, благодаря применению в качестве экстерналий логических систем модификации эпистемических установок (*belief revision*), динамической эпистемической логики, немонотонной логики и разделению правил умозаключений на строгие и отменяемые, а с другой – с использованием в том же качестве классических риторических топов в редакции Д. Уолтона и при формальной экспликации К. Аткинсон и Т. Бенч-Капона. Повторю, что, с моей точки зрения, дифференциация сущностного ядра и технических экстерналий – это единственно правильная стратегия для логико-философской теории. Средствами *относительной* аргументационной системы, созданной для моделирования практической аргументации в ЛКТ, удаётся хорошо описать два вида расхождения во мнениях в практической аргументации: *несогласие* и *конфликт*. *Несогласие* есть лишь критика, но её возможности разнообразны, поскольку критиковать как неадекватные для достижения цели можно и ценность, и действие, и мнение, и желание. *Конфликт* – это выдвижение альтернативной линии поведения. Здесь можно сформулировать определения полных и прочных расширений

позиций сторон, а также оценить степень сложности согласования составов расширяемых сегментов линий поведения.

Представленная в ЛКТ система понятий образует вполне убедительную формально-философскую концепцию, не лишённую, впрочем, одного слабого места. То, что называют сегодня теорией аргументации, пока ещё не является теорией, но лишь совокупностью разнонаправленных исследований, использующих разнородные методы. Их терминологический аппарат местами наивен, а специальные значения слов-терминов переплетаются, во-первых, с их обыденным значением, во-вторых, с их нетерминологическим употреблением в языке науки. «Аргумент», «довод», «мнение», «убеждение», «спор», «конфликт», «несогласие», «атака», «поддержка», «цель», «поведение» – это термины ЛКТ, которые неизбежно фигурируют как в специальном, так и в обыденном значении, что требует постоянной работы по их дифференциации. Осуществить это систематически для всей теории можно путём углубления либо когнитивной (эмпирически ориентированной), либо же логической (теоретически ориентированной) составляющих, но не их вместе. Если такая задача может быть легко решена в сфере искусственного интеллекта, в которой находят применение различные формализации отношений аргументов (каковы упомянутые выше системы Дунга и Праккена), то для философской логики задача остаётся весьма трудной, так как область её референции, если выйти за пределы формальной онтологии, оказывается необозримой, и при этом плохо исследован универсум когнитивных явлений, как он сформирован когнитивными науками. Методология ЛКТ состоит поэтому в последовательной дифференциации логического ядра и соответствующей ему формальной онтологии от экстерналий – внешних данных, которые и возникают из области когнитивного. Такой путь является для формально-философского исследования наиболее адекватным и оставляет открытыми все пути дальнейшего сближения с когнитивистикой.

Литература

1. Лисанюк Е.Н. Аргументация и рассуждение. СПб. : Наука, 2015. 398 с.
2. Thomason R.H. (ed.) Formal philosophy : Selected papers of Richard Montague. New Haven : Yale University Press, 1974.
3. Герасимова И.А. Формальная грамматика и интенциональная логика. М. : ИФ РАН, 2000. 156 с.
4. Черноскотов Ю.Ю. Готтлоб Фреге и логическая традиция // Историко-логические исследования. СПб., 2003. С. 238–264.
5. Chernoskutov Y.Y. Logic and object theory in 19th century: from Bolzano to Frege // Логические исследования. 2013. Т. 19. С. 10–22.
6. Hendricks S. (ed.) Formal philosophy. Copenhagen : Automatic Press, 2005.
7. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, L. Traité de l'argumentation; la nouvelle rhétorique. Paris : Presses Universitaires de France, 1958.
8. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca, L. The new rhetoric: A treatise on argumentation. Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1969.
9. Toulmin S. The uses of argument. Cambridge : Cambridge University Press, 1958.
10. Stich S. Reflective equilibrium, analytic epistemology and the problem of cognitive diversity // Synthese. 1988. Vol. 74, № 3. P. 391–413.
11. Dung P.M. On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and *n*-person games // Artificial Intelligence. 1995. Vol. 77. P. 321–357.
12. Prakken H. Formalising debates about law-making proposals as practical reasoning // Logic in the Theory and Practice of Lawmaking (Legisprudence Library Series) / ed. M. Araszkievicz, K. Pleszka, N.Y. Heidelberg. London : Springer, 2015. P. 301–321.

13. *Prakken H.* An abstract framework for argumentation with structured arguments // *Argument and Computation*. 2011. Vol. 1 (2). P. 93–124.

14. *Ditmarsch H. van, Halpern, J.Y., Hoek, W. van der, Kooi, B.* (eds.). *Handbook of Logics for Knowledge and Belief*. London : College Publications, 2015.

15. *Meyer J.-J.Ch., Broersen J., Herzig A.* BDI Logics // *Handbook of Logics for Knowledge and Belief* / ed. Ditmarsch H. van, Halpern J.Y., Hoek W. van der, Kooi, B. London : College Publications, 2015. P. 453–498.

Ivan B. Mikirtumov, St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation).

E-mail: i.mikirtumov@spbu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2018. 43. pp. 213–223.

DOI: 10.17223/1998863X/43/20

FORMAL PHILOSOPHY OF ARGUMENTATION: THE LOGIC-COGNITIVE THEORY OF ELENA LISANYUK

Keywords: argumentation theory; formal philosophy.

In the article, the author discusses Elena Lisanyuk's logic-cognitive theory of argumentation (LCT) and tries to show that it belongs to the sphere of "formal philosophy", whose ideology is formed by a combination of a 'logicistic' tendency towards total formalisation with a critical mindset aimed at the analysis of linguistic material. The argumentative interaction in LCT has the form of a dispute, which falls into three kinds: rationale, persuasion and practical argumentation. The formal apparatus of LCT is based on Phan Dung's logical theory of argument structures and echoes Henry Prakken's formal systems of argumentation. Rationale, persuasion and practical argumentation are modeled by formal means of LCT, where an argumentation system with specific properties is constructed for each type of dispute. Formal results concerning the possibility for non-trivial conflict-free sets of arguments to expand up to stable and encompassing extensions of their own make it possible, within the framework of the minimal system, to strictly express the properties of the weak and strong consistency of the position in the dispute-rationale. For the formal representation of the dispute-persuasion in LCT, a standard system is constructed, assuming the no longer "trustworthy" but "skeptical" semantics of the description of positions. The "internal" criterion of consistency is replaced here with the "external" criterion of persuasiveness, so that the opponent recognises only an argument that is safe from all attacks. The position is convincing if all its arguments are protected from all attacks of arguments of other positions. The weak point of LCT is the naivety of the terminological apparatus of the theory of argumentation: special meanings of word-terms are interwoven, first, with their ordinary meaning and, second, with their non-terminological use in the language of science. Their systematic differentiation for the whole theory requires the deepening of either cognitive (empirically oriented) or logical (theoretically oriented) components, but not the two of them together. In general, Lisanyuk's logical-cognitive theory of argumentation creates a good basis for the analysis of a wide range of communication phenomena, and is immaculate in relation to logical methodology, since it consistently differentiates the logical core and external data.

References

1. Lisanyuk, E.N. (2015) *Argumentatsiya i rassuzhdeniye* [Argumentation and Reasoning]. St. Petersburg: Nauka.

2. Thomason, R.H. (ed.) (1974) *Formal philosophy: Selected papers of Richard Montague*. New Haven: Yale University Press.

3. Gerasimova, I.A. (2000) *Formal'naya grammatika i intensional'naya logika* [Formal Grammar and Intensional Logic]. Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.

4. Chernoskutov, Yu.Yu. (2003). Gottlob Frege i logicheskaya traditsiya [Gottlob Frege and Logical Tradition]. In: Slinin, Ya. (ed.) *Istoriko-logicheskiye issledovaniya* [Investigation in the History of Logic]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. pp. 238–264.

5. Chernoskutov, Yu.Yu. (2013) Logic and object theory in the 19th century: from Bolzano to Frege. *Logicheskiye issledovaniya – Logical Investigations*. 19. pp. 10–22.

6. Hendricks, S. (ed.) (2005) *Formal philosophy*. Copenhagen: Automatic Press.

7. Perelman, Ch. & Olbrechts-Tyteca, L. (1958) *Traité de l'argumentation; la nouvelle rhétorique* [Treaty of Argumentation; The New Rhetoric]. Paris: Presses Universitaires de France.

8. Perelman, Ch. & Olbrechts-Tyteca, L. (1969) *The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
9. Toulmin, S. (1958) *The Uses of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Stich, S. (1988) Reflective equilibrium, analytic epistemology and the problem of cognitive diversity. *Synthese*. 74(3). pp. 391–413. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199733477.001.0001
11. Dung, P.M. (1995) On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n -person games. *Artificial Intelligence*. 77. pp. 321–357. DOI: 10.1016/0004-3702(94)00041-X
12. Prakken, H. (2015) Formalising debates about law-making proposals as practical reasoning. In: Araszkievicz, M. & Pleszka, K. (eds) *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking (Legisprudence Library Series)*. Heidelberg, New York, London: Springer. pp. 301–321.
13. Prakken, H. (2011) An abstract framework for argumentation with structured arguments. *Argument and Computation*. 1(2). pp. 93–124. DOI: 10.1080/19462160903564592
14. Ditmarsch, H. van, Halpern, J.Y., Hoek, W. van der & Kooi, B. (eds) (2015) *Handbook of Logics for Knowledge and Belief*. London: College Publications.
15. Meyer, J.-J.Ch., Broersen, J. & Herzig, A. (2015) BDI Logics. In: Ditmarsch, H. van, Halpern, J.Y., Hoek, W. van der & Kooi, B. (eds) *Handbook of Logics for Knowledge and Belief*. London: College Publications. pp. 453–498.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АВАНЕСОВ Сергей Сергеевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию историко-филологического факультета Томского государственного педагогического университета; зав. кафедрой философской и педагогической антропологии Института теории образования Томского государственного педагогического университета (г. Томск).

E-mail: iskiteam@yandex.ru

АЛАГОЗ Алиса Владимировна – студент кафедры всеобщей истории и социально-политических наук Кемеровского государственного университета (г. Кемерово).

E-mail: aliscristall@mail.ru

АРДАШКИН Игорь Борисович – доктор философских наук, профессор отделения социально-гуманитарных наук Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: ibardashkin@tpu.ru

БИРЮКОВ Сергей Владимирович – доктор политических наук, профессор, приглашенный исследователь Школы современных международных и пространственных исследований Восточно-Китайского педагогического университета (the School of Advanced International and Area Studies (SAIAS) of East China Normal University) (Шанхай, КНР).

E-mail: birs.07@mail.ru

БУЛАТОВА Татьяна Алексеевна – кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью Томского государственного педагогического университета (г. Томск).

E-mail: bulatowa@mail.ru

ГЛУХОВ Андрей Петрович – кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Томского государственного педагогического университета (г. Томск).

E-mail: GlukhovAP@tspu.edu.ru

ГУДКОВА Татьяна Борисовна – аспирант кафедры демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», стажер-исследователь Центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ (г. Москва).

E-mail: tbgudkova@hse.ru

ЗАКУТИНА Евгения Сергеевна – аспирант, кафедра общей социологии, департамент социологии факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики (г. Москва).

E-mail: es.podstreshnaya@gmail.com

ЗУБОК Юлия Альбертовна – доктор социологических наук, профессор, заведующая отделом социологии молодежи, Институт социально-политических исследований РАН (г. Москва).

E-mail: uzubok@mail.ru

КИСЛЯКОВ Михаил Михайлович – доктор политических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Кемерово).

E-mail: m.kislyakov@mail.ru

КОРНИЕНКО Анна Анатольевна – кандидат технических наук, доцент Школы инженерного предпринимательства Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: anna_kornienko@mail.ru

КОРНИЕНКО Михаил Анатольевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: snoose@mail.ru

КУЛИКОВ Михаил Вячеславович – кандидат философских наук, преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин, Кузбасский институт ФСИИ России (г. Новокузнецк).

Email: philosophy_mk@mail.ru

ЛАДОВ Всеволод Адольфович – доктор философских наук, доцент, заведующий лабораторией логико-философских исследований Томского научного центра СО РАН, ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН, профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Томского государственного университета.

E-mail: ladov@yandex.ru

МАРТЬЯНОВ Виктор Сергеевич – кандидат политических наук, доцент, заместитель директора по науке, Институт философии и права УрО РАН (г. Екатеринбург).

E-mail: martianov@instlaw.uran.ru

МАРТЫНЕНКО Татьяна Сергеевна – ассистент кафедры современной социологии социологического факультета, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: ts.martynenko@gmail.com

МАТВЕЕВА Елена Викторовна – доктор политологических наук, профессор кафедры всеобщей истории и социально-политических наук Кемеровского государственного университета (г. Кемерово).

E-mail: mev.matveeva@yandex.ru

МИКИРТУМОВ Иван Борисович – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры логики Института философии Санкт-Петербургского государственного университета.

E-mail: i.mikirtumov@spbu.ru

МИТИН Александр Александрович – кандидат политологических наук, доцент кафедры всеобщей истории и социально-политических наук Кемеровского государственного университета (г. Кемерово).

E-mail: james_cold@mail.ru

ПИСАРЧИК Алеся Сергеевна – магистр политических наук, аспирант кафедры политологии Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь).

E-mail: alesya.p.325@gmail.com

ПРОКОПЕНКО Сергей Артурович – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры экономики и автоматизиро-

ванных систем управления Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: sibgp@mail.ru

СТОЛЯРОВА Ольга Евгеньевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник, сектор социальной эпистемологии, Институт философии Российской академии наук (г. Москва).

E-mail: olgastoliarova@mail.ru

СТРЕЛЬЦОВ Алексей Михайлович – ректор (Master of Arts, Sacrae Theologiae Magister (Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, USA), Религиозная духовная образовательная организация высшего образования Богословская семинария Сибирской евангелическо-лютеранской церкви (г. Новосибирск); магистрант Института философии и права Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск).

E-mail: streltsov@mail.ru

СУХОВОЙ Виталий Игоревич – аспирант школы философии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: witaliy.suhowyj@gmail.com

ЦЕЛИЩЕВ Виталий Валентинович – доктор философских наук, профессор, Новосибирский государственный университет (г. Новосибирск); научный руководитель Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: leitval@gmail.com

ЧУПРОВ Владимир Ильич – доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт социально-политических исследований РАН (г. Москва).

E-mail: chuprov443@yandex.ru

ЩЕГЛОВА Дарья Владимировна – кандидат политических наук, преподаватель кафедры социологии и политологии Воронежского государственного университета (г. Воронеж).

E-mail: bruenen@mail.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2018. № 43

Редактор *Т.В. Зелёва*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Яковсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 04.07.2018 г. Дата выхода в свет 13.07.2018 г.
Формат 70x100^{1/16}. Печ. л. 14,25; усл. печ. л. 18,53; уч.-изд. л. 19,55.
Тираж 50 экз. Заказ № 3256. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru